

Я совсем другая

Галина Щербакова

KING COUNTY LIBRARY SYSTEM



31000044542143



FWR

ОНА БЫЛА АКТРИСОЮ

Галина Щербакова

Она была актрисой...

Москва
2021

Щербакова Г.Н.

Она была актрисою... Повести. — М.: В. Секачев, 2021. — 334 с.

ISBN 978-5-4481-0900-3

Одним из вождлений юной Галины Руденко (Щербаковой) было желание стать артисткой. В жизни ей понравилось быть учительницей – школьный класс казался подобием театрального зала. А позднее ее повести, романы, рассказы оказались наполнены остродраматическими действиями, в которых Галина – и придумщик, и режиссер, и, естественно, «главная актриса» (в женских ролях). Был ли соблазн «сыграть» мужчин? Явно был. Скажем, явился в авторском воображении в полном своем обличье дядя Хлор, а рядом с ним – еще и Корякин. Двое мужчин, коих и прочувствовала, и «сыграла» Галина в рассказе «Дядя Хлор и Корякин». В сочинениях этой книги сквозит природа «театрального» восприятия автором самых разных сторон нашего бытия.

Составление и подготовка текста Александр Щербаков

© А. Щербаков, наследник 2021.

© В. Секачев, издание, 2021.

«Она была актрисою...»¹

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТЕАТР ГАЛИНЫ ЩЕРБАКОВОЙ

Весь мир театр, и люди в нем актеры.
Вильям Шекспир

Прочтя многое из того, что написала Галина Щербакова (а это больше сотни рассказов, повестей, романов), я вдруг понял, что все это не что иное, как самый настоящий театр в литературе. В этом своем «театре» Щербакова и драматург, и режиссер, и, естественно, главная актриса.

До сих пор я был уверен, как, впрочем, и весь мир, что театр – это, прежде всего, Шекспир. Но если гений Шекспира не ведал, что творит, то Галина Щербакова отдавала себе отчет: в своем «театре» она запечатлела судьбу своей страны, рассказывая с любовью о людях, на которых та еще держится, и с ненавистью – о тех, кто губит Россию. И эти образы живут среди нас, давая надежду, что не все еще потеряно.

Я пишу об этом, потому что сам прошел через театр, и ушел оттуда, когда понял его бессилие перед номенклатурой и невежеством режиссеров, посланных в театр не Господом нашим, а чиновниками. Я учился на третьем курсе Щукинки, когда начал искать пристанище, где поставлю свой диплом. И вот я в Бауманском саду, на летней театральной бирже, куда в те годы съезжались со всей страны служители театров в поисках состоявшихся и будущих профессионалов. Беседую с главрежем из Астрахани. Рассказываю ему,

¹ Начальные слова популярной в 90-е годы песни (исполнитель Валерий Меладзе): «Она была актрисою и даже за кулисами играла роль, а зрителем был я».

что создал на одном из факультетов МГУ (где некогда и сам учился) свой студенческий театр.

– И что вы там поставили? – интересуется он.

– «Корабли в Лиссе» – по рассказам Александра Грина, «Я ем ботинок» – по рассказу французского писателя Ромена Гари.

– Что-то не слышал о таком странном французе, – с иронией замечает он. – Ну, а нам что вы хотите предложить?

– «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери.

Астраханский главреж пучит на меня глаза:

– Кажется, вы сошли с ума!

Разговор окончен.

И, окончив училище, я без особого сожаления вернулся к своей журналистике.

А вот Щербакова создала в своих книгах театр, из которого никуда не надо уходить. Ее муж и мой друг, журналист Александр Щербаков, узнав, что я решил написать о «литературном театре» его жены, вдруг вспомнил:

– Бог ты мой! Как я мог забыть, что одним из самых первых вожделений юной Галины было желание стать артисткой!..

Принимаясь за чтение повестей «Актриса и милиционер» и «Подробности мелких чувств», я подумал: «актриса» – это, наверное, автор. А милиционер? При чем тут милиция? Что же, и тут Галина вяжет героиню в какую-то уголовщину?.. Впрочем, со Щербаковой все может быть. Она редко обходилась без «детективщины». Писала «серьезную» прозу, закручивая ее не хуже Агаты Кристи.

...Ну, я же говорил... Еще не дошло до истории актрисы, а с ее балкона, что на шестом этаже, уже упал и разбился насмерть никому не известный человек...

А теперь – об актрисе. Может, что-нибудь да прояснится.

«... Она не была актрисой милостью божьей. Милость божья, – думала она, – это дар. А мне просто отмерено...»

В тот день она ехала после пробы в шальной антрепризе, где у нее была третья по значимости роль. К пятидесяти она чуть ближе, чем к сорока, и умри она хоть завтра, ни у кого от горя не оборвется сердце. Даже ее редкое имя Нора Лаубе забудется вмиг по причине нерусскости его природы. Фамилия ей досталась от мужа, с которым она прожила два молодых года, пока он не свалил в Америку. А Норой мама окрестила в честь ибсеновской Норы.

...Для многих она везунчик – всегда при ролях, всегда нужна. «У Лаубе все схвачено», – вот как про нее говорят».

И на этом вернемся к упавшему с ее балкона человеку. Норе так хотелось домой, к джинсу с тоником. Но у подъезда толпился народ. А на земле лицом вниз лежал человек, сжимаемая в руках махровое полотенце, точь-в-точь такое, какое сохло у Норы на балконе. Ее охватила паника и она рванула к своей двери, уверенная, что тот, лежащий на земле, вломился в ее квартиру. Но дверь была цела, а полотенца на балконе не было.

Нора свесилась вниз, чтобы взглянуть на упавшего сверху. И тут (о, ужас!) увидела, что ограда ее балкона сбита, бельевая веревка сорвана, висевший на ней лифчик зацепился за штырь ограды.

«Сейчас придет милиция, будут меня допрашивать, значит, не надо пить джин», – решила она.

И стала ждать. Но никто не пришел.

Только соседка Люся, которая первой поставила в доме металлическую дверь, после чего стала бояться еще пуще, подумала: «Хорошо бы с этой артисткой что-нибудь случилось. Уж эти артисты! Какой от них прок людям? Не сеют, не пахнут...»

– Перво-наперво почини на балконе перила, – посоветовал ей в театре друг Еремин. – А потом сразу забудь. В милицию не ходи, это последнее место на земле, куда надлежит идти человеку. Даже при несчастье, при горе... Милиция, ФСБ, ОМОН, армия, прокуратура, суд – беги их! Они враги».

И все же она позвонила в милицию, вызвала участкового, умолчав, по какому поводу. Пришел милиционер. Такой юный, что все звали его Витей, а порой даже Витьком. Он с Ярославщины, работал в деревне трактористом, а когда все рухнуло в «перестройку», рванул в Москву и попросился в милицию. Взяли. Дали место в общежитии, в хорошей теплой комнате...

И вот со встречи Норы с Витьком начинается форменная фантазмагория.

«Есть люди отрицательного ума, – объяснял ментам капитан-психолог. – Они желают жить на земном шаре в одиночестве. Только они – и земной шар. А есть просто заблужденцы. Вот тут нужна чуткость сердца».

На сей раз оба – и Нора, и Витек – оказались «заблужденцами». И читая с некоторой долей недоумения повесть, которая любого ввела бы в заблуждение, забегающая вперед, отмечу, с каким мастерством автор выпутывает всех нас из созданного ею клубка вроде бы необъяснимых событий. И надо сказать, проявила, как и учили своих Витьков капитаны-психологи, всю свою чуткость сердца.

И чем больше людей падало с балкона Норы, тем яснее становился образ артистки, доживавшей свой нелегкий век в театре, но при этом не потерявшей ни своей человечности, ни достоинства.

И кто бы мог предположить, что именно недотепа Витек, как настоящий профессионал, поможет Норе выбраться из самых диковинных положений.

Ах, Галя! Ах, Щербакова! Это же надо, написать такую повесть, где она играет сразу за двоих! И я уверю вас, вот такого детектива до нее никто не писал. Заглянем еще раз в ее театр.

«... Молодой, подающий надежды режиссер все-таки сбил случайную команду для постановки Ионеско. Такое теперь сплошь и рядом. Но деньги и успех – без гарантии.

Уж Нора-то давно знает: великий абсурдист хорош для очень благополучной жизни. Именно она, хорошо наманикюренная жизнь, жаждет выйти из себя, полетать над бездной, обратиться в носорога, но... только с полной гарантией ее возвращения в свой мир, такой устойчивый и теплый.

Ну, а если ты постоянно живешь в абсурде? Как сыграть абсурд, будучи его частью? И Нора будет репетировать, воображая, будто вернется в мир нормальный. Норма – это жизнь, разумная и пристойная.

Нет, абсурд ей не сыграть. Дурная репетиция. Дурак-режиссер.

– Нора! – кричит. – Вы спите? Вы это говорите не мне. И не так!

– Я говорю их себе? – спрашивает Нора.

– Господи! Конечно, нет! Эти слова – ключ ко всему.

Еремин жмет ей под столом ногу.

«Друг мой, Еремин! Ты думаешь, я что-то из себя корчу? Да мне просто скучно и хочется подвзорвать все к чертовой матери».

– Нора! Это не Островский! Что за завывание? У тебя Ионеско, а не плач Ярославны, черт тебя дерит!»

Это театр Щербаковой. Она каким-то шестым чувством понимает, что таковы почти все театры России, даже тот, «номер один», куда она отнесет свою пьесу и убедится, что там тоже сплошной абсурд. Впрочем, об этом – позднее.

Была ли у нашего автора идея – сыграть мужчину? Безусловно! В ее книгах немало образов мужчин, но почти все они, во-первых, «не ее» роли, а во-вторых, исключительно второго, третьего и даже четвертого плана. До нее ни одна актриса не посягала на мужскую роль. Ну, если не считать гениальной Сары Бернар, для которой это было капризом.

Придумать такую личность, полагаю, было невозможно, а вот найти... Она давно чувствовала ее и, странно, предчувствовала в иных движениях души самого близкого ей человека, мужа. Однако какие-нибудь интеллигенты по воспитанию, включая высшие образования, тут абсолютно исключались. Неинтересно! Интеллигентность самого простого и скромного человека, не имевшего никаких претензий к жизни и людям, – вот что она искала. И нашла. В один прекрасный день в ряду возникавших в писательском воображении образов явился в полном своем обличье дядя Хлор, а затем, позже, – и примкнувший к нему Корякин. И вот вам двое мужчин, коих прочувствовала, а значит, и сыграла Галина. Рассказ «Дядя Хлор и Корякин».

Причиной их появления на белом свете оказалась маленькая девочка, ставшая в один ужасный день сиротой.

В нашем странном обществе, воспитанном на десятилетиях ожидания «светлого завтра», все труднее найти людей великодушных. «Это мы, великий, но отнюдь не великодушный, не щедрый, завистливый народ. И потерявший жалость к обреченным, осиротевшим. Даже среди писателей нет таких, что подобно Гоголю и Достоевскому так же истово жалели бы маленьких и забитых людей, которых нынче в России – тьма». И в своем рассказе Щербакова отводит душу, «купаясь» в великодушии и благородстве двоих людей, которые и не подозревают об этих своих свойствах. «...Кто бы ска-

зал Фролову (дяде Хлору), что такое с ним случится, не поверил бы. До сорока трех лет жил как перст, и хорошо жил, между прочим. Работал фотокором в районной газетке, зарплата грошовая, но таки приобрел квартиру, к ней диван, письменный стол, полки на кухню... Что еще человеку надо? У военных, по случаю разжился полушубком – считай дубленка. Есть и костюм, и обувь «на выход». Вот что значит – человек непьющий. А вот жену так и не нашел. Хотя женщин видел всяких и во всяком. И когда смотрел на них через объектив, все про них понимал. И в конце концов дал всему женскому полу отрицательную оценку...»

И вдруг... Случилось! «Она» работала рядом, в конторе по борьбе с древесными жучками. Одна единственная женщина, у которой «не заскоружла совесть». Фролов вел свое тихое свое дознание. Узнал, что живет одна с дочкой-малышкой.

Тут я немного отвлекусь. Откуда и как приходит любовь? Этой темы мы с Галей не раз касались в дружески-творческих беседах. Потому что на этот огонек или пожар сходились многие ее герои. В рассказе «Дядя Хлор и Корякин» любви как таковой не случилось. Но уважение к женщине за ее совестьливость и проникшая жалость к ее бедности и одиночеству – вот что решило в конце концов то, что вскоре эта женщина уже спала на диване рядом с Фроловым. Рядом! Ибо о настоящей их близости у автора не нашлось ни слова. Но подождите немного, и вы увидите, как все полетит к чертям, и почти сонная жизнь обратится в бурю смятений.

Валентина, начав другую жизнь, в порыве новых чувств выскоблила и проветрила дом, затем решила его протопить, чтобы дочь Олечка из больницы (лежала с воспалением легких) попала, наконец, в чистоту и тепло. Протопила. Легла спать. И... угорела! В выскоблен-

ном чистом доме, в котором даже после сквозняков пахло чуть сладковато, состоялись поминки. И там выступил чей-то дедушка и торжественно напомнил, что у ребенка где-то там живет отец. Девочка носит его фамилию, и на нее даже приходили алименты. «Корякин! Корякин!.. Отбить ему телеграмму. И пусть забирает свою дочь». Фролов сидел, как замороженный. И тут его озарило. Он понял, чего боялись эти люди: ведь кому-то из них придется забрать Олечку. «Ах, вы собаки!» – подумал.

Смолчал Фролов. Привез Олечку к себе, живи пока. И стал писать Корякину. Не потому что хотел ему сбыть ребенка, просто считал себя «не в праве», и надо найти отца. В письме попросил разрешения удочерить его дочку: «Оля ко мне привыкает, а с вами ей начинать сначала».

Читая рассказ, я ожидал, что, «сыграв» Хлора, Щербакова выведет Корякина довольно тусклой фигурой, то есть персонажем даже не второго плана. А оказалось...

«... Письмо пришло от какого-то Фролова. «Интересно, что за мужик мне пишет? Но прочел и ошалел».

И тут Щербакова переходит на свой «родной» язык, всегда удивлявший читателей.

«...Корякин олицетворял собой личность, имевшую отношения только с государством. Так сказать, на паях со всем русским народом. А может, это государство владело Корякиным. Так или иначе, это был брак по взаимности и расчету. И все в его жизни было ясно, как день. И вдруг выясняется: его собственную дочь по фамилии Корякина хочет перехватить какой-то хмырь, который, якобы, не употребляет и имеет свою жилищную площадь. А что он, Корякин, безрукий, безногий, чтобы детьми разбрасываться? Личного ребенка, на которого он израсходовал уже более трех тысяч рублей, отдать чу-

жому дяде? Ты, Фролов, возьми и роди сам, коли такой умный! Горло просто гневом перехватило. Полез в чемодан искать фотографии девочки. Не нашел... И так расстроился, будто совсем потерял ребенка. Едва дожив до утра, подал заявление об уходе, кричал, что не может ни дня: «У меня дитя отнимают, дитя!» Потом базарил в аэропорту: «У меня дитя отнимают!»

А в это время Олечка сидела на купленной для нее тахте и упоенно переводила с Фроловым картинку на ватман. Приколотили этот красочный ватман к стене. Затем ели из одной тарелки пиенную кашу с молоком. А когда девочка уснула, Фролов с тревогой подумал: что ему ответит Корякин?

И тут в квартиру сильно и резко позвонили. Олечка вскрикнула. Фролов рванул к двери. Он этого звоняря пришьет.

«...К напряжению, которое возникло на пороге, вполне можно было подключить электрическую сеть.

– Я Корякин, – сказал Корякин.

– Входи, – ответил Фролов.

– Кто там, дядя Хлор? – крикнула Оля.

– Спи! – приказал Фролов. – Это ко мне по делу.

Они ушли в кухню и сели на табуретки.

– Она? – спросил Корякин.

– Она, – ответил Фролов.

– Разбудил, – огорчился Корякин, – терпения не было.

– Я жду, какой твой ответ будет, – бросился в атаку Фролов. – Ты же ее ни разу не видел.

– Не означает, – отрезал Корякин. – Мое дитя.

А дитя уже стояло в дверях, в длинной рубашке, в больших Фроловских тапочках».

Как только Фролов увидел Корякина, сразу понял – этот не отступится. «Эх, горе мое, горе», – думал он. Вот явилась к нему девочка и вся жизнь обрела смысл. А завтра... увезет ее отец». Рано утром ушел на рабо-

ту, а когда вернулся, чуть не спятил. Полы в квартире сверкали такой чистотой: выскоблил Корякин полы, они аж засверкали. И краны починил. У Фролова они вечно капали – Корякин это ликвидировал. Все белье, какое было, постирано. Тут уж Корякину Оля помогала. Кроме того, Корякин сходил в магазин и принес кусок мяса. Варили с Олей борщ, крутили мясо на котлеты. И было им хорошо друг с другом.

Щербакова, придумавшая этот, казалось бы, немыслимый исход удивительного рассказа, судя по всему, сама во все это поверила. А поверив, резюмировала: «От добра добра ищут только идиоты и жадные». Корякин нашел работу на заводике рядом с редакцией. Продали соседу тахту и купили два кресла-кровати. Оля спала на диванчике, а мужики на креслах.

«...– Они тебе кто? – спросили Олю, когда пришла в первый класс.

В синих костюмах, в белоснежных рубашках стояли в родительских рядах Фролов и Корякин.

...– Кто, кто! Дядя Хлор и Корякин, неужели не ясно? – дернула плечами девочка.

Росла Оля умненькой, решительной и смелой. Говорят, одинокие отцы – лучшие воспитатели. А если их к тому же два?..»

В этом своем, считаю, одном из лучших ее рассказов Галина Щербакова, сама того не думая, осуществила фантастически-педагогический эксперимент. И с блеском «сыграла» обе роли. Они обе оказались главными. В фильме «Двое и одна», пожалуй, тоже лучшим из снятых по произведениям Галины (режиссер Э. Гаврилов, Студия им. Горького, 2006), все встало на свои места. Героев сыграли мужчины. Фролова – мой друг (ныне, к сожалению, покойный) замечательный Георгий Бурков, Корякина – тоже рано ушедший из жизни Юрий Астафьев.

А вот мы уже в «Подробностях мелких чувств».

Интересно, догадывалась ли Щербакова, что практически во всех ее повестях, романах и даже рассказах таятся полноценные сценические действия? Опубликовав свою повесть «Вам и не снилось», пролежавшую в журнале «Юность» три года (!) и ставшую абсолютным бестселлером, приходило ли ей в голову, что это будет еще и кино? И только когда на ее сочинения кинулись и другие кинорежиссеры, она решила попробовать себя в театре, который с юности был для нее дороже и ближе кино.

В своей «театральной» повести, «Подробностях мелких чувств», она прямо, ни в чем не сомневаясь, пошла по линии «Театрального романа» Михаила Булгакова, который хоть и прославился в «театре номер один», но куда больше натерпелся. И, думаю, даже больше, чем с романом «Мастер и Маргарита».

В жизни реальной, написав пьесу (вообще-то их в ее сборнике пьес и сценариев четыре штуки), в «Подробностях мелких чувств» Галина решила «сыграть» главную роль – драматурга. И, быть может, отчасти от того, что слово драматург мужского рода, «нарядилась мужчиной», дав ему простую русскую фамилию – Коршунов.

Однако и дальше ушла от своего истинного образа, ибо этот ее герой, Коршунов, никогда не писал прозу, а работал в газетке, печатаясь в ней по мелочи. И оттого был беден, пусть даже не как церковная мышь, но так, что жена от безденежья не раз выгоняла из дома. Не подозревая, что главное богатство Коршунова в его фибровом сундучке, где драматург держал уже до двадцати написанных пьес, которые, если бы театры захотели их употребить, сделали бы незадачливого, но прирожденного драматурга миллионером. Коршунов

время от времени предлагал свои пьесы тому или иному театру, но...

А одна из этих пьес лежала даже в театре «номер один», но и оттуда не было ни одной весточки.

И вдруг – метаморфоза. «Номер один» неожиданно клюнул, да так, что оборвал все телефоны, по которым искал Коршунова. И вконец отчаявшийся, а потому изумленный таким вниманием, с бьющимся от волнения сердцем Коршунов явился в театр.

А дальше идут подробные описания сцен, случившихся в жизни самой Галины как автора пьесы, отданные для пересказа герою повести.

...В кабинете, полстены которого занимал не похожий на себя Чехов, сидел главный с закрытыми веками. И какой-то человек ломко стоял перед ним, крутя в руках не то указку, не то палочку от барабана. «Для поднятия век Главному», – невольно подумал Коршунов. А Нолик, подскочив к столу Главного, прямо-таки пропел: «К нам приехал, к нам приехал Николай Александрыч дорогой».

– Подождем? – спросил Главный. – И сам решил: – Подождем. Без нее нельзя.

Наконец разверзлись двери, и вошла Она, любимица народа. Коршунов даже вскочил, ибо тоже любил эту артистку уже лет эдак триста в одной своей пьесе, где сам он ассоциировал себя с холопом, а она была боярской дочерью. Пьеса, он потом понял, в общем-то, бездарная, хотя лет пять носился с ней по театрам, и теперь даже ее забыл. А вот сейчас она вновь ожила в нем, поскольку там была Она...

Но выяснилось, что Ольга Сергеевна влюбилась в другую его пьесу, и, можно сказать, с ума сошла. И есть у нее гениальная задумка, как ее поставить. И сделать так, чтоб всем напоморде!..

Замечу, что предыдущую свою актрису, Нору Лаубе, Щербакова «играла» с любовью: «Душа ее была щедра...» Она даже подарила ей «экранные ноги», как бы для того, чтобы подчеркнуть то прекрасное, что она ощущала в ней. В отличие от этой, любимицы народа, пусть и явной красавицы.

«... Она была не просто рыжей – она была огненной. Пламя волос так освещало лицо, что просвечивались веточки сосудов на крыльях ее слегка курносого носа. Попавшие в пламя волос брови, как и полагалось им, были слегка обгоревшими, и Коришунов умилительно отметил следы карандаша, продолжающего след сожженной брови. Азиатской выделки скулы подпирали купол головы и формировали некоторую квадратность щек. И была огромная сила подбородка, который мог бы кому-то показаться грубым, не имей он выше блистательного рта с губами эротически-иронического изгиба. И глаза! То были глаза, прошедшие огонь, и не сгоревшие в нем. И они вдохновенно мерцали, уверенные в своей непобедимости. И победив одно, другое уже в расчет не брали. Не в расчете был даже Главный и Нолик. Ну, а Коришунов – так это просто смех. Зачем его побеждать? Его надо брать голыми руками и делать с ним все, что хочется... А Ольга Сергеевна хотела малю-ю-ю-сенькой переделки пьесы, которая, будучи гениальной, «я словами не бросаюсь, ... Ваш портрет будет висеть здесь...» И она ткнула пальчиком в простенок, где грифельно чернел подхалимский шарж на Главного...».

Так вот, насчет «малю-ю-ю-сенькой переделки пьесы». В жизни драматурга Щербаковой она продолжалась много месяцев. После каждой встречи с Народной Артисткой автор возвращался очень озадаченным. Всякий раз требовались изменения только в одну сторону: главная роль в пьесе с каждым ее обсуждением должна была становиться еще главнее, главнее, глав-

нее. В нее, главную роль, переносились самые живые, «человеческие» черты прочих персонажей, их удачные реплики и т.д. И в какой-то момент автор сказала Народной Артистке, что дальше так дело не пойдет. На что ей Народная спокойно ответствовала: «А вы знаете, что после этого вас никто, никто никогда не поставит?»

Вот на этом и была поставлена точка в профессии Щербаковой как драматурга. Ее поставила сама Галина. «Подумать только, – вздымала она руки перед самыми близкими, – я за это время могла бы написать столько...»

Уверен, Щербакова описала Актрису именно такой, какой она и в самом деле была. То есть неотразимой и, в полном смысле, непобедимой. Написав впоследствии «Подробности мелких чувств», она пустила вместо себя к зловещей актрисе своего двойника в мужском обличье и, может быть, до последней строчки не представляла, чем все кончится.

Как, впрочем, и все мы – читатели.

Победил и на этот раз детективный дух автора. И, нужно сказать, такого конца истории никто не ждал.

Нет смысла упоминать здесь перипетии истории, которую читателю предстоит узнать из повести. Одно скажу: ох, крута была Щербакова и жутко неуступчива. К тому же женщина. А Ольга Сергеевна привыкла покорять мужчин, которые сдавались сразу, на одном дыхании.

Как повел себя драматург-мужчина с ее, щербаковским, нутром, однако влюбленный до такой степени, что поначалу теряет голову? Очень интересно наблюдать, вернется ли на свое место эта голова, вернется ли к драматургу рассудок?

Читая повесть, я никак не ожидал того, о чем уже предупреждал читателя. И когда неожиданный пас-

саж вдруг случился, просто впился в книгу. Ай да Галина! Что ей в голову ударит, то и напишет. Происшедшее дальше заинтересовало бы любого читателя, даже не ведавшего театра. А театр, оказывается, жутко интересная штука. Но то, что мы «увидели», было еще интересней.

Не будем описывать, по сути, неопишемое. Уверю вас, такое могла, зная эту Актрису, только Галина Щербакова. И, измученная ею когда-то, была ее страшно и, наверное, больно. Если бы Щербакова, которую я хорошо знал, была бы сейчас жива, я не удержался и спросил бы: неужто могло быть то, что она нам показала?!

...И будет еще один звонок, самый поворотный. Из Америки.

– Коршунов, ты? ...Слушай сюда! Тебя тут ставят! Коля! Чванься! Продавайся дорого, а наших пошли в жопу. Понял?..

Как знать, может, в этом прорвалось тайное мечтание драматурга Щербаковой. Но ведь уже тоже не спросишь...

Л. ЛЕРНЕР

Леонид Валентинович Лернер – писатель, искусствовед, коллекционер. Окончил истфак МГУ и режиссерский факультет Театрального училища им. Щукина. В 1965-1970 гг. вел театральную студию МГУ. Выбрав стезю журналистики, объехал практически всю советскую страну. Собрал уникальную коллекцию народного искусства, которую передал в московские музеи. Автор более десятка книг – романов, рассказов, повестей. Одна из этих повестей – «Мой театр».

Актриса и милиционер

7 НОЯБРЯ

«Рассказать бы кому...» – думала она.

В тот вечер в метро продавали запаянные в целлофан орхидеи. Белые с красноватым узором лепестки страстно, распахнуто стояли на узком черном стебле. Продавщица из новообращенных инженеров сразу стала их навязывать. Пришлось уйти, уйти противно-торопливо. Так уходишь от стыда. Дурного запаха. Хамства. Хотя какое хамство? Сплошная доброжелательность. Обнять бы инженерку-оборонщицу, что училась на отлично сбивать американские ракеты, и прошептать ей в ухо: «Извините, у меня на орхидеи нет денег...» Но дело это рискованное. Оборонщица могла бы закричать в ответ, что да, понимает, что было время, когда она сама каждый год ездила в санаторий ЦК им. Фабрициуса, а теперь вот – на! Торгует цветами. «Это, по-вашему, что?»

Поэтому она и уходит быстро-быстро...

В метро сквозило, и хотелось быстрее оказаться дома. Между прочим, Вадим был оборонщик. И оба-два ее мужа. Они ушли от нее навсегда. Сегодня девять дней Вадиму. Ей даже не с кем его помянуть. С томагочи. «Зверек» попишит, а она поплачет. «Ах, – думает она, – рассказать бы кому...»

Она ищет глазами лицо в толпе, которая станет потом «лицом томагочи». Но сегодня день цветов. Много их – чересчур! Больше всего гвоздик. Боже! Она совсем забыла. Сегодня же праздник. Зря из-за

него тянут на гвоздики. Красивый, ни в чем не повинный цветок. Она чувствует сейчас любовь к гвоздикам. «За общность судьбы», – смеется. Надо бы купить гвоздичку и ее сделать «лицом томагочи», когда они будут поминать Вадима.

Но смешно сказать. У нее в кармане только проездной. Последние деньги она истратила на лосьон «Деним» для юного мальчика, милиционера, который спас ее от самой себя и вернул ей слезы.

Кому бы рассказать...

Она не была актрисой милостью Божьей.

Ах, эта милость Божья! Вправе ли мы роптать на ее недoves? Но когда прожито больше, чем осталось, такие вещи про себя уже пора бывает знать. Хотя она это знала давно. «Милость Божья, – думала она, – дар. А мне просто отмерено». Как шепот для посла. Она у нее точнехонькая. «Вот этого у меня не отнять!» – смеется ее встрепанный ум. Обычно она в ладу с ним, но временами!.. Как же он подвел ее за последнее время, как подвел! Дурак ты, мой ум!

Рассказать бы кому...

17 ОКТЯБРЯ

В тот день она ехала после пробы в шальной антрепризе – в одной такой она уже репетировала, где у нее была третья по значимости роль. Главную должна была играть ее землячка. Они из одного южного городка, более того – они из одной школы. Уже много лет делают вид, что не знали друг друга раньше. Вот и на показе их «познакомили». «Ах» –

«ах»! Читали маленькую сценку. Она, как всегда у нее, сразу с полной выкладкой, а землячка путалась в словах, соплях и ударениях, а потом вообще загундосила, пришлось ей капать в нос, убирать со стола скатерть из синтетического плюша как возможного аллергена, искать супрастин.

Актриса милостью Божьей – а такой была землячка – может такое себе позволить. У милостью Божьих иначе кровь брызжет, иначе кудри выются.

В конце концов читку отменили. Она тогда ехала домой с чувством глубокого удовлетворения. Землячка была противная, а у нее есть работа. Это главное. А раз есть главное, можно позволить себе скулеж. Это ее свойство. Она ропщет именно в момент глубокого удовлетворения. Так она ворожит, так боится спугнуть удачу.

МЕМОРИЯ

К пятидесяти она уже чуть ближе, чем к сорока, и умри она завтра – ни у кого от горя не оборвется сердце. (У нее – увы! – к тому же не льстивый к себе ум.) Даже ее редкое имя Нора Лаубе забудется в миг по причине нерусскости его природы. Ее никогда не считали еврейкой только потому, что славянская кладка не оставляла никаких надежд антисемитам. Даже те, кто искал в ней немку или прибалтийку, понимали, что такой высокий лоб и слегка «утопленные» серые глаза бывают только у среднерусского разлива. Проклятая и неизбежная националистическая чепуха! Нора родом «из югов», где крови намешано не сказать сколько, а фамилия Лаубе досталась ей от мужа, с которым

она прожила два молодых своих года. Он был русский, русский, русский.

Этот Лаубе-муж очень искал хоть в четвертом от себя колене что-нибудь, годящееся для эмиграции. Искал, но так и не нашел, женился после Норы на какой-то приبلудной американке, нескладной, глупой, но какое это имело значение? Взнуздав широкую спину большестопой барышни из Айдахо и прыгнул. А Нора осталась носить эту фамилию, которая вызывала нездоровые вопросы у траченного комплексом неполноценности населения. Имя же ей дала театралка мама в честь ибсеновской Норы. Потрясший маму спектакль Нора видела уже в свои пятнадцать лет. Его возобновили. Нору играла все та же актриса. Ей, видимо, было столько, сколько Норе сейчас.

Было ощущение болезненного дискомфорта – так идешь по длинному переходу, в котором побили лампочки. Одним словом, чувства на спектакле «ее имени» были физиологические, и хотя она была еще девочка, она понимала, что так не должно быть... Тем не менее она заболела театром – оказывается, бывает и так, – ища ответы на вопросы, от которых во рту был железистый вкус, а на зубах трещало, как от песка. Ну что ж... Судьба приходит по-разному. К ней она пришла выпреним именем, чужой фамилией и притягательной силой пусть плохого, но театра. Она поступила в институт с первого захода и училась на повышенную стипендию. О том, что у нее не сложилась судьба, знает только она сама. Для многих, очень многих

она везунчик. Всегда при ролях. Всегда нужна. Никому нет дела до милости Божьей, кто ее вообще придумал? «У Лаубе все схвачено». Вот как говорят про нее. И ее ум не спорит. Она знает, что нельзя оспаривать глупца... Из мудростей – мудрость. Эта Нора Лаубе много чего знает. Она хитрая. Она мудрая. Можно и одним словом.

17 ОКТЯБРЯ

Возле подъезда клубился народ. Сейчас ее зацепят глазом и будут долго держать, чтоб потом сожрать с потрохами, как доставшуюся добычу. О, этот люд подъезда! В городе ее детства Ростове подъезд называли «клеткой». «Вы в какой клетке живете?» Это было так точно. Люди – клетки. С соответствующими законами жанра клетки. Она подошла совсем близко и вдруг поняла, что странным образом сейчас, сегодня не представляет интереса для «клетки». Что может пройти незамеченной мимо толпы, потому что у той другое направление интереса. Норе так хотелось домой, к джину с тоником, что она почти минула их всех, но что-то ярко-полосатое, почему-то известное ей, остановило ее взгляд. На земле лицом вниз, сжимая в руках махровое полотенце, лежал человек и весь дрожал, как будто бы человек рыдал в это самое полотенце. Был хорошо виден странно заросший затылок с неправильным направлением волос.

– Что с ним? – спросила Нора.

Даже для ответа люди не повернулись к ней – так притягательна была эта чужая дрожь.

– Упал с балкона, – сказали ей.

– Или скинули, – расширялась картина знаний.
– Или сам, – восхищался народ широтой возможностей смерти.

– Могло под ним и обломиться...

Нора подняла голову и увидела бесконечность свесившихся с балконов и окон голов. Некоторые головы были так лихи, что подтягивали к себе уже все туловище, и это выглядело жутко на виду у лежащего. Без капли страха и ужаса. Но головы отважно нависали – им было по фигу чужое падение, но получалось, что – и свое тоже.

– С какого этажа? – спросила Нора.

– Неизвестно, – ответила толпа. – Может, и с крыши.

Но тут подъехали «Скорая» и милиция, и Нора первой вбежала в лифт, не дожидаясь, когда народ начнет рассасываться. Уже в лифте она подумала: «Человек не мог упасть с крыши. Под ним было полосатое полотенце, точно такое, как у меня самой сохнет на балконе».

Ее охватила паника, и она просто бежала к двери, которая была у нее просто дверью из ДСП, которую выдавливают хорошим плечом за раз. Такое уже случалось, когда она потеряла ключи, и пришлось звать соседа. Тот пораскачивался на месте туда-сюда, сюда-туда – и дверь под ним хрустнула жалобно и беспомощно. Пришлось купить другую дверь у этого же соседа, который обзавелся металлической. Может, он и ломал Норину дверь с надеждой, что понадобится другая? Его предыдущая дверь лежала под диваном и раздражала жену, но

сосед – как знал! – терпеливо ждал какого-нибудь подходящего случая. И – на тебе! Дождался и продал старую дверь. Норина связка пропорола тонкую подкладку кармана, и ключи брякнули, когда она вдавливалась в троллейбус. В конце концов вагончик тронулся – ключи остались. Была целая история, как она возвращалась к этому месту, но вам когда-нибудь удавалось найти то, к чему вы возвращались? ...Вот и Нора ключей не нашла.

Сейчас дверь (бывшая соседская) была цела, и замки на ней все были на месте. Дома пахло домом, без чужачих примесей. Мысль снова вернулась к этому человеку на земле, и Нора пошла на балкон, чтоб, как все, «свеситься и посмотреть».

Ограда ее балкона была сбита и погнута, бельевая веревка сорвана, с оставшейся прищепкой валялись на бетоне трусики, лифчик зацепился за штырь ограды.

Полотенца не было.

Невероятно, но факт. Человек упал с ее балкона. Каким-то непостижимым образом он попал на него, согнул перила, сорвал белье. Нора посмотрела вверх. Из кухонных окон, что были выше, свисали головы, они были безмятежны и наслаждались смертью.

В доме девять этажей. Ее – шестой.

«Сейчас придет милиция, – подумала она. – Значит, не надо пить джин». Ведь ей предстоит давать показания. Объяснять, как, не входя в квартиру, человек оказался на ее балконе. Что ему было нужно на нем? Ведь не мог же он залететь туда, падая?

Нора вымыла руки и стала ждать.

К ней никто не пришел.

Вечером, собираясь в театр, она подумала, что это по меньшей мере странно... Горячие следы там и прочая, прочая... Но тот человек на земле дрожал. Возможно, он остался жив и сам объяснил, как под ним оказалось ее полотенце. Тогда ей как минимум должны были бы это объяснить. Большое махровое полотенце, почти простыня, полоса желтая, потом зеленая, потом оранжевая и снова желтая... Хорошее полотенце. Норе его жалко.

На улице она посмотрела на то место. Смятый газончик. Сломанные ветки тополя. Из подъезда вышла женщина со второго этажа. Она, как и Нора, жила в однокомнатной квартире и все время ждала, когда ее убьют. Она первая в подъезде (клетке!) поставила металлическую дверь и застеклила балкон, а на окнах сделала решетки. Но от всего этого бояться стала еще пуще, ибо квартира с такими прибабасами неизбежно становилась ценней, а значит, убить ее было все завлекательней. Ее звали Люся, и она работала кассиршей в аптеке.

– Видели, у нас тут с крыши прыгнул? – спросила Люся.

– С крыши? – задала свой вопрос Нора.

– У него на чердаке было место. Матрац и даже столик... Вот несчастные люди с девятого этажа, вот несчастные. Мог ведь их поубивать! — Люсе нравилась грозящая другим опасность. Даже жаль, что «разбойника» нет, хорошо бы он попугал девятиэтажников, как ее пугает улица. Хорошо, чтобы что-то случи-

лось с другими. Ужас вокруг странным образом успокаивал Люсю, придавая этим как бы большую крепость ее замкам и решеткам. Но так мгновенно кончилась замечательная история. Человек разбился, а милиция тут же нашла, откуда он выпал...

Люся смотрела на Нору и думала, что хорошо бы и с этой артисткой что-нибудь случилось – нет, она к ней, можно сказать, даже хорошо относится, но если выбирать, то пусть убьют артистку. Какой от них прок людям? Не сеют, не пашут, не пробираются в кассе лекарства. Люся смотрит на Нору, Нора смотрит на Люсю.

«Какая сука! – думает Нора. – Какая сука!»

И разошлись. В тот вечер Нора играла Наталью в «Трех сестрах». Она всегда не любила эту роль, хотя ей говорили, что она у нее лучшая. Ну да! Ну да! Наталья – фальшивая обезьяна. Обезьянство обезьянски обезьянное. «Бобик!», «Софочка!» Фу...

В финале, говоря последние по пьесе Натальины слова «Велю срубить эту еловую аллею... Потом этот клен... Велю понасажать цветочков, цветочков, и будет запах...», увидела глаза актера, игравшего Кулыгина, и так закричала «Молчать!», что тот реплику «Разошлась!» сказал как бы не по пьесе, а по жизни. Это она, Нора, разошлась, тут финал, когда тут сейчас сестры будут высевать во все стороны разумное, доброе, вечное, а она Нора-Наталья как будто забыла, что она тут не главная. Натянула на себя одеяло и закончила пьесу тем, что сказала всем: «Молчать!», хотя столько-то других слов и такие туда-сюда мизансцены.

Но теперь все так торопятся, что никто, кроме напарника, не заметил ее разрушений. Не пришлось, оправдываясь, объяснять, что с ее балкона разбился человек, что никто про это ничего не знает, хотя у милиции есть улика – ярко-оранжево-зелено-желтое ее, Норино, полотенце.

Она рассказала все Еремину (Кулыгину), с которым не то дружила, не то крутила роман, одним словом – имела отношения, в которых можно рассказать то, что не всем скажешь.

– Знаешь, – сказал Еремин, – перво-наперво почини перила, а потом сразу забудь. В милицию не ходи ни в коем разе. Это последнее место на земле, куда надлежит идти человеку. Даже при несчастье, даже при горе... Вернее, при них – тем более. Сию организацию обойди другой улицей.

– Но он был на моем балконе!

– А тебя при этом не было дома. Тебя, как говорится, там не стояло.

– Если так подходить... – возмутилась Нора.

Но Еремин перебил.

– Не взывай! Только так и подходить. Заруби на носу. Милиция. ФСБ. ОМОН. Армия. Прокуратура. Адвокатура. Суд. Что там еще? Беги их! Они – враги. По определению. По назначению. По памяти крови и сути своей.

– Окстись, – сказала Нора. – Я без иллюзий, но не до такой же степени!

– До бесконечности степеней, – ответил Еремин. – Пока не умрет тот последний из них, кто уверен, что имеет над тобой право.

– Ванька! – засмеялась Нора. – Так тебя ж надо выдвигать в Думу.

– Я чистоплотный, – сказал Еремин. – А ты, Лаубе, теряешь свой знак качества. Ты, Норка, читаешь советские детективы.

– Нет, нет и нет... Неграмотная я...

Но всю дорогу из театра она продолжала этот разговор с Ереминым, а когда пришла, то, несмотря на ночь, позвонила в милицию, что хочет завтра видеть участкового по поводу... Тут она запуталась в определении, замякала и положила трубку.

Ночью ей снился сон. Она меняется квартирой с Люсей, и та требует приплату, что с ее второго этажа лучше виден упавший. «Смотри! Смотри!» Люся тащит ее на свой балкон, и Нора хорошо видит затылок мужчины, заросший густо, по-женски. «Бомжи не ходят в парикмахерскую», – думает она. «Отсюда и вши, – читает ее мысли Люся. – Но до второго этажа они не дойдут. У вшей слабые конечности».

На этом она проснулась. «Затылок, – подумала. – Я его почему-то знаю». «Дура, – ответила себе же. – Такую кудлатую голову носит, например, их прима. Вечные неприятности с париком. Они ей малы, и прима по-крестьянски натягивает парик на уши. И делается похожа на мороженщицу у театра. Та тоже тянет на уши шапку из песцовых хвостов... А потом делает этот странный дерг бедрами – туда-сюда... И вороватый взгляд во все стороны – видели? Не видели? Что я крутанулась вокруг оси?» Нора не раз приспособливалась жесты моро-

женщины к своим ролям. Очень годилось, очень... Пластика времени... Подергивание и растягивание. Загнанный в неудобные одежки совок. Человек не в своем размере. Совершенство уродства. Господи, сколько про это думалось! «Эта Лаубе свихнется мозгами!»

Так вот... Затылок... «Я знаю этот затылок в лицо», – подумала она снова.

18 ОКТЯБРЯ

Милиционер пришел сам. Надо же! Именно накануне у них в участке опробовали телефон-определитель, он срабатывал через два раза на третий, но ее звонок был как раз третьим. Участковый пришел в их подъезд по вызову: семейная драка в квартире шестнадцать. Звонили из семнадцатой – у них от шума вырубился свет. Участкового звали Витей – нет, конечно, он был Виктор Иванович Кравченко, но на самом деле все-таки Витя, даже, скорей, Витек. Он приехал из Ярославской деревни, где работал механиком. Но тут механизмы кончились, председатель все пустил по миру, а то, что осталось, уже «не подлежало ремонту». Эти слова Витя прочитал в акте по списанию механизмов, и они вошли в него одним словом: «неподлежалоремонту». Теперь Витек работал в милиции, жил в общежитии и не переставал удивляться разности жизнью там – в деревне и тут – в столице. Конечно, он бывал в Москве, и не раз, в мавзолее бывал, на ВДНХ, ездил туда-сюда на водном трамвае, в метро познакомился с девушкой из Белоруссии, тоже деревенской, они стали писать друг другу письма,

а потом почта «накрылась медным тазом». Жаль девушку. Такая беленькая-беленькая. Ресницы такие редкие-редкие, но длинные-длинные. Существующие как бы сами по себе, они очень волновали Витю. Он старался положить этому конец, так как не любил, когда в душе что-то тянет. И он даже написал ей, что «нашу дружбу нельзя считать действительной, ибо никак»... Последние два слова повергли его в такое сердцебиение, что письмо пришлось порвать, но «ибоникак» (тоже пишется и звучит вместе) почему-то в нем осело на дно и стало там (где? где осело?) укореняться.

Но это когда было! Он тогда приезжал в Москву гостем, а сейчас он тут замечательно работал, жил в хорошей теплой комнате с таким же, как он, милиционером из Тамбова. Ничего парень, только очень тяжел духом ног. Витя старался держать форточку открытой – ибоникак...

Так вот... Он позвонил Норе в девять утра, откуда ему было знать, что в такое время артистки еще не встают, это не их час. Но он ведь понятия не имел, что она артистка. Знал бы – сроду не пришел.

Нора едва запахнула халат и впустила Витька. Пока поворачивался ключ, он громко сглотнул сопли и сделал выражение приветливости при помощи растягивания губ. «Улыбайте свое лицо», – учил их капитан-психолог на краткосрочных курсах. Москва тогда напрягалась к юбилею, и это было важно – не отпугивать лицом милиции страну людей.

Дальше все полетело к чертовой матери. Нора открыла дверь. А когда она это делала, то всегда

рисовалась на фоне афиши кино, где еще в молодые годы сыграла маленькую, но пикантную роль легкомысленной женщины, которая во времена строгие позволяла себе, заголив ногу, застегивать чулок (дело происходило до войны и до колготок) в самой что ни на есть близости к табуированному месту. Длинные Норины ноги толкали сюжет кино в опасном направлении, и, тем не менее, это было снято и показано! И в чем и есть главный ужас искусства – осталось навсегда. Недавно фильм демонстрировали по телевизору, и, конечно, никто ничего не заметил, тоже мне новость: три секунды паха и кромки трусов. Даже детям это уже давно можно смотреть. Но Витя, человек по природе здоровый и не испорченный душевно, был – по кино – очень на стороне мужчины, которого эта женщина без понятий волокла к себе грубо и без всяких яких. Он остро пережил этот момент насилия над мужским полом и момент его потрясения нечеловечески красивой ногой, ведущей простого человека в самую глубь порока.

А тут возьми и откройся дверь, и Нора стоит в халате, по скорости одевания не тщательно запахнутом, и даже где-то чуть выше колена белеется то самое тело, и можно всякое подумать, опять же афиша не оставляет сомнения, что он видит то, что видит, а потом Витек наконец подымает глаза на Нору.

«Надо убрать эту чертову афишу», – думает Нора, глядя, как странно меняется лицо парня. От обалдения до еще раз обалдения. «Да, милый, да! У тебя есть другой способ жизни, кроме как старе-

ние?» Норе думалось, что это его потрясло. Ее сегодняшний возраст.

– Участковый уполномоченный Виктор Иванович Кравченко, – прохрипел Витя.

– Заходи, Иванович, гостем будешь, – насмешливо сказала Нора.

Был момент приседания милиционера от еще одного крайнего потрясения. На диване лежало постельное белье, и было оно в шахматную клетку. На квадратиках были изображены фигуры, и они как бы лежа играли партию. Вите даже показалось, что королю шах – для точности знания надо было бы распрямить простыню, примятую телом женщины. Вот на этом он слегка и присел, чудак-милиционер, выпускник самых краткосрочных в мире курсов. «Улыбайте свое лицо!»

– В кухню! – сказала Нора, закрывая дверь в комнату. – Вы пришли очень рано. Да... Рано... Это по поводу случая в подъезде?

– Я по поводу вашего звонка, – строго сказал Витя.

– А! – засмеялась Нора. – Вычислили...

Витя не понял. Ему сказали: «Был сигнал с такого-то номера. Будешь в доме – проверь». Лично он ничего не вычислял.

– Дело в том, – сказала Нора, – что тот человек сломал мне балкон, и под ним было мое полотенце. Это можно как-то объяснить?

– Можно, – ответил Витя. – Произошло задевание ног.

Нора смотрела на молодое, плохо выбритое лицо. Угри на лбу и на крыльях носа. Дурачки вы-

стриженные виски. След тугого воротничка на молодой белой шее. Странно нежной. Разве милиционеру гоже иметь нежную шею? Гость же тщательно скрывал несогласие с миром вокруг, то есть с кухней, ее Нориной кухней. «Несогласие побеждает в нем интерес, – думает Нора. – Очень смешной».

– Вы из каких краев? – спросила она.

– Мы ярославские, – ответил Витя.

«Правильный ответ, – подумала Нора. – Если бы я спросила: „Ты из каких краев?“, он бы ответил: „Я ярославский“. Единственное и множественное число у него не путаются».

– Так вот... – сказала она. – Он не мог задеть ногой полотенце.

– Кто? – спросил Витя. Он не поспевал за Нориной мыслью. Ей интересно то одно, то другое, но ведь сам он думает о третьем. Вот он сейчас был в шестнадцатой квартире, там не было никакой разницы с тем, что он знает про квартиры вообще. Диван. Стенка. Табуретки в кухне. Половик. Еще зеркало. В семнадцатой, правда, у него немного завернулись мозги. Трехэтажная кровать. Купе, одним словом. Он ехал из Ярославля на третьей полке. Противно. На спине – как в гробу, на боку – как в блиндаже. Семнадцатая ему не понравилась отношением к соседям. Если на каждый вскрик звать милицию...

«Есть люди отрицательного ума, – объяснял им капитан-психолог, – им все не нравится. Они желают жить на земном шаре в одиночестве. Только они и земной шар. С ними надо по жесткому зако-

ну. Есть и заблужденцы. Вот тут нужна чуткость сердца. Это контингент нашего поля зрения».

Витя не знает, что думать об этой кухне. Он не знает, как быть с женщиной, которая со стороны лица, тихо говоря, старая, а со стороны ноги, а также виденного кино, вызывает в нем некоторое дрожание сосудов. А он этого не любит. (См. историю с девушкой из Белоруссии, которая отрастила каждую ресничку по отдельности, как будто нарочно, чтоб смущать людей. Капитан-психолог говорил: «Надо всегда идти от правила нормы»).

– Меня зовут Нора, – сказала Нора, и Витя подпрыгнул на стуле, потому как два слова сошлись и ударились лоб в лоб. Норма и Нора.

Что за имя? Он не слышал никогда. Он путался в буквах, не имеющих для него смысла. И он разгневался. Но так сказать, это все равно, что назвать па-де-де из всемирно известного балета Минкуса «Дон Кихот» словами «два притопа – три прихлопа». Гнев Вити был пупырчато-розовым и начинал взбухать над левой бровью. Мама, не ведая про рождение гнева, говорила: «Что-то тебя укусило, сынок. Потри солью». Одновременно... Одновременно ему хотелось что-то заломати. В детстве он ломал карандаши, на краткосрочной учебе – шариковые ручки. Капитан-психолог говорил, что это «нормальная разрядка электрического тока в нервах. Такой способ лучше, чем в глазах».

На столе у Норы лежал, горя не знал, кристаллик морской соли – Нора пользовалась ею. Витя раздавил его ногтем большого пальца, как вшу ка-

кую-нибудь, и его сразу отпустило. У женщины же высоко вспрыгнули брови и стали «домиком». Таким было взбухание Нориного гнева. Она схватила цветастую тряпку и протерла это место на столе, место касания соли и ногтя.

– Я поняла, – сказала Нора, – вы не в курсе. Так ведь? Откуда человек упал?.. Кто он?.. А может, его сбросили? Задевание ногой!.. Это ж надо! Вы себе представляете, как нужно махать ногами, когда летишь умирать?

Витя растерялся. Он представил себе физику и свободное падение тела. Он как бы вышел во двор, расположился возле трансформаторной будки, приложил ко лбу ладонь козырьком и стал видеть. Размахивания ногами не было. А потому все балконные перила оставались целы. А эти – на шестом – почему-то надо чинить.

Невинные, не тронутые игрой ума мозги Вити напряглись, и с губ сорвался, так сказать, результат такого неожиданного процесса.

– Значит, он был у вас, – сказал Витя, удивляясь новой модуляции голоса – откуда, блин? И для страховки покидающих его сил он схватился за планшет и резко повернул его с бока на живот.

И хотя это был планшет – не кобура, сама эта резкость жеста не то чтобы напугала Нору – кого пугаться, люди? – но привела ее к очень естественному и абсолютно правильному выводу: она идиотка. Потому что только полный ... (вышеупомянутое слово) будет так подставляться нашей милиции, которая никогда сроду никого не уберегла,

ничего не раскрыла и давно существует в образе анекдота: «Милиционеры! На посадку деревьев готовься! Зеленым – вверх! Зеленым – вверх!» Вот и перед ней сейчас точно такое «садило» – из всех возможных и невозможных вариантов он выщелкнул одно: сама позвала – сама виновата.

– Не было его у меня, – с ненавистью, несколько излишней для весьма слабого случая, сказала Нора. – У меня был закрыт балкон, и в квартире все осталось в порядке.

– А кто это засвидетельствует? – грамотно спросил Витя, удивляясь складности ведения разговора и тому, что он напрочь забыл уходящую в бесконечную высь ногу артистки, а вот пожилую женщину, наоборот, иден-ти-фи-ци-рует хорошо. Пожилая, халат нараспашку и провокация в расчете на слабость его молодости.

– Нет, – ответила Нора, – я была одна, когда пришла домой.

Она тут же пожалела об этом. Надо было соврать – сказать, что с ней был Еремин. Тот бы не колебался ни секунды, ему лжесвидетельствовать – хлебом не корми. Конечно, он бы ее вырубил.

– Я вам сказала то, что есть... Мне показалось, это для вас важно...

– Конечно, конечно, – ответил Витя. – Разрешите осмотреть балкон.

С тех пор как она обнаружила сломанные перила, Нора на балкон не выходила. В тот же день, когда она все увидела, она остро ощутила притягательность этого слома. Ее балкон теперь легко по-

кидался, и хотя она считала, что абсолютно лишена всякого рода маний, это неожиданно пронзившее чувство легкости последнего шага повергло ее в доселе неизведанное состояние. Нет, не так... Веданное... Получая роль в спектакле, она всегда знала, какой должна быть интонация, какой голос должен быть у первой фразы на репетиции. Но никогда не придурилась перед режиссером, играя с ним и сама с собой долго и нудно, пока хватало куражу, проигрывая все ложные пути. А потом... Вдруг в одночасье взять и произнести реплику так, как то надо! Она делала все сразу, лишая себя удовольствия от репетиции.

Так вот, веданным изначально было и движение вниз, с балкона, стоило только чуть-чуть приподнять ногу.

«Но я никогда такого не хотела, – смятенно думала Нора. – Это просто страх высоты. Притягательность бездны...»

Витя тоже смотрел вниз. И ему тоже было страшно. Это был нормальный страх живого тела. Просто «страшно, аж жуть» – и все тут.

Потом он потрогал обвисшие веревки, сырые и холодные. На бетоне так и лежали прищепки. Некоторые были сломаны, видимо, те, что держали толстое полотенце. Но это знала только Нора, а для Вити наблюдение над прищепками было высшей математикой сыска. И она была лишней, математика, потому что и так все ясно. Человек упал отсюда, а значит, он тут был. У этой женщины.

– Другого способа попасть на балкон, как через квартиру, нету, – сказал он. – Нету.

– Что, разве нельзя на него спуститься с крыши, с верхнего этажа? – возмутилась Нора. – Или подняться с пятого? Вы это проверяли?

– Проверим, – ответил Витя.

Нора закрыла за ним дверь и выругалась черным матом. Господи! Зачем она в это ввязалась? Ведь у милиции есть такая замечательная версия про бомжа на чердаке. Все объясняет и снимает все вопросы. Какого же еще рожна!

В душе в тот самый секундно неприятный момент, когда она поворачивала кран на холодную воду, она опять увидела затылок погибшего, увидела неправильность растущих волос, делающих странный густой поворот, она ощутила эти волосы рукой, и ее пальцы как бы разгладили крутой серповидный завиток. Боже! Что за чушь? Ничего подобного с нею не было!

– О! – сказал ей Еремин. – С полным тебя приехало! Признайся, женщина, ты бросала своих младенцев в мусоропровод? У тебя же типичный синдром Кручининой!

– Еремин! Я знаю эту голову наощупь! А детей в мусоропровод не бросала.

– Ты про затылок сказала милиционеру?

– Бог миловал! Но если я знаю, что он был на моем балконе, значит, какая-то связь между нами есть?

– Нету, – нежно сказал Еремин и обнял Нору. – Знаешь, – добавил он, – очень много спяченных с ума. Более чем... Не ходи к ним... Оставайся тут... Чертова подкорка делает с нами, что хочет. Она сейчас президент. Но какой же идиот живет у нас по указам президента? Нора! Освободи голову! Я подтверждаю, что был с тобой в тот день, но ты не призналась, чтоб не ранить мою жену. Туське, конечно, ни слова. Она у меня человек простой, она верит тому, что пишут на заборах.

Ей легко с Ереминым. Он все понимает, но правильные ответы он перечеркивает. Он считает, что их не может быть. Человеку, считает Еремин, знать истину не дано. Ему достаточно приблизительно знания. Таких, как «земля круглая, а дважды два четыре». На самом-то деле ведь и не круглая, и не четыре!

19 ОКТЯБРЯ

В тот день у Норы не было вечернего спектакля, поэтому она осуществила то, что не давало ей покоя. Она поднялась на девятый этаж. И теперь стояла и смотрела в потолок – хода на чердак не было. Нора спустилась к себе, взяла театральный бинокль и вышла на улицу. Стекла бинокля запотели сразу, но ей и так были видны непорученные трубы водостока и бордюр крыши. Она прошла вдоль дома. Выход с чердака на крышу был с другой стороны дома и над другим подъездом. Значит, чтобы спрыгнуть так, как получалось, самоубийце пришлось гулять по крыше, переходя с восточной части на западную. Нора вернулась к своему подъ-

езду. И так... Над ней еще три балкона. Все они в полном порядке. Три близких к ним кухонных окна. Это на случай той мысли, что покойник акробат-эквилибрист. Можно взять в голову и совсем дурное. Он рухнул, карабкаясь к ней с пятого этажа. Но и тут еще один аккуратный балкон.

Нора не знала, что за ней следит Люся со второго этажа. Что у той все оборвалось внутри, когда она увидела в руках артистки бинокль. Люся даже за сердце схватилась, так у нее там рвануло. Если представить мозг Люси как заброшенный и отключенный от воды фонтан «Дружба народов», что на ВДНХ, то сейчас как раз случилось неожиданное включение. И трубы с хрипом и писком ударили струями, и Люся практически все поняла про жизнь. Она поняла, что надо спастись в деревню и питаться исключительно своим. Потому что верить в городе нельзя никому. Ни людям, ни магазинам. Основополагающая мысль-идея требовала подтверждений, и Люся как была в войлочных тапках, так и ринулась вниз, чтоб окончательно застукать артистку за этим подсудным делом разглядывания чужих окон в бинокль.

Они столкнулись у лифта, и Нора сказала: «Здравствуйте!» Потом она вошла в лифт и спросила: «Вы не едете?» Люся, вся подпаленная изнутри, не то что растерялась, просто ее сразила Норина наглость: «Вы не едете?» Во-первых, она на второй этаж не ездит никогда; во-вторых, ты видишь, я тебя застукала, я поймала тебя с полич-

ным биноклем, я все про тебя поняла, а ты мне как ни в чем не бывало: «Здравствуйте! Вы не едете?»

~ На улице сыро, – сказала Нора, нажимая кнопку и глядя на войлочные тапки. И вознеслась.

МЕМОРИЯ

Нора жила в этой квартире уже больше десяти лет. С ума сойти! Казалось, что все еще новоселка, таким острым было тогда вселение. Первое время она просто не видела людей, а потом уже привыкла их не видеть. Это на старой квартире было соседское братство, ну и чем кончилось? В этом подъезде она знала людей только в лицо и то про них, что приходило само собой. Вот эта придурочная тетка, которая работает в аптеке. Она сидит в кассе с поджатыми губами и не признает никого. Ей кажется, что этим она утверждает себя в мире. Такой же поджатостью губ (национальное свойство) закрепляет свое место и журналистка с седьмого. Сроду бы ей, Норе, не догадаться, что та журналистка – персона известная. Ей по судьбе написано было распрямить плечи и выплюнуть изо рта мундштук или что там так крепко приходится сжимать до смертной сцепленности губ.

Ах, это разнотравье человеческих типов! И такие, и эдакие... По цвету и запаху, по манере сморкаться и говорить, по тому, как вьется волос...

«У меня уже так было, – думает Нора, – когда жила с Николаем и смотрела, как он спит, то мне казалось, что я знала другого мужчину, который спал точно так же, запрокинув назад голову». От чего в сладости сна открывался рот и из него шли

попискивающие стоны. Такой способ спать может быть только у одного мужчины, имея в виду женщину и число ее мужчин. ...Ей же виделся другой, как бы ею знаемый. Потом, потом... Уже после их развода мама сказала, как странно спал ее, Норин, дедушка. Могла она это видеть? Могла. Ей было пять лет, когда дедушка умер. Получалось, что в случае с Николаем не было никакой мистической памяти. Сплошной грубый материализм запоминания, а потом забвения. До какого-то случая жизни.

Но если было раз, если у нее есть привычка закладывать знание и видение в самый что ни на есть код памяти, то значит и ищи в нем? Сбивал с толку Николай. Она давно не думала о нем, может, пять лет, а может, два часа.

Они познакомились в Челябинске, где театр был на гастролях. Прошло два года, как большеступая перенесла на своей спине первого мужа Нору в Айдахо. Он уже успел прислать ей гостинец – платочек в крапинку и туалетную воду «Чарли». Сейчас ее всюду как грязи, тогда же она долго не знала, как с ней быть, потому что была уверена: вода мужская, просто Лаубе никогда ни в чем таком не разбирался, здесь он дарил ей духи «Кремль» с тяжелым, прибывающим к земле духом, собственно очень даже соответствующим названию. Так вот «Чарли» стоял полнехонек, а у них гастроли в Челябинске, у нее роли в каждом спектакле, а подруга – химик из города Шевченко – пишет: «Тебе надо сублимировать случай с твоим неудачным браком. Возгори в творчестве».

Видели бы вы эту подругу. Такая вся мелкосерая барышня с пробором не посередине и не сбоку, а где-то между. Отличница и собиратель взносов. Но только она могла написать такое: «Возгори и сублимация».

В сущности, лучшего человека в жизни Норы не было. Узналось это много позже, когда подруга разбилась на самолете, выиграв какую-то дурацкую турпутевку в лотерею. Через какое-то время Нора почувствовала: задыхается без писем со словами: «Критика – сублимация бездарности. Но ты знай: не от каждого можно обидеться. Роди ребенка. Я чувствую, что театр не может сублимировать твое женское начало».

Нора бросала эти письма со словами, что «эта кретинка могла бы выучить хотя бы еще одно слово». А кретинка возьми и разбейся... Но это потом, потом... А пока она на гастролях в Челябинске...

Она тогда играла как оглашенная. И еще не думала о себе, что она не актриса милостью Божьей. Она вообще тогда ни о чем таком не думала. Переходила из роли в роль, казалось – так надо, не видела вокруг себя зависти и ненависти, даже не так. Видеть видела, просто она инстинктивно переходила на другую сторону улицы, и если бы тогда, двадцать с лишним лет тому, были говоримы слова «молилась кротко за врагов», то да... Молилась. Было именно то. Душа ее была щедра, а ум пребывал в анабиозе.

Так вот... Николай попал в их актерскую тусовку, по тому времени – вечеринку, из инженеров-

радиотехников. Была там компания молодых ленинградцев, эдакие физики-лирики, что сосредоточенно поглощали симфоническую музыку, театр, джаз, передавали друг другу ротапринтного Булгакова и жили черт-те где и черт-те как в смысле бытовом.

«Не хочу! – кричит себе Нора. – Не хочу про это вспоминать!»

Крутой получился роман. Из тех, о которых говорят в народе: «А знаешь...», «А слышал...» У Николая были девочки-близнецы пяти лет, а жена его ходила беременная третьим.

Мозг Норы стал просыпаться, когда она увидела, какой красавицей была эта женщина. То ли Лопухина, то ли боттичеллиевская Флора, то ли мадонна Литта, ну, в общем, этого ряда. Не меньше. Вторым потрясением была доброта этой Лопухиной-Флоры. Как она их кормила, когда они заваливались к ним ночью, как споро двигалась со своим уже большим животом и все пеклась о Норе, что у той очень уж торчат ключицы. Она даже трогала их красивым пальцем, несчастные Норины кости. Жалела. Совершенная, сокрушалась о несовершенстве тварного мира. Надо ли говорить, что Шурочка была глупа как пробка? Или все просматривается и так? Это ведь только у Проктера и Гембла в одном флаконе сразу все – с человеками так не бывает. Обязательно чего-нибудь будет недоложено божественно справедливо.

Вот тогда, разглядывая в зеркале обцелованные Николаем свои худые плечи, Норе много чего увиделось в зеркале и про себя, и про других.

Шура родила Гришу уже осенью, когда театр отдыхал на югах. Нора же тайком от всех жила в деревне под Челябинском – туда ходил рейсовый автобус, и Николай приезжал к ней среди недели. В свой библиотечный день. В сущности, у них тогда было всего три среды, а в четвертую – родился Гриша. Трое детей – это не мало, а много. Это просто невероятное количество, которое, по сути, гораздо больше своего математического выражения.

Нора вернулась в Москву. У театра в тот год было тридцатилетие, и им выделили пять квартир. Грандиозный подарок властей имел под собой простую и старую как мир причину. Сын директора театра женился на дочери одного из горкомычей. Дочь писала дипломную работу по их спектаклям. Ну дальше – дело родственное. Нора и старая актриса из репрессированных в окаянное время получили маленькую двухкомнатную квартиру на двоих. Каждый считал своим долгом сказать Норе, как ей повезло: актрисе уже за семьдесят, она скоро непременно освободит площадь, ты понимаешь, Нора, какой у тебя счастливый случай? «Я в этот период защитила докторскую диссертацию по знанию людей и жизни, и мне за нее дали Нобелевку», – думала Нора.

Интересно, что старой несчастной актрисе говорили почти то же самое и советовали тщательно следить за своими продуктами и питьем. Мало ли, мол...

Но женщины поладили. И старая сиделица оказалась хорошей «наперсницей разврата». Когда в Москву прилетал Николай, вот уж не надо было

делать вид, что знакомому негде остановиться. Голые, они пробежали в ванную, а старуха старалась держать в этот момент дверь открытой. «Норочка! Оставьте мне хотя бы радость видеть любовь!»

А потом произошло невероятное. Красавица Шурочка с тремя детьми ушла к овдовевшему ректору института. Он перенес ее на руках через порог большой барской квартиры, следом вбежали дети, захватчики пространств. Старый молодой боготворил свою жену так, что та даже стеснялась. Конечно, ей было «жалко Колю», но что поделать? Что? И Шурочка разводила руками над таинственностью жизни, в которой – о, как правильно учили в школе! – всегда есть место подвигам. Именно так она рассматривала случившееся с нею. «Разве легко уходить от молодого к пожилому? – спрашивала ясноокая. – Не каждый решится... Но я так нужна была Иван Иванычу».

«Какая хитрая сволочь, – думала уже Нора, потому что не было у нее чувства освобождения и радости: у Николая после всех этих дел случился инфаркт, а где Челябинск – где Москва?»

Когда приятели, и Шурочка, между прочим, вытащили Николая из болезни и он приехал в Москву, он стал совсем другим. Уже не было «голых перегонков» по квартире, он сидел в кресле у окна и молчал, и Нора думала, что зря он приехал. Все кончилось.

Расставались уже навсегда, а получилось на полгода.

У каждого обстоятельства есть свой срок. Кончился срок инфаркта, кончился срок ощущения потери детей. Никуда они не делись, Шурочка с удовольствием давала их «поносить на ручках». И потом даже возник момент (время других обстоятельств), когда у Николая оказывались причины не бежать к детям, боясь их потерять. Мадонна Литта и это понимала. Это был какой-то научно-фантастический развод, в котором нормальному человеку становилось противно от количества добра и справедливости.

Потом была командировка в Москву, встретились и снова очуманели. И снова старая артистка приоткрывала дверь, и что она думала в тот момент – бог весть, но что-то такое очень возбудительное, потому что однажды она все-таки умерла. Случился, видимо, спазм, а она не сочла возможным звать к себе на помощь Нору в момент ее любви. Чтобы не потерять комнату, они поженились быстро, практически без церемоний. А надо было, надо – это выяснилось потом – поцеремониться. Хотя это сейчас так думается: как только квартирка и прописка встали на первый план, будто подрубился сук. Но что это за сук, если его легко сломать абсолютно естественными вещами.

Нет, все дело было в Москве. Она отторгла чужака Николая, из которого так и «перла провинциальность». Ей это объяснили лучшие подруги. Все ничего, мол, Нора, но прет... Еще бы кто-нибудь объяснил, что это такое. Николай ведь и умен, и образован, и профессионал будь здоров... Правда, не

хам... Наивен в оценках людей и событий... Доверчив, как вылеченная дворняга... Вскакивает с места при виде старших, женщин и детей... Какая воспитанность, Норка! Это комплекс неполноценности.

Николай становился самим собой, только когда уезжал в Челябинск. Потом это стало легким маразмом: настоящие люди там. Там! Оглянуться не успела, как обнаружила: живет с ненавистником Москвы. «Здесь, – говорил он ей, – живут не люди. Здесь живут монстрвичи. Это такая национальность».

Она смеялась. «Тогда ты шовинист!» – «Да! – говорил он. – Россию надо отделить от Москвы».

Так все было глупо и бездарно. Провалить любовь в злобу по поводу московских нравов, Коля, ты что? Вот и то... Он вернулся в Челябинск, через год вернулся к ней... Так и было. Он защитил диссертацию в Челябинске, но ее не утвердил московский ВАК, он поссорился с ВАКом, сказал, что никогда больше... И долго не приезжал.

Тогда же у него начался тик... Все время дергалось веко. Он похудел, а она боялась, не рак ли...

Однажды он не приехал никогда. То есть потом, потом... Но сначала не приехал, не позвонил. Она позвонила сама. Он говорил с ней голосом автоответчика. «Не надо мучить друг друга», – сказала она. «Да!» – закричал он, будто то ли прозрел, то ли увидел заветный берег.

Не разводились года три. Но какое это имело значение? Очереди на ее руку и сердце «не стояло». Конечно, ударилась во все тяжкие, как же иначе выживешь?

А потом вдруг ей на голову свалилась Шурочка с сыном Гришей. Показать его глазникам. Николай написал записку, просил принять бывшую жену и сына! Флора-Лопухина была по-прежнему хороша, и пятьдесят четвертый размер ей шел еще больше, чем сорок восьмой.

Гриша... Уснул на диванчике, смежив закапанные атропином глаза. Шурочка ушла на Калининский – «поглазеть».

Мальчик спал, как отец, запрокинув голову и высвистывая что-то свое. Норе показалось, что ему так лежать нездорово. Она подошла и повернула его на бок, ее ладонь обхватила его затылок. Густой, почти шерстяной. Пальцы огладили крутую, неправильно лежащую косую прядь...

19 ОКТЯБРЯ

...Кажется, она закричала. Ей показалось, что она в той старой квартире, и стоит сделать несколько шагов, как она очутится у того диванчика с мальчиком. Шаги даже были сделаны, умственные шаги, которые проконтролировал здравый смысл, сказав: «Назад!»

Не было ни капли сомнений. Ни капли. Тот затылок и этот, вспоминаемый, были... – как это теперь учат в школе? – конгруэнтны. Она не сразу выучила это слово, но дочь Еремина, когда ее куда было деть, учила уроки у нее в уборной. «Боже! – думала Нора. – Чем им не угодило слово „равны“?»

Но если это был Гриша, то как он здесь оказался?

Она давно поменяла квартиру. Болела мама, нужны были деньги, большие деньги. Ее квартира в центре высоко котировалась по сравнению с этой, привокзальной и непрестижной.

Сейчас она ее даже любит. В ее стенах нет больших воспоминаний. В них живет сильная независимая женщина, которая не является актрисой милостью Божьей, но живет так разумно и грамотно, что...

...что с ее балкона падает человек, который мог быть (или был?) сыном человека... Фу, фу, сплошное че-че... Мог быть сыном Коли, царство ему небесное, который умер три года тому назад в своем возлюбленном Челябинске. Ей написала об этом Шурочка. Мадонна Литта уже была гроссмамой, пестовала внушек и престарелого Иван Ивановича, а «Коля умер от прободной язвы, просто залился кровью». Он был женат, имел дочь. И вот это почему-то оказалось самым горьким. Нора так хотела ребенка, а он так хотел вернуться в Челябинск. Желания не совпали, город победил. Ну не дичь ли? А вот третья женщина взяла и родила девочку. Интересно, сколько ей сейчас лет?

Надо было с чего-то начинать. И Нора позвонила в Челябинск. «Я буду осторожна», – сказала она себе.

Ей ответила женщина. Видимо, одна из дочерей Шурочки. Она сказала, что мама с Иван Ивановичем практически постоянно живут за городом. Телефона у них там нет. Да, все здоровы, слава богу. Гриша? Он в Москве. У него нет пока постоянного места жилья и работы, но есть один телефон. Вам дать?

Позвоните Грише. Передавайте от нас привет. И пусть дает о себе знать. Я вас помню, тетя Нора!

Нора набрала номер. Ей сказали, что Гриши нет, уехал в Обнинск, будет завтра.

20 ОКТЯБРЯ

Витек проснулся от чего-то неприятного. Уже светлело, но часок-полтора у него еще были, а вот подняло...

На него смотрели сырые, мягкие, мятые тесной обувью ступни сержанта Поливоды. Тот всегда оставял ступни на свободе, падая на койку. Одновременно до задыхания пряча голову под одеяло.

Самостоятельность жизнедеятельности ступней Поливоды всегда поражала Витька, внушая ему даже некоторый мистический ужас перед жизнью части, отдельно взятой от целого. Вот так у него самого отдельно живет ноготь мизинца на левой руке, надламываясь всегда в одном и том же месте. Надломившись, ноготь сдергивает заусеницу, которая после этого пучится гноем, и майся потом с нею, майся. Хорошо сейчас, когда чистая работа, а раньше с железяками, ржавчиной, маслом, когда что-то чиня, не попадаешь в зазор, а сволочь-ноготь будто тащит за собой руку именно туда, где ее прищучит заевшая деталь. Ноготь с набрякшей болью заусеницей имел от Витька полное самоопределение.

Вот и ступни Поливоды. Они цвели и пахли, как им хотелось. Они были волглыми и стыдными. Они вызывали ненависть к укутанному Поливоде, который ничего плохого Витьку не делал, а даже, можно сказать, любил младшего по возрасту. Вче-

ра он оставил ему на ужин кусок итальянской пиццы, которую Витя не переносил ни на вид, ни на вкус. Откуда это было знать Поливоде? Он ел все. А Витя как раз был разборчив в еде, он не понимал новомодной целлофановой пищи. Она в него не шла. Не хватало зубов, чтоб ее пережевать, не хватало слюны, чтоб смягчить и сглотнуть.

Так думал в то раннее утро милиционер, хотя ни о чем таком он не думал и не признал бы за свои мысли, выраженные строчкой слов. Просто в голове его было сразу все: ступни, пицца, ноготь, машинное масло и злость, что из-за духа товарища Поливоды пришлось проснуться раньше.

Но стоило Витьку встать и открыть форточку, как ветер выдул из его головы побегу незначительных размышлений, а на их место пришла главная, можно сказать, сущностная задача для ума: найти доказательства, что неизвестного миру бомжа столкнула или довела до падения артистка Нора Лаубе, которая звонком в милицию хотела запутать ясное как дважды два дело. Он видел такой фильм по телевизору: там преступник все время помогает придурковатому детективу – на, мол, смотри, что я тебе показываю; на, мол, слушай, что я тебе скажу, – и придурковатый полицейский за все благодарил, прямо кланялся, но это была с его стороны хитрость.

Правда, когда Витек сказал в милиции, что этот бомж, что шандарахнулся такого-то числа, мог и не сам... Ему сказали, что дело закрыто, и нечего возникать – никто самоубийцу не ищет, никому он не нужен, и надо быть идиотом (слышь, Витя, это к

тебе лично!), чтоб искать на пустом месте деньги. Займись лучше криминогенной обстановкой в районе спортивной школы. Замечательный совет. Школа стоит рядом с домом Лаубе. Вроде как нарочно.

Витя удачно появился во дворе: артистка как раз бежала на работу. У него слегка ворохнулось сердце от ее широкого и легкого шага, и возникла неясная мысль о том, что длинные ноги совсем не то или не совсем то, что подразумевается в похабном разговоре. «Ноги, которые до шеи, – туговато скрипнул мозгами Витя, – играют другое значение. Это точно, именно так: другое значение. Они умеют ходить красиво и быстро. Взять, к примеру, циркуль...»

– Здравствуйте, – вежливо поздоровался Витек с Норой.

Та не сразу сообразила, кто он.

После того как она вчера узнала, что Гриша жив и здоров, она выбросила эту историю с падением из головы. Она потом перезвонила той женщине, что сказала ей, где Гриша, еще раз и оставила свой номер: «Скажите ему: пусть позвонит тете Норе». Она не уточнила – Лаубе, – чтоб не засветиться. Пусть не первого, но второго ряда она актрисой была, ее могли знать. Теперь в голове осталась починка перил, потому что с той минуты, как ее стала затягивать балконная дыра, она на него не выходит. Все дело теперь в деньгах. Во сколько ей обойдется этот чужой смертельный полет? В конце концов версия размахивающих в падении ног не хуже всякой другой, если другой нет вообще. И

она не видела никогда падающих с крыши людей, в кино падают куклы.

– Все у вас в порядке, Виктор Иванович? Служба идет? – ответила Нора на «здравствуйте», когда сообразила, кто перед ней.

– У меня находится вопрос, – скрипнул Витек.

– О нет! – закричала Нора. – Нет! Только не сейчас. Я буду дома в три. Приходите, если что нужно...

И она умчалась, пользуясь своим совершенным средством передвижения. Снова Витя смотрел ей вслед, и снова смутные какие-то идеи возникали на пересечении его извилин. Так встречаются иногда на перекрестке дорог люди, один на машине, другой на кобыле, третий вообще пехом и с собакой, столкнутся моментно – и разойдутся в разные стороны, и думай потом, думай, что это было? С чего это они сошлись? Так и дороги извилин — хотя про это известно куда меньше, – но название им придумано хорошее, вкусное и одновременно красивое. Как имя женщины. Извилина. Можно Иза. Можно Валя. У него была знакомая Валя. Из Белоруссии. У нее были длинные отдельные волосины ресниц, и его от них брала оторопь.

Витя шел в подъезд Норы и знал – зачем.

Нора же... Нора...

В троллейбусе она вдруг поняла странное: есть, значит, два одинаковых затылка? У Гриши, который в Обнинске, и у самоубиенного мужчины? А откуда она знает, что их не четыре или восемь. И вообще, с чего она взяла косую прядь и прочее? Бомж. Нече-

санный и немый. Она и видела его на расстоянии, она ведь даже зевак не пересекла, чтоб подойти поближе. Просто бросила взгляд. И, между прочим, сначала на полотенце. Это потом уже... Творческий процесс мысли стал заворачивать в это полотенце черт-те что. Сообрази своей головой, женщина, с какой стати мальчик Гриша, которого ты когда-то подержала в руках, выросши во взрослого дядьку, мог оказаться на твоём балконе? К тебе, Лаубе, пришел климакс и постучал в дверь. «Это я, – сказал он. – Климакс. Я к вам пришел навеки поселиться. У вас будет жизнь с идиотом, но это совсем не то, про что написано в одноименном сочинении. Я не буду вас убивать на самом деле. Но умственные убийства я вам дам посмотреть непременно. Я буду вас ими смущать. Я у вас затейливый климакс».

«Слава богу, – подумала Нора, – что у меня все в порядке с чувством юмора».

Молодой, подающий надежды режиссер все-таки сбил случайную команду для постановки Ионеско. Такое теперь сплошь и рядом, деньги и успех – без гарантий, но кто может себе сегодня позволить отказаться от работы?

Хотя Нора давно знает: великий абсурдист хорош для очень благополучной жизни. Именно она, хорошо наманикюренная жизнь, жаждет выйти из самой себя, чтоб походить по краю, полетать над бездной, снять с себя волосы, обратиться в носорога с полной гарантией возвращения в мир устойчивый и теплый. Но если ты постоянно живешь в абсурде? Как играть абсурд, будучи его частью? Но все равно

Нора будет репетировать, воображая – вот где оно нужно, воображение! – что ей возвращаться в мир нормальный. Надо создать в себе ощущение нормы. Чтоб не запутаться окончательно.

Норма – это ее жизнь. Она разумная и пристойная. Два одинаковых затылка, которые случились, – чепуха. Затылок вообще вещь сложная для идентификации. Это вам не подушечки пальцев, не капелька крови, даже не мочка уха, которая может уродиться и такой, и эдакой. И спелой, как ягода, и вытянутой, и плоской, и треугольно страстной, с прилипшим кончиком, и широко-лопатистой, рассчитанной на посадку любой клипсы, эдакая мочка-клубба.

Затылок же – вещь строгой штамповки. Интересно, как начинал лепить человека Бог? С маленькой пятки или круглого шара головы? Нора закрыла глаза, чтоб лучше увидеть сидящего Творца, на коленях которого лежала все-таки не пятка – голова Адама. Бог положил на затылок руки и замер. Нора в подробностях видела Руки эти Обнимающие-созидающие и круглую мужскую голову.

...Не было ли Господне замирание признаком сомнения и неуверенности в начатой работе? Уже все было сделано. Сверкали звезды на чистовеньком небе, зеленела трава-мурава, все живое было лениво и нелюбопытно, потому что ему было не страшно. В мире был такой покой, и та круглая болванка, что лежала на коленях, еще могла стать оленем или сомом. Мир не знал опасности, он был радостен, и Великому даже показалось, что, пожалуй, хватит. Не испортить бы картину.

Нора широко открыла глаза. «Я богохульствую, – сказала она себе. – Я Его наделяю своим сомнением...» Троллейбус дергался на перекрестках, люди (создание Божье?) были унылы и злы. Они опаздывали и вытягивали шеи, вычисляя конец пробки. И еще они прятали друг от друга глаза, потому как не хотели встречи на уровне глаз. В их душах было переполнено и томливо. И они жаждали... Выхода? Исхода? Конца? Нора думает: вот и она едет репетировать абсурд, увеличивая количество бессмысленного на земле. И все идет именно так, а не иначе.

А тут еще возьми и случись знакомый неизвестный затылок. Пора было выходить. «Что-то похожее у меня уже было, – думала Нора. – В чем-то таком я уже участвовала».

Виктор Иванович Кравченко нажимал кнопку звонка квартиры, что под Норой. Ему открыла женщина, лицо которой было стерто жизнью практически до основания. То есть нельзя думать, что не было носа, глаз и прочих выпукло-вогнутостей, но наличие их как бы не имело значения. Наверное, целенькие горы тоже выглядели никак по сравнению с разрушенным Спитаком. Никак – предполагаю – выглядит и Солнце дня смерти.

Вите такие лица не нравились, и хотя видел он их миллион, каждый раз что-то смутное начинало разворачиваться в его природе. На ровном месте он начинал обижаться сразу на всех, и возникало ощущение тяжести под ложечкой, которое и спасало, переводя стрелку со смуты мыслей на беспо-

койство пищеварения. Что несравненно понятней. Вот и сейчас, глядя на женщину, открывшую ему дверь, он решил, что жопка останкинской колбасы явно перележала в холодильнике и напрасно он так уж все доедает. Надо освобождаться от жадности деревенщины. «Ты ее помни, но забудь», – учил его капитан-психолог.

– Ну и чего тебе надо? – спросила женщина, впуская Витька в такую же, как сама, стертую квартиру.

– Я по поводу случая падения, – вежливо сказал Витя.

– Меня тогда не было, – сказала женщина, – я стояла в очереди в собесе. Такая, как в войну за хлебом – воздуха в коридоре нету, пустили бы уж газ, чтоб мы там и полегли все разом.

– Нельзя так говорить, – сурово сказал Витя. – Это негуманно. А кто-нибудь другой дома был?

– Кому ж быть? – спросила женщина. – Оляка на работе с утра.

– Ольга – это кто?

Женщина заполошилась, лицо как бы пошло рябью, потом стало краснеть, потом все вместе – рябь и цвет – собрались вкуче, и уже было ясно, что лучше от нее уйти, что на смену стертости пришел гнев с ненавистью под ручку и тут, как говаривал Витин дядька, уже хоть Стеньку об горох, хоть горох об Стеньку.

– Так куда ж ей деваться? – кричала женщина. – Если нигде ничего? Кому на хрен нужна ваша прописка, если полстраны живут нигде и не там? Ска-

жите, пожалуйста! Бомжа, проклятого пьяницу ему жалко, вопросы задавать не лень. А я сама, считай, бомж! Вот продам квартиру Абдулле, Олькиному хозяину, и кто я буду? Вот я тогда под ноги тебе и прыгну, моя дорогая милиция, дать тебе нечего!

– Успокойтесь, гражданка, – вежливо сказал Витек, потому что ни на грамм он на нее не рассердился, а даже более того – внутри себя он ее поощрял в гневе и ненависти. Капитан-психолог объяснял им, что чем больше из человека выйдет криком, тем он будет дальше от «поступка действием». «Шумные, они самые тихие», – говорил он им. Понимай, как знаешь, но Витя понимал.

– Разрешите посмотреть ваш балкон, – спросил Витя.

– Нашел, что смотреть, – тяжело вздохнув, уже смиренно ответила женщина.

Витя правильно понял смысл ее слов: смотреть было на что...

Балкон был по колено завален бутылками и банками, их уже не ставили, а клали, как ляжет. «Это все может посыпаться на головы людей, – подумал Витя, – щиты могут не выдержать напора». Но тут же другая мысль вытолкнула первую, нахально закрыла за ней дверь. Вторая мысль сказала: «Смотри, кто-то шел по этим грязным бутылкам в направлении к левому углу балкона. Бутылки порушены шагом, и грязь с них частично вытерта скорее всего штаниной».

– Вы ходили по балкону? – спросил Витя.

И тут он увидел, какой могла быть женщина, если бы... Он увидел ее первоначальный проект, задумку художника. Она улыбнулась и, несмотря на то, что ей не удалось доносить до встречи с Витей все зубы, улыбка совершила превращение. У женщины оказались серо-зеленые с рыжиной по краю радужки глаза, у нее были две смешливые ямочки, и хоть от них бежала вниз черная нитка морщины, это уже не имело значения. Нитка была красивой. Женщина была задумана в проекте, чтоб вот так, с ходу, потрясать неких мужских милиционеров, вообразивших себя знатоками жизни и сыска.

– По нему разве можно ходить? – смеялась женщина. – Я разрешаю попробовать.

Штанов было жалко, но он сделал этот непонятный шаг в гремучую кучу – и надо же! Случилось то, чего он испугался сразу: отошел штырь от щита, и бутылки – две? три? – выскользнули на волю. Боясь услышать снизу чей-то смертный крик, Витя рухнул всем телом на бутылки, обнимая и прижимая их к себе. Те, улпетнувшие, громко звякнули на земле, прекратив свое существование, «но не забрали жизнь других», – облегченно думал Витя, ощущая жирную грязь на себе почти как счастье.

– Идиот! – кричала женщина. – Вас таких по конкурсу отбирают или за взятку? Что я теперь с этим буду делать? Заткни дырку шампанским! Слышишь? Падает только пиво!

Но Витя не слышал. Прямо под ним был след большой ноги, и Витя испытывал сейчас просто любовь к нему, он даже потрогал его рукой. Силу

любви люди еще не измеряли, а те, которые пытались, внутренне были не уверены в результатах своих замеров. Ну да, ну да... Говорили люди... Знаем, знаем... Но от чего она нас защитила, любовь? Или куда она нас привела? Конечно, как фактор размножения, кто же спорит? Но чтобы что-то более весомое, чем создание количества...

Тем более что все физические опыты, всякие там биотоки и свечения тоже ничего такого особенного никогда и не показывали. Да, любовь – это сладко, это волнительно, как почему-то говорят старые актеры; клево и атас – говорят молодые придурки, а Витя, имея малый опыт в этом тонком деле (оторопь перед пятью ресничками девушки-белоруски и волнение от бесконечности ног актрисы Лаубе), отдался чувству любви к следу на балконе так самозабвенно, так безоглядно, что был награжден еще одной уликой – куском кармана, который обвис на остряке бетона. Сняв его с самой что ни на есть нежной осторожностью и положив за пазуху – к карманам было не добраться, – Витя занялся спасательными работами. Хозяйка квартиры принесла ему доски от бывшей книжной полки, и Витя в лежачем положении городил заслон шевелящимся под ним бутылкам, горячим до побега.

Потом женщина («Зови меня, сынок, тетей Аней») чистила его со всех сторон и была в этот момент тоже близкой к задуманному проекту, от нее в суете движений со щеткой пахло как-то очень тепло и вкусно, и Витя, несколько запутавшийся в запахах городской жизни и уже не уверенный, ка-

кой из них хорош, а какой дурен (он, например, на дух не выносил запах одеколona «Деним», который когда-то взял и купил по наводке рекламы), так вот тут с тетей Аней было без вариантов – она пахла хорошо. И он удивился этому, честно удивился, потому что по теории жизни некрасивое не должно пахнуть хорошо. Когда тетя Аня (вообще-то она Анна Сергеевна, и ему надо соблюдать правила: «На интимные слова милиционер при исполнении поддаваться не должен, – объяснял капитан-психолог. – Слово – вещь двояковыпуклая») открывала ему дверь, она просто никуда не годилась ни на вкус, ни на цвет, потом эта улыбка (берегись, Витек! Окружают!), а теперь вот запах... Хочется сесть и попросить чаю.

– Хочешь чаю, сынок?

– Я уже и так, – ответил Витя. – А мне еще в спортивную школу. Но спросить обязан: он кто, тот, что был на балконе и оставил следы?

– Ты оставил следы, – засмеялась тетя Аня (или Анна Сергеевна).

– А вот это? – и Витя достал и предъявил карман.

– Что ж ты такую грязь на голой душе держишь? – возмутилась женщина. – Ума у тебя минус ноль!

Она взяла кусок ткани и выбросила его в помойное ведро.

– Вы что? – закричал Витя, кидаясь спасать улику. Но тетя Аня отодвинула его рукой и сняла с крючка старенький пиджак. Карман у него был оторван.

– Я в нем балкон убираю. Но последний раз это было уже года полтора как... Зацепилась, не помню за что... Да он весь рваный... Видишь, локти... А подкладка так вообще...

– И все-таки там есть след... – упрямо твердил Витя.

– Еще бы! Ты там уж походил и полежал! – Она смеялась и была красива, и хорошо пахла. И Витя окончательно понял, что его заманивают... Есть такие голоса. Как бы птицы, а на самом деле совсем другое... Например. Птица выпь...

– Будем разбираться, – сказал Витя. Он бежал и думал, что в одну замечательно открытую минуту у него было все: след, карман, а потом – раз! – и ничего не осталось. У кармана нашелся хозяин, а след мог быть чей угодно. А то, что по бутылкам пройти без опасности для ходящих по земле невозможно, в этом он убедился на собственном дурном опыте. Витя представил, как он лежал на шампанском и пиве, и весь аж загорелся. «Главное, – говорил капитан-психолог, – дурь своего ума нельзя показывать никому».

Надо соизмерять с окружающим силу своих телодвижений. Вечером того же дня рванула из Москвы племянница тети Ани – Ольга, рванула так, что растянула связки, и в поезде, который ее уносил в южные широты, пришлось пеленать ногу полосками старой железнодорожной простыни, которые дала ей проводница. Она же пустила Ольгу без билета, все поняла сразу, без звука взяла деньги и сказала, что вся наша милиция уже лет сто ловит

не тех и не там. Поэтому спасти от нее человека — дело святое. И на этих словах проводница стала рвать простыню на полосы для пеленания ноги.

На другой день закрылись две лавки с овощами, хозяином которых был некий Абдулла. А всего ничего: безобидный милиционер пришел совсем по другому делу к женщине по имени Анна Сергеевна.

Что-то важное, а может, совсем пустяковое, но спугнул Витя-милиционер, идя по намеченному плану. Из-за него в человеческом толковище возникли суета и колыхание, но так, на миг. Потом сомкнулись ряды людей и обстоятельств, и где она теперь, ненужная нам Оля с туго перевязанной лодыжкой, которую она взгромоздила на ящик с яблоками? И где Абдулла, принявший сигнал опасности, хотя Витек понятия о нем не имел и не держал его в мыслях? Витек шел своим одиночным путем, а капитан-психолог много раз им повторял: «Одиночество — враг коллективизма и слаженности борьбы, а значит, хороший милиционер — враг одиночества».

22 ОКТЯБРЯ

Она знала: абсурд ей не сыграть. Дурная репетиция. Дурной режиссер. На нем вытянутый до колен свитер, под который он поджимает ноги, сидя на стуле. Не человек, а туловище Доуэля.

— Нора! — кричит. — Вы спите?

— «Господин старший инспектор прав. Всегда есть что сказать, поскольку современный мир разлагается, то можешь быть свидетелем разложения».

— Нора! Нора! Вы говорите это не мне! Не мне! И не так!

– Я говорю их себе? – спрашивает Нора.
– Господи! Конечно, нет! Эти слова – ключ ко всему. Каждый – свидетель. Каждый – участник.
– Разве Мадлен такая умная?
– При чем тут ум? – высказывает тонкими ногами из-под свитера режиссер. – Она женщина. Она просто знает... Отключи головку, Нора! Она сейчас у тебя лишняя...
«Какой кретин! – думает Нора. – Хотя именно кретины попадают в яблочко, не прицеливаясь».
– Головка снята, – отвечает Нора. – Иду на автопилоте.

Еремин жмет ей под столом ногу.
«Друг мой Еремин! Ты тоже кретин. Ты думаешь, что я что-то из себя корчу? А мне просто скучно и хочется подвзорвать все к чертовой матери. С моего балкона выпал маленький мальчик. Его зовут Гриша... Правда, он уже вырос... Это неважно... Будем считать, что он все еще маленький... „Бедняжка, в твоих глазах горит ужас всей земли... Как ты бледен... Твои милые черты изменились... Бедняжка, бедняжка!“»

– Нора! Это не Островский! Что за завывание? У тебя Ионеско, а не плач Ярославны, черт тебя дер!

– Прости меня! – Она возвращается из тумана, в котором Ионеско машет ей полотенцем с балкона, а она несет на руках мальчика с невероятно крутым завитком на затылке. – Прости! Я действительно порю чушь...

23 ОКТЯБРЯ

Анна Сергеевна, тетя Аня, ночью сносила на помойку бутылки с балкона. Она ждала Ольку, но та смылась без до свидания, такое теперь время – без человеческих понятий. Раз – приехала. Раз – уехала. Анна Сергеевна не любила это время, хотя и прошлое не любила тоже. Поэтому, когда бабы сбивались в кучу, чтоб оттянуться в ненависти к Чубайсу там или кому еще, она им тыкала в морду этого полудурка «Сиськи-масиськи», и бабы говорили: «Да! Тоже еще тот мудака». На круг получалось: других как бы и не было. А значит, без гарантии и на завтра. Почему возникли бутылки? Потому что раньше их сдавали. Молочные у нее всегда аж сверкали, когда она их выставляла на прилавок. И бывало, что отмытостью этой она унижала других хозяек, и тогда те отодвигались от мутной тары – как бы не мои! А она, конечно, стерва, кто ж скажет другое, отлавливала отведенные в сторону глазки и говорила им громко, до бутылочного звона, что бутылки надо мыть в двух водах, что ее мама в свое время вообще старалась набить в бутылку побольше кусочков из газет, и у нее – мамы – тоже все сверкало. Когда это было! Теперь же она скидывает грязные бутылки в ночь.

МЕМОРИЯ

На третьей ходке Анна Сергеевна столкнулась с артисткой, что жила над нею. Она к ней относится без этого подхалимского сю-сю, которым обволакивают Нору в подъезде. Но стоит той исчезнуть с глаз, такое вослед говорится, что Анне Сергеевне

хочется придушить баб каким-нибудь особенно извращенным способом. Был случай в ее жизни. Она – еще совсем девчонка. Замуж выходила девка из соседнего барака. Гуляли во дворе широко, весело. Мочевой пузырь наполнялся так быстро, что они, дети, не добежали до уборной, а присаживались за уголочками барачков или помоек, чтоб не пропустить ничего из веселого действия.

А на следующий день – крик, шум, слезы... И исчезновение жениха, то бишь уже мужа, раз и навсегда. Страшные и непонятные речи. Он ей, жене-невесте, предложил такое! Бараки зашлись гневом. Она, дитя совсем, видела тогда чудо: шевеление домов. И даже их вытягивание вверх, как бы на носочках. Растягивание подъездов до выражения ухмылки беззубого рта. Мигание оконных переплетов. Сморщивание крыш...

Теперь же, если раскрутить все назад, дела было на копейку. Но кто тогда знал эти слова? Оральный – это скорее орущий. По близости смысла. Секс же... Про него слыхом не слыхивали. Та несчастная, которая изгнала извращенца, потом так и не вышла замуж, потому как сдвинулась умом и стала дурно кричать при приближении мужчины. Мама Анны Сергеевны объясняла громко, на весь двор, вешая белье: «Вы, бабы, что? Вчера вылупились?» Но у мамы Анны Сергеевны слава была сомнительная. Она всю войну прошла от и до. И у нее было столько мужиков, что даже маленькая Анечка может это засвидетельствовать. И дядя Коля. И дядя Изя. И дядя Володя. И Петр Михайлович. И наоборот – Михаил Петрович.

Но как мамочка избила доченьку, когда та после школьного вечера пришла с верхней расстегнутой пуговичкой на белой кофточке, знает только дочка Анечка. Прошедшая Крым и Рим, мать заказала эту дорогу дочери. И дочь приняла это как должное. Анна Сергеевна осталась на всю жизнь женщиной строгой и даже мужу лишнего не позволяла, а когда на того, бывало, накатывало, она быстренько ставила его на правильное место и правильный путь, а он возьми и умри... Вот когда она взвыла в одинокой постели, потому как поняла (или почувствовала?), что жизнь так быстро, как миг, прошла мимо и только ручкой насмешливо махнула. «Дура ты!» – как сказала бы жизнь.

23 ОКТЯБРЯ

Вот что моментно пронеслось в душе Анны Сергеевны, когда она спускала вниз третий мешок бутылок, а Нора придержала ей дверь.

«Она подумает, что я пьяница», – вздохнула Анна Сергеевна, уже не удивляясь этому свойству ее бытия: о ней всегда думали хуже, чем она есть.

«Оказывается – тихая пьяница», – подумала Нора тоже без удивления – в их театре через две на третью такие.

Эта общая на двоих неудивленность как-то нежно объединила их, и Нора схватила угол мешка и приноровилась к уже освоенному шагу Анны Сергеевны, а та в свою очередь почувствовала радость принятия чужой помощи. Сказал бы ей кто еще час назад, что она способна на такое, не поверила бы.

Мы не знаем течений наших внутренних рек. Какая-нибудь чепуха в виде мешочного угла так пронзит тайностью жизни, что хоть плачь!

В лифте, уже возвращаясь, Анна Сергеевна, чтоб не втягивать громко накопившиеся от устатку соп-ли, деликатно провела под носом пальцем, отчего нарисовались усы, а Нора достала платочек, пахну-щий духами счастья, и вытерла ей их, но тут как раз возник пятый этаж, и Анна Сергеевна вышла.

Как там кричит Норина абсурдистская героиня? «Глотайте! Жуйте! Глотайте! Жуйте!» Ведь и на самом деле... Нежная пряжа отношений... Что-то детское и сладкое... Хочется сглотнуть. Надо при-гласить эту женщину в театр. Дадут ли ей хорошее место?

27 ОКТЯБРЯ

Прошло не два дня, а четыре.

Нора снова позвонила по тому же московскому телефону.

Ей ответили, что Гриша еще не вернулся из Об-нинска. Никто не волновался. Человек мог задер-жаться. Дела, проблемы... Она не имеет права пу-гать других своими страхами. Хватит с нее приду-рошного милиционера, который, кажется, начинает ее подозревать. Она наняла мужиков чинить бал-конные перила. Подогнала так, чтобы быть в этот день дома, но в театре случилась беда. В одночасье умерла актриса, не старая, между прочим, замени-ли спектакль, назначили утреннюю репетицию. Нора остро чувствовала эти моменты одинокости своей жизни – никого и ничего.

Болезнь одной она научилась, умела какую-никакую мужскую работу, но тут нужен был просто свой человек, который бы приглядывал за работягами, потому как – мало ли что? Но попросить было некого. Сначала подумала о Люсе со второго этажа, но тут же ее отвергла. Как подумала – так и отвергла, без достаточных оснований ни на да, ни на нет.

Нора пошла к Анне Сергеевне. Так получалось, что вроде ей и пойти больше не к кому, но это да таки было... Жила в подъезде знакомая учительница. По средам у нее свободный день, и она в среду всегда спит долго, встанет, попьет чаю и ложится снова, и главное – сразу засыпает. Странновато, конечно, в эру хронической человеческой бессонницы. Но именно из-за сонливости Нора ее отвергла: «Пусть спит, пусть».

Получалось, что кроме как к Анне Сергеевне идти и некуда. У той в тот день было дежурство в диспетчерской. Это от нее люди узнавали, что «все прорвало к чертовой матери», что «во Владивостоке уже неделю не топят, а у вас на сутки отключили – нежные очень», что «почем я знаю?», что «бардак был, есть и будет, а с чего бы ему не быть?» И так далее до бесконечности перемен в настроении и кураже Анны Сергеевны. Но Норе она сказала: «Какие дела, конечно, посижу, за нашим народом глаз и глаз нужен, а то я не знаю?» Сама она тут же позвонила в диспетчерскую и сказала, что не придет, пошли они все, у нее мильон отгулов, пусть ищут замену, когда им нужно, она всегда есть, а сейчас – ее нет. На хрен!

28 ОКТЯБРЯ

Пока работяги возились на балконе, Анна Сергеевна тупо сидела в кухне. В таком сиденье есть свой прок: где-то что-то накапливается своим путем, без участия воли там или всплесков мысли. Просто сидишь, как дурак, а процесс идет очень даже может быть и умный. Что-то к чему-то прилепилось, что-то от чего-то отвалилось, тонкая материя расслабилась, чтоб свернуться потом как ей надо.

Через какое-то небольшое время Анна Сергеевна поняла, что ее страстное желание посмотреть, как живет артистка, вместо того чтобы доставить удовлетворение – вот, мол, сижу, смотрю, оглядываю, ощупываю (мысленно, конечно), – вызывает в ней ощущение злой печали. Вместо того чтобы запоминать, как стоят у Лаубе чашки и какие фигли-мигли прицеплены у нее к дверце холодильника, ее накрыла и жмет ядовитая тоска, а понимания этому как бы и нету...

Мужики же, чинители, повозившись часок, быстро соскучились по свободе рук и ног и уже сообразили, что не тот взяли сварочный аппарат, что нужен им абсолютно другой, что они за ним сходят, а потом уж раз-раз... Только их и видели.

Анна Сергеевна переместилась в комнату. Со стен на нее смотрела Нора в образах. Нора – графиня, Нора – испанка, Нора – ученый. Анна Сергеевна почувствовала озноб от такой увековеченной жизни артиста, который – получается – никогда сам, а всегда кто-то. Но тут на трюмо в дешевенькой рамочке – Анна Сергеевна знает: в такой рамочке она тоже

стоит у себя на серванте – она увидела молодую Нору в сарафане и с голым левым плечом. Плечо было спелым, покатым и даже как бы влажным от теплого дождя, но это уже воображение. Откуда можно узнать про дождь на черно-белой и померкшей фотографии? Анна Сергеевна смотрит на Норину левое плечо. На правом, как положено, широкая ляжка, не тоненькая тюфелька, чтоб абы не сполз лиф, а в целую пол-ладонь. Анна Сергеевна носила такие же, когда ездила в деревню. Важна была еще и высота кокетки сарафана, чтоб не дай бог не вылезла бы подмышка с куском лифчика. Сплошь и рядом лахудры носили такое. У Норы ляжка сползла – значит, он был широкий, вольный сарафан и лифчика на ней не было во-об-ще.

Анну Сергеевну охватила такая болючая обида, что с этим надо было что-то делать. Она вынула фотографию из рамки и стала рассматривать ее на свет (тоже мне эксперт!) и обнаружила, что та отрезана, что по ту самую левую крамольную Норину половину кто-то стоял. И это был мужчина. Виднелся грубый локоть. Анна Сергеевна продолжила локоть. Получалось, что это ее муж стоит в любимой позе, сложив ладони на широком ремне. Он всегда так фотографировался: локти – в стороны, а руки – на ремне. Глупая поза. Анна Сергеевна испытала гнев на покойника, который и умер рано, и фотографироваться не мог, и никогда ничего ей не сказал ни про ее плечи, ни про ночи. Как грабитель, напал на нее ночью, а если натыкался на трусики, то поворачивался спиной, прикрыв го-

лову подушкой, а она в этот момент чувствовала запах менструации как позор жизни. А баба уже была, не девочка.

Какое там левое плечо!

Она даже не заметила, что рвет фотографию Норы на мелкие кусочки. Она испугалась, растерялась, клочки сунула в карман, а рамку положила на самую верхнюю полку. Потом она сидела и перетира-ла в прах то, что осталось от старой фотографии.

Как это бывает с людьми: сделав ненароком дурное кому-то, мы больше всего начинаем его же и ненавидеть. Но кто ж признается в себе как источнике зла?

Анна Сергеевна обхватила себя руками от неловкости в душе и мыслях. Опять же... Разве она за этим сюда пришла? За собственным смятением?

Она же шла за любопытством, ей хотелось знать, как это у тех, кто всегда при маникюре, кто носит разные обуви в разные погоды на высоком каблуке? Ей хотелось знать, как это, когда ты знаменитая и на тебя оглядываются, как? Но у нее по неизвестной причине случилось совсем другое настроение. Совсем. И это было Анне Сергеевне неприятно. Она прикрыла плотнее балконную дверь, твердо зная, что чинильщики не возвращаются быстро, когда у них случается неправильно взятый аппарат. Что они могут не вернуться совсем, и что тогда будет делать эта Лаубе завтра? Она-то, Анна Сергеевна, больше ни за что не останется, потому что у нее от этой квартиры случилась душевная крапивница, этого ей только не хватало.

Анна Сергеевна села в кресло, которое, по ее мнению, стояло неправильно – на ее вкус, быть бы ему развернутым иначе, но какое ей дело! Села в неправильное кресло, удрученно вздохнув, что все не так и не то. «Нет, – сказала себе. – Я не хотела бы быть ею».

Это была, конечно, ложь-правда, но именно она сработала динамитом.

У Норы было мрачное настроение. Кого попросить сидеть завтра? Наверняка балкон за день не починят, а у нее никаких шансов освободиться. Хоть привози из Мытищ тетку, но ее действительно надо привозить: у тетки бзик – она не ездит на электричках, потому как в них нет туалета. Она, тетка, должна твердо знать: если ей приспичит, уборная есть рядом. Нормальная старуха, но в этом безумная. Куда бы ни шла, ни ехала, вопрос о туалете – первый. Поэтому Нора раз в сто лет ездит к ней сама, а когда у нее случаются премьеры, на которые нестыдно позвать, то она берет машину и привозит родственницу. У тетки красивое имя Василиса, но в коротком варианте не нашлось ничего, кроме Васи, но это совсем уж гадость для барышни, и ее с детства звали насморочно Бася, а теткин папа – Нора помнит старика, еще той внучки инженера-путейца, уже сто лет покойника, так вот, папа этот ни к селу ни к городу всегда так и добавлял: «Она у нас – Вася с насморком».

Уже нет никого из тех людей, но Бася – Вася с насморком – так и осталось. И в театре иногда Нору спрашивали: «А эта твоя Вася с насморком жива?»

Так и останется она во времени: причудой отмечать расположение уборных и дурачьим приименем.

Нора решила поговорить с Ереминым, не расщедрится ли он на машину в Мытищи? Но до того надо было поговорить с теткой.

В перерыве она пошла к телефону, чтоб позвонить той, но допрежь набрала свой номер. Анна Сергеевна отвечала отрывисто и недружественно: мастера ушли за аппаратом. Что она делает? Сидит.

«Ах ты, боже мой! – подумала Нора. – А предложи я ей деньги, как она отреагирует? Конечно, теперь все иначе. Теперь денежки правят бал, но мы с ней другое поколение... Мы еще помним, что люди помогали за так... По душевному порыву»... Гнусность в том, что – Нора это давно поняла – появилась популяция промежуточных людей. С ними хуже всего. Они мечутся меж временами, не зная, какими им быть. Им хотелось бы сохранить вчерашний порыв в том чистом виде, когда они, как идиоты, перлись на химические стройки, не беря в голову никакие возможные осложнения для собственного здоровья. Но теперь к порыву надо присобачивать деньги. Получается уже не порыв. Что-то другое. Вот тут и возникает злой и растерянный – промежуточный человек. Хуже нет его, испуганного, ненавидящего поток чужого времени, лихо уносящего вперед других. Спорых и скорых.

Нора позвонила тетке, но та отказалась сразу. «Нет, Норочка, нет! Я невыездная. Теперь уже навсегда».

– Бася. Ты спятила! С чего бы это?

– Такое время. Нельзя уезжать далеко от дома.

«Я ее оболещу, – подумала Нора, имея в виду Анну Сергеевну. Она подумала об этом в тот самый момент, когда Анна Сергеевна невероятно клокочущим от странной гневности сердцем твердо решила: да никогда больше не будет она нюхать чужие квартиры и рассматривать чужие фотокарточки. Нечего ей делать в мире этих так называемых... Она честно прожила свою жизнь, зачем ей на старости лет артистки, у которых все не как у людей? Заглянула в ящик, а там шахматное белье. Анна Сергеевна очень долго перерабатывала в себе отношение к цветочкам на белье, с трудом взошла на постельные пейзажи, но шахматы? Белье – поняла она сейчас окончательно – должно быть белым! Белым! Белым аж голубым, это когда оно на морозе трепещет и надувается парусом. И вообще... Разве можно определить на цветном белье степень его чистоты? Ее бабушка прощупывала простыни пальцами, слушая тоненький скрип отполосканной материи. А мама вешала белье на самое что ни на есть солнце в центре двора, унижая барачный люд степенью собственной белизны и крахмальности. Такими были предметы гордости. У Анны Сергеевны сердце просто сжалось от воспоминаний о времени тех радостей. «Оральный секс!» – сказала она вдруг громко, и слова заметались в комнате туда-сюда, эти стыдно основополагающие время слова. Анна Сергеевна последила за их полетом, как они слепо тычутся в предметы, потихоньку теряя силу своей оригинальности. Воз-

бужденная образом оглашенных летающих слов, она как истинный волонтарист решила твердо: в комнате артистки этим словам и место. В собственном же дому у Анны Сергеевны они бы – слова – просто не взбухли бы и не взлетели.

Витя же шел путем зерна. Внедрялся и тужился пустить росток. Правда, он этого не знал, ибо был бесконечно далек от формулировок, какими, к примеру, сыпал туда-сюда капитан-психолог. У того просто отскакивало от зубов точное выражение. Вчера он ему сказал: «Ты, Кравченко, берешь в голову больше, чем там может поместиться по объему черепа». Сказал и ушел, а Витя просто почувствовал, как из ушей – кап, кап... Лишнее. Он тогда, действительно, такое себе вообразил, что на лице тут же отразилось, и было замечено тонким вниманием психолога.

Витя вдруг решил, что «упавший человек» знал какую-то страшную тайну Лаубе. Та могла быть курьером-наркоманом, а могла передавать прямо со сцены шпионскую информацию: идет налево – значит, ракеты подтянули к Калининграду, идет как бы в зал – значит, начинается китайская стратегия. И вообще у нее, у Лаубе, любовник вполне может быть крупным генералом, из тех, которые ползают по карте мира, расставляя туда-сюда стрелочки. Вот она и столкнула дурачка, который каким-то образом все узнал, а он напоследок последним разумом схватил полотенце, полосатое, как флаг. А флаг почти родина. Витя аж вспотел от

возникшей картины подвига, тогда-то и случилось из ушей кап-кап...

Анна Сергеевна, отводя глаза, сказала Норе, что больше «нет, не смогу посидеть», а эти, которые мастеровые, так и не вернулись. Не надо было им давать аванс, это же как дважды два.

– Спасибо, – ответила Нора. Она почувствовала, что эта *вечерняя* Анна Сергеевна была не та, что *утренняя*. Конечно, интересно бы знать, что случилось за это время, но ей не до того... Главное она поняла сразу: ей соседку не обольстить, стоит вся как в презервативе, – ни кусочка живого тела, чтоб тронуть пальчиком.

– Спасибо вам, – сказала Нора достаточно вежливо, все-таки актерство бесценно в случаях лицемерия. Потом она вышла на балкон. Процесс починки, видимо, начинался с окончательного разрушения. Балкон состоял теперь из огромной зияющей дыры, которая заманивала, заманивала...

Нора подошла и потрясла ногой над пустотой, ощущая ужас под ребрами, в кишках, и даже подумала о том, что животный страх потому и животный, что он не в голове, не в существующей над пропастью ноге, не в сердце, которое даже как бы не убыстрило бег, а именно в животе, в его немыслищей сути... Она вбежала в комнату, задвинула все шпингалеты и зачем-то придвинула к балконной двери кресло. Уже дома, в безопасности, она поняла: та степень ужаса, которая выразилась в этом придвинутом кресле, была равна двум страхам: ее собственному и тому, чужому, предполо-

жительно Гришиному, для которого страх был последней и окончательной эмоцией. Он же, страх, каким-то образом остался на ее балконе, а значит, прав тот парнишка-милиционер, который учувствовал его и решил: неизвестный, оставивший страх, упал с ее балкона. У этой нелепой и невозможной истории должно быть свое простое объяснение, как есть оно у любой с виду запутанной задачи. Когда это выяснится, все скажут: «Какими же мы были дураками, что не догадались сразу».

Нора набрала номер, который набирала уже не раз. Ей снова сказали, что Гриша в Обнинске, правда, добавили: чего-то он там застрял? Нора настойчиво стала узнавать, нет ли у него еще кого в Москве, к кому он мог вернуться из Обнинска? На что ей резонно ответили: «Так ведь он человек холостой. Мало ли...» И там, где-то там, на другом конце шнура, засмеялись найденному определению «холостой, мало ли...»

Поверхностным сознанием Нора отметила про себя, что ее, звонящую женщину, вполне могли принять за ту самую, которая принадлежит этому «мало ли».

Ах, Гриша, Гриша... Каким беспомощным ты был, когда тебе закапывали глаза. Как ты терялся, а в растерянности мгновенно засыпал. Счастливым свойством некоторых людей уходить в сон как в спасение. Впасть бы нам всем в какой-нибудь недельный анабиоз, чтоб проснуться с ясной головой и чистым сердцем, без злости, зависти. Проснуться, чтоб жить долго и счастливо... Боже, какая

дурная сказка разыграла в ней! Какое ей дело до всех? Ей бы разобраться с собой, с этим балконным проломом, с простой житейской проблемой: кого оставить в квартире, когда придут чинильщики? А если они не придут? Если они взяли у кого-то уже следующий аванс? Где их тогда искать? А после всего этого надо идти и репетировать абсурд, который она не умеет играть, он ей не поддается, он выскальзывает из ее рук, и режиссеру все время приходится выпрастывать ноги из-под свитера, чтоб, приблизившись к ней на тонких цыплячьих лапках, объяснить глубинную сущность парадокса.

Свет мой зеркальце! Скажи, почему мне так томливо и тревожно? Я не ответственна за выросшего чужого ребенка. В конце концов! Ты ничего о нем не знаешь. Может, так ему и надо? Может, балкон написан ему свыше? И потому быть балкону. И быть свержению с него вниз. С полотенцем в руке. Ибо так тому... Аминь.

29 ОКТЯБРЯ

Работяги не пришли. Она ждала их до последнего, потом второпях надела не те сапоги, а на улице коварная, не видимая глазу наледь. У поребрика разъехались ноги.

– Извините, – сказала, ухватившись за чей-то рукав. – Вы меня не подстрахуете?

«Вот как это происходит, – подумал в этот момент Витя. Он охранял только что побитый и раскуроченный киоск и видел Нору, хватающую мужчину, – вот как!» В его несильной голове мысли сначала разбежались во все стороны, а потом

столкнулись до красной крови. И Витя увидел одновременно Нору Лаубе, египетскую Клеопатру, барыню из «Гермуму» и их сельскую библиотекаршу Таньку, портящую мужиков каким-то особым способом, отчего они после нее ходили припухшими и ослабшими, что для жизни не может годиться, потому как потому...

В каком-то розоватом свете Вите показалось, как этот, который страхует артистку, летит с известного балкона с ярким полотенцем в руках. Хорошо, что подъехала милицейская машина и от него потребовали «фактов по делу поломки киоска», а так куда бы увела Витю мысль?

Вадим Петрович знал этот покрасневший кончик носа, который только один и краснел в холод, подчеркивая алебастровые крылья переносицы. Он знал его и на вкус, этот кончик солоновато-холодный, и как он выскальзывал из его теплых губ, когда он его отогревал. Снизу лицо женщины было скрыто кашне, сверху – огромными темными очками. Но в покрасневшем кончике он ошибиться не мог.

Нора же, оперевшись на чужую руку, встала на твердое место, проклиная себя за то, что надела не те сапоги, что в этих рискует сломать шею, а такси теперь недоступно, тем более если ты сдуру вносишь аванс за работу, которую тебе никогда не сделают. Оттолкнувшись от руки мужчины, она даже улыбнулась ему в глубины кашне. Это неважно, что он этого не видел, – важно, что он знает: улыбнулась – значит, перед Богом чиста. То же, что не развернула для этого лицо, так ведь не тот

случай. Всего ничего – секундно подержалась рукой, чтоб помочь ногам найти опору.

Вадим Петрович смотрел ей вслед. Он знал эту походку. Так устремленно вперед не ходит никто.

Женщина уходила. Еще шаг, и она скроется в переходной яме...

– Нора... – сказал он. В сущности, даже не сказал. Прошептал.

И она остановилась. Так же быстро как вперед, она теперь шла назад, а потом на скользком месте, у того же поребрика, стала разглядывать Вадима Петровича живыми глазами, сняв темные очки.

Он понял, что она не узнает его, что в ее осматривании – сплошное непризнание, и ничего другого. Теперь, без очков, с сеточкой морщин вокруг глаз, со слегка набрякшими веками, она была той, которую он узнал бы не то, что по кончику носа – по ветряной оспинке, которая сидела у нее над бровью; по жесткому волосу, что ни с того ни с сего вырастал у нее на подбородке, и она тащила его пинцетом, а потом внимательно рассматривала на свет, пытаясь понять природу его рращения. Он помнил вкус ее кожи, запах подмышек, выскобленных до голубизны. Он жалел все, что она уничтожала на себе: и подбородочный волосок, и все ее другие выбритые волосы; он печалился, когда она изводила свой естественный цвет на какой-нибудь эдакий новомодный. Смешно сказать, он много лет носил при себе обломок ее зуба, когда она сломала его, грызя им купленные орехи. Ей тогда сделали новый зуб, не отличимый от прежнего. Но он отличал. Он знал разницу.

А вот теперь она разглядывала его почти сто пятнадцать часов, даже голову склонила к левому плечу – и ничего. Ни одного сигнала памяти.

– Видимо, вы ошиблись, – сказала она глупо, можно сказать, бездарно, потому что зачем же тогда она вернулась на сказанное шепотом редкое свое имя? Не Катю же окликнули, не Лену, не Машу, не Дашу... Коих пруд пруди... Нору.

Он же думал, как она смеялась: «Иванов! Как это жить с такой фамилией, когда тебя легион?»

– «Но ведь живу!» – отвечал он.

Тут же, у поребрика, он ощутил себя эдакой «ивановской сплющенной массой» без начала и конца, не вычленимой для идентификации.

Вот такая казуистика жизни: тебя могут не узнать в то самое лицо, которое когда-то це-ло-ва-ли.

– Я Вадим, – сказал Вадим Петрович. – Бездарно было не представиться сразу. Сколько лет прошло! Столько уже и не живут.

Меньше всего он ожидал, что еще до того, как он договорит, она так обнимет его и так вожмется в его грудь, что сердце сначала замрет, потом подпрыгнет на качеле систолы, потом ухнет вниз, и он начнет искать в кармане нитроглицерин, потому как два инфаркта он уже имел за это время, которое обозначил: «столько не живут».

МЕМОРИЯ

Это безусловное преувеличение. Потому что прошло всего ничего – двадцать шесть лет, а даже в нашей лучшей из всех стране, имеющей весьма низкий уровень, живут пока еще, если взять на

круг, несколько больше. Тут ведь главное – пережить какие-то критические годы: тридцать семь там, или сорок два, или критически-менструальные дни страны – войны, революции, перестройки, а также другие явления типа Чернобыль, «Нахимов», «Руслан». Но зачем пенять на страну? Мы живем больше двадцати шести. И спасибо ей.

Ровно столько лет тому театр Норы был на гастролях в Ленинграде. Вадим был там в командировке, и они жили – так, видимо, встали звезды – в одной гостинице. Если идти по коридору от вперед смотрящей дежурной по этажу, то Норина комната была третьей направо, а его – третьей налево. Но это выяснилось потом, потом...

Сначала командировочный пошел в театр, куда можно было попасть. В не самый престижный гастрوليрующий московский театр. Билеты перед самым началом в кассе были. Рубль пятьдесят штука. Давали «Двенадцатую ночь», конечно, лучше бы что-нибудь другое, хотя что? Репертуар нервно перемогался между Софроновым и Островским с легкими перебежками в сторону Шекспира.

Но командировочный ходит в театр не для того, чтобы что-то там смотреть. Вадим Петрович, например, идет, чтоб не выпивать с собратьями-толкачами. Что невозможно сделать, оставаясь в номере. У него язва двенадцатиперстной, но кому это объяснишь? Он, конечно, может рюмку, две, но гостиничное пьянство – процесс безудержный, страстный. В нем такая энергия смятения и тоски, что язва просто не может идти в расчет по причине

мелкости своей природы. Он после театра еще и по улицам походит тихо и неспешно, а в номер нырнет, как битый пес в подворотню, и затаится там без всякой между прочим надежды, что его не отловят где-нибудь часа в три ночи, чтобы задать глобально-космический вопрос: как он насчет баб? Никакой проблемы снять их нет, но Петрович (Михалыч, Кузьмич, Иваныч) рассказал случай такой болезни, что проявляется сразу и притом на лице, какая-то американская зараза, видимо, из Вьетнама, а может, еще из Кореи, какой-то половой вирус, который косит белого мужчину как хочет, а женщине хоть бы хны. Один вот так приехал из командировки, а у него прямо на парткоме лицо пошло буквами.

Дичь, дичь, полная дичь... Но три часа ночи, ремни у штанов на последнюю дырочку и такая сила хотения, что даже страхи получить знаки на будущем парткоме – имею в гробу! «Ты пойдешь с нами, Вадя, или?! Ты сука, Вадя, сука... Ты не мужик, Вадя... Ты обоссался, ебена мать, Вадя...» – «Да, – скажет он, – да. Я такой!» Вот за это, что он такой, они и пошлют его за бутылкой, потому что если ты такой, то хотя бы выпей, сволочная твоя морда. Другой альтернативы, скажут, нет! Или по опасным бабам, или пьем по новой! Выбирай, Вадя, иначе на тебе опробуем вьетнамское (корейское, китайское, мексиканское, негритянское) оружие. «Ты ляжешь, Вадя, первым! И даже не сомневайся в нашей жестокости».

Вот почему он сидит вечерами в театре. Он видел «Двенадцатую ночь» несчетное число раз. Он видел Виол с тяжелыми ляжками и бойцовскими икрами ног, под которыми гнулись половицы сцены. Видел Виол с ногами-спичками, столь легкими и невозбуждающими, что думалось: «О господи! Зачем ты так нещедр?» Встречались и коротконогие Виолы. У этих раструбы ботфортов шекотали им самое что ни на есть тайное место, и эта потеха обуви и тела, бывало, передавалась залу. Тут некрасивость производила тот эффект, которого актрисы с идеальными ногами не достигали, и в этом гнездилась загадка победы природы над искусством.

Нора была идеальной Виолой в смысле ног и ботфортов. И вообще спектакль был вполне: Эггючик там, Мальволио вызывали нужный утробный смех.

Когда он совсем освоился в восприятии, вытеснив из памяти всех предыдущих актрис, он понял, что ему нравится эта Лаубе, интересно, кто она по национальности? Немка? Прибалтийка? Красивый голос, из тех, что особенно хороши в нижнем регистре. Мальчик из нее что надо... Хотя и женское в ней, спрятавшись в мужской наряд, очень даже возбуждает. Такого подарка от театра он, честно говоря, не ждал. За полтора рубля – и такие молодые эмоции! Его тут недавно настигло сорокапятилетие. Жил-жил и не заметил, как... Жена с чего-то вдруг засуетилась, а до этого было, между прочим, и сорок, и тридцать пять... Он понял: радостно-нервной возней вокруг его лет жена как бы утвердила некий переход в другое его время. Она его

назвала, время, так: «Можно перестать себя расчесывать и сдирать струпья». Никогда до этого, никогда... они не говорили про это – про расчесывание и струпья. Но ведь несказанное, оно было в нем, было! Горе-злосчастье неслучившегося, несовершенного, горе ушедшего как песок времени. Вадим Петрович Иванов с нежным шуршанием ссыпался, стекал в узкое горлышко никуда, и сколько там его осталось в воронке жизни?

А тут – на тебе... Такое волнение от женщины-артистки. Существа других неведомых реальностей, существа, принадлежащего, так сказать, всем сразу. И вот оно, существо артистки, вызывает в нем совершенно частную, индивидуальную мужскую нежность, до такой степени не поделенную со всеми, что даже удивительно присутствие других людей слева и справа...

Надо ли говорить, что Вадим Петрович поперся к служебному входу и вырос там под фонарным столбом? Надо ли говорить, что незначительный театр такими «сырами» – по-нынешнему фанатами – избалован не был, что под фонарем он был один – немолодой мужчина провинциального вида: в шапке из зайца, которую напялила на него жена, потому как Ленинград – город сырости и туберкулеза. Другой бы, может, и оспорил мотивацию уже неновой шапки, но он принял трюх, как принимал от жены все по праву младшего (хотя жена была моложе его на пять лет), а потому осведомленного о жизни меньше. Жена же знала практически все: Ленинград – город туберкулеза. Одесса – сифилис-

са. Москва – гастрита. Свердловск – аллергии. Элиста – гепатита. Астрахань – дизентерии. Такой была табель о болезнях его командировок. Поэтому в тот день заячья ушанка под полной луной поблескивала основательной вытертостью, в день серпомесяца это могло и не обнаружиться.

Они – ангелы – вышли компанией, и он пошел следом. Они сели в троллейбус, и он вошел в него, тем более что это был его троллейбус. Конечно, все сошли на одной остановке, потому что он уже в дороге сообразил: скорее всего, артисты живут в его гостинице. Он не решился подниматься с ними в одном лифте, но когда он вышел на своем этаже, она разговаривала с впередсмотрящей и на его вежливое «добрый вечер!» улыбнулась вполне дружелюбно. А потом они шли вместе по коридору, и выяснилось, что соседи. Вадим Петрович хотел сказать, что был на спектакле, но растерялся, не знал, как оформить в слова то, что спектакля он не видел, а видел и чувствовал только ее, но его заколдобило: будет ли правильным сообщить именно это – уж очень признание может быть похоже на обман, а что есть лесть, как не обман? – но сама мысль о возможности обмана просто не помещалась в том человеке, который ломал ключ, чтоб открыть дверь.

Поэтому смолчал. Нора же отметила командировочную затрапезность мужчины, которую видела миллион и тысячу раз. Ее бывший муж Анатолий Лаубе был вполне таким же и обрел товарный вид, только когда встретил мечту своей жизни – боль-

шеступую из Айдахо, и она сводила его в «Березку», из которой вышел уже другой Лаубе, мгновенно поднявшийся над несносимым румынским костюмом и чешскими ботинками «товарища ЦЭБО», или как там его?

В ту ночь Вадим Петрович сам нашел гостиничный номер, где не спали его братья по крови, пьяно хрипя про бесконечность бесконечных вопросов бытия.

– У тебя же язва? – вспомнил кто-то, кто еще что-то помнил, когда Вадим Петрович налил себе в стакан.

– Сегодня это не имеет значения, – ответил он.

– Такое бывает, – поняли его.

Он стал ходить в театр каждый день. Если Нора Лаубе не играла, он уходил сразу, до начала спектакля, прочитав только программку.

Однажды он решился и, когда она вышла в компании сотоварищей, отрезал ее от всех, вручив букетик – что там говорить! – неказистых гвоздик – во-первых, других не было; во-вторых, что называется, «цветы были по средствам».

Нора узнала его сразу, взяла под руку, и они поехали в гостиницу следующим троллейбусом, не со всеми. Она рассказала ему, что сегодня утром подвернула ногу, что вся в перебинтовке, что боится снять повязку, потому что не сможет наложить ее сама, придется заматывать ногу в полиэтиленовую штору из ванной, иначе как принять душ? Но если она снимет штору, как принимать душ? «А говори-

те, что нет безвыходных ситуаций!» – смеялась, потому что как действительно снять штору?!

– Я вас забинтую, – сказал Вадим Петрович. – Я этому обучился на сборах. Вот ведь! Считал дурным делом, а могу вам помочь.

– Класс! – ответила Нора.

Процесс разматывания бинта, благоговейное держание за пятку, терпковатый запах стопы, столь совершенной, что он даже слегка оробел. Почему-то вспомнилось умиление ножками дочери, когда она была маленькой, он тогда любил целовать сгибы крохотных пальчиков и думать, какую красоту дает природа сразу, за так, а потом сама же начинает ее корезить и уродовать. Норина же нога не подверглась всепобеждающему превращению в некрасивость, и ему страстно, просто до физической боли захотелось поцеловать сгибы ее пальцев. Но она резко поднялась и, прихрамывая, пошла в ванную. «Бинты в тумбочке», – сказала она ему.

Он прокатывал в ладонях бинт туда-сюда, туда-сюда, слушая шум воды. Все мысли, чувства, ощущения собрались в комочек одного слова – «случилось». Жена, дети, работа – все то, что составляло его, сейчас завертелось, устремляясь к этому абсолютно забубенному, по сути, слову. Могло бы и покрасивше назваться главное потрясение мироздания.

Потом они пили чай, и рядом с пачкой рафинада на журнальном столике лежала грамотно перебинтованная Норина нога, а специалист по наложению повязки трогал время от времени голую стопу,

чтобы проверить (ха-ха!), не пережал ли он нена-
роком какой сосуд, и поступает ли кровь в самые
что ни на есть ничтожные и незначительные ка-
пилляры.

– Не жмет? – спрашивал Вадим Петрович.

– Я млею, – смеялась Нора. – За мной так уха-
живали в последний раз, когда мне было четыре
года, и у меня была ветрянка. Видите след на лбу?
Это я в страстях почесухи содрала струп.

Да будь она вся в рытвинах осп, да будь она
слепа и кривобока, да будь... Именно это хотелось
крикнуть ей во всю мочь. Он даже понимал: это
«дурь любви», но хотелось именно таких доказа-
тельств. Доказательств криком. Если уж нельзя
как-то иначе.

Нора же, сидя тогда с совершенно чужим чело-
веком, думала другое. «Брехня, – думала она, – что
любовь сама себе награда. Любовь – боль. Сказала
бы еще, боль как в родах, но не знает – не рожала.
Но боль непременно, потому как страх. Потерять,
не получить ответа, быть осмеянным, ненужным,
наконец, перестать любить самой, что равносильно
землетрясению, когда ничего не остается, даже
тверди под ногами. Ушедшая из жизни любовь
может оказаться пострашнее смерти, потому как
смерть – просто ничто, а ушедшая любовь – ничто,
но с жизнью впридачу».

Именно тогда от нее уехал в Айдахо муж, и она
еще не успела его как следует разлюбить, чтоб пе-
рестать жалеть и помнить.

Умная, она знала, что в конце концов все пройдет. Не случай мадам Бовари там или Анны Карениной. Но глядя на умиленного, потрясенного провинциала, который стесняется оскорбить ее даже собственным глотком чая, а потому тянет кипяток трубочкой губ... Вот эти самые ошпаренные губы и сделали свое дело. Ее подкосила степень его ожога.

Дальше все как у людей. Вадиму Петровичу ничего не стоило продлить раз, а потом и еще, и еще командировку. За ним сроду не числилось ничего подобного. Наоборот, он всегда недобывал там, куда его посылали, всегда рвался вернуться домой. Поэтому, когда он сослался на какие-то проблемы, ему сказали: «Оставайся сколько надо». Тогда же он попросил прислать и денег, ему их тоже перевели спокойно – то было время, когда деньги всегда были в кассе и люди не подозревали, что им могут взять и не заплатить. Как не подозревали ни об истинной стоимости своей работы, ни о зависимости ее от того, нужна ли она кому. Уже постарели и поумирали те, кто знал, что деньги что-то значат в системе экономики. Люди иногда вспоминали какие-то странные факты из жизни работника и товара, но их было все меньше и меньше, а те, которые стали потом монетаристами или как их там, были еще октябрятами и носили всеобщего цвета мышинные пиджачки, уравнивающие их потенциал со всеми остальными. Так вот, то, что тогда называлось «деньгами», пришло по телеграфу. Вадим Петрович купил себе новые носки, потому что стеснялся жениной штопки, не всегда совпадающей с главным цветом. Опять

же... Нитки того времени... Те, что для штопки, были строго двух цветов – коричневого и черного. Надо было быть большим пижонем, чтобы купить себе серые маркие носки. Вадим Петрович гордо взошел на эту гору.

Театр посмеивался над странно вспухшим романом. Нора только-только отвергла ухаживания вполне респектабельного журналиста-международника. Такой весь из себя Ять, чулочно-носочные проблемы жизни проходили настолько мимо него, что, если говорить правду, именно это и остановило Нору, живущую среди вещей и людей так близко, что подлетающий на облаке кавалер в чужом аромате заставил Нору душевно напрячься.

Может, в случае с Вадимом Петровичем она пошла по пути от противного?

Норе было уютно в руках этого знатока бинтования. Ей было покойно. «Не надо держать спину», – объяснила она все это одной старой актрисе, с которой можно было пообсуждать случившийся роман. «Это ненадолго, – ответила та. – Даже среди простейших не выживают именно те, кто не держит спины. А уж в нашем деле позволить себе такое... Как только выпрямишься, так его и сбросишь»...

До этого не дошло полсекунды. Оканчивались гастроли, надо было ехать в Витебск, именно тогда спина как раз и напряглась выпрямиться. Расставались горячо, страстно, но слова Вадима Петровича, что он приедет в Москву непременно-всепременно, Нора покрыла поцелуем, и он, настроенный на нее и только на нее, уловил торопливость ее губ,

испытал ужас, но тут и поезд тронулся, а Нора еще на перроне – «быстрей, быстрей!», – и вот она уже стоит на площадке с благодарно освобожденными глазами.

«Я свинья, – корила она себя, не отвечая на его письма. Но тут же утешилась: – Пусть так и думает. Ему же будет легче, что я такая гадина».

Он никогда не думал о ней так. Он думал о ней по-другому – страстно, нежно, продлевая и продлевая каждый из прожитых тогда дней. Он натягивал, вытягивал эти нити из прошлого, боялся их порвать, пока однажды все не порвалось само: тяжело, безнадежно заболела дочь. Смерть назначила истинную цену жизни. Бились с женой, спасая девочку, упустили сына... К тому времени, когда Вадим Петрович и Нора встретились у поребрика под контролирующе замечающим все взглядом милиционера Виктора Кравченко, дочери уже много лет не было на свете, а сыну было столько, сколько было Вадиму Петровичу в том Ленинграде. Жена готовилась к операции катаракты, и Вадим Петрович специально приехал в институт Федорова, чтобы показать все медицинские бумаги, а одновременно выяснить, сколько может стоить операция в Москве, все-таки, как никак, а центр этого дела.

29 ОКТЯБРЯ

Договорились так. Нора возвращается домой в одиннадцать часов. Пусть он ее ждет на этом же месте. «Это мой дом, – и пальчиком в серый, грязный, безрадостный торец. – Видишь, какой красавец!»

По торопливости, по рассеянности или по некоей потайной логике побуждений, но Нора не сказала номера своей квартиры. Вадим Петрович, боясь ее пропустить, пришел на час раньше. После дежурства, возвращаясь дорогой мимо ларька, Витек увидел старика с букетом, обернутым «юбочкой вверх». Витька давно напрягали именно эти фасонные «юбочки» цветов: все в кружавчиках, цветы обретали особый, специфический намек. Сам Витек цветы никому никогда не дарил, но капитан-психолог объяснял им, что «цветы есть момент спекуляции на влечении мужчины к женщине. Влечение не стыд. Это естественный процесс».

Витя – в который уж раз! – подумал: как он прав, капитан. Но и не прав тоже. Ибо нельзя назвать естественным процессом то, что заставляет этого старика стоять на сквозняке, прикрывая собственным телом «юбочку цветов».

– Не замерз, дед? – с подтекстом спросил Витя, думая, что с этой актрисой ему еще ломать и ломать мозги. – Спрашиваю, не замерз? – повторил он, на что действительно замерзший и не услышавший Вадим Петрович ответил невпопад.

– Да вот! Жду...

Нора опоздала, потому что по первому ледку троллейбусы скользили медленно. Она увидела Вадима Петровича издали, на фоне унылого торца своего дома, маленький человек боролся с ветром, был несчастен, а букет это еще и подчеркивал.

– О господи! – сказала Нора, внутренне раздражаясь на цветы. Зачем он их? – Идемте скорей!

Она представила, как он будет не знать, не уметь себя вести, как ей предстоит наводить этот ненаучно-фантастический мост между временами, и как ей это не нужно совсем. Прошлого у них не было. Надо разговаривать о том, что случилось вчера и сегодня.

– В Москве в командировке? – спросила она.

– О нет! – засмеялся Вадим Петрович. – Я уже не работаю. Я тут частным образом...

Невероятная формулировка, взятая из другого времени. Он это понял и растерялся, что такими здешними словами скрывает проблему жениной катаракты, а значит, получается, и ее самую. Стало стыдно, неловко перед ни в чем не повинной женой, и он приготовился сказать все как есть, но Нора стала рассказывать ему про «случай с балконом» и про то, что ей кажется, она знает этого упавшего мужчину. Но в словах получилось как-то неловко, неточно: ведь если то, что ей вообразилось, правда, то она знала не мужчину – ребенка. «У него от атропина были просто сумасшедшие зрачки. А сам он становился вялым и сонным»... – Это Нора уже уточнила факты, а Вадим Петрович думал: «Надо же, мы сближаемся при помощи офтальмологии. Если бы я начал объяснять, зачем я здесь... Тоже были бы глаза».

Рассказывая все вслух другому человеку, Нора вдруг поняла, что с ней сыграло шутку воображение, что все ей пригрезилось. Возможно, потому, что они репетируют абсурд. У нее не зря всегда было к нему боязливо-брезгливое отношение. Се-

годня, например, она заколдобилась на фразе: «Я ведь никого не стесняю, я небольшого роста». Сказала режиссеру: «Это надо с иронией? Я ведь отнюдь не маленькая». «Какая ирония? – закричал он, выскальзывая из свитера. – Это в пьесе самая психологическая фраза. Это суть». «У вас все суть, – пробурчала она в ответ. – Но у нас не радиоспектакль. Меня же видно!» «Вы что, на самом деле не понимаете?! Разве на самом деле речь идет о росте?!» «Читаю! – закричала Нора. – Читаю: «Я ведь никого не стесняю, я небольшого роста».

Хотя поняла все сама, но такая обуяла злость...

– Сама придумала историю, – уже почти смеясь, объясняла она Вадиму Петровичу. – Этот бывший мальчик – сын моего второго мужа. Не дергайтесь, Вадим, я вас прошу. Мы давно разошлись, а потом он умер. Ведь с того Ленинграда двадцать пять лет прошло, не халам-балам, как вы считаете? – А хотела ведь не касаться прошлого.

– Двадцать шесть, – ответил он.

Она сама обозначила память. И разве он виноват, что слеза выкатилась из уголка глаза и застыла, чтоб ее заметили, под очечным ушком? Он повернул голову так, чтобы она не увидела его старческой слабости. Но она заметила и прижала его голову к себе. Вадим Петрович, траченный жизнью инженер, подрабатывающий время от времени ночным сторожем в поликлинике (выгодное для стариков место, каждый был бы ему рад), давно забыл былые мужские молодецкие эмоции. Они ушли от него давно и спокойно, как уходят вырос-

шие дети, – уходят, оставляя чувство освобождения от милых, дорогих, но все-таки хлопот и беспокойств. «Став импотентом, я испытал чувство глубочайшего облегчения». Так или почти так говорил в какой-то книжке Моэм. Вадим Петрович это запомнил и был рад, что и у него потом оказалось так же, как у умного англичанина.

Могла ли вспрыгнуть в голову мысль, что он не иссох и не иссяк? Что заваленный хламом источник жив и фурычит?

Он остался ночевать, напрочь забыв, что следовало бы предупредить приятеля, у которого жил: откуда у него могли быть деньги на гостиницу? Ведь сначала Вадим Петрович рассчитывал посидеть всего полчаса и уйти – для него одиннадцать часов было временем поздним.

А теперь вот три часа ночи, и Нора лежит у него на руке и рассказывает, как наняла рабочих починить ограду балкона, как они взяли аванс – и с приветом, как трудно найти было человека, чтоб посидел и покараулил квартиру, пока работяги доламывали балкон.

– Пришла тут одна женщина из подъезда, а потом ушла с поджатыми губами. Злюсь на нее невероятно! За поджатость эту... С чего это она взъерошилась на меня?.. Ты заметил, как легко мы все входим в ненависть? Как в дом родной. И как нам не дается сердечность. Участие. Я и сама такая. Да и ты, наверное. Хотя про тебя не знаю. Я ведь тебя вообще плохо знаю. Но ты мне кажешься очень хорошим. По моей математике, это когда в человеке

добро и зло в одинаковой и постоянной пропорции, без возможности перевеса зла. С таким, как ты, хорошо переходить бурные реки по шатким мосткам.

Он смеялся и целовал ее плечи.

30 ОКТЯБРЯ

В пятом часу он уснул первым. Разомкнул на ней руки и уснул, удивляясь и восхищаясь случившемуся.

Утром Вадим Петрович вспомнил позвонить приятелю, но дома у того никого не оказалось. Куда ему было деваться? Нора сказала:

– Оставайся. Я съезжу в театр – обещали выдать зарплату – и вернусь. А ты отдохни и расслабься.

Она поцеловала его так нежно, что из того же самого, что и вчера, слезного канальца опять выползла сумасшедшая слезинка. Нора промокнула ее ладонью.

– Хочешь мне помочь, – сказала, – сходи за хлебом. – Ключи звякнули на столе.

Он еще раз позвонил приятелю, потом еще и еще и стал собираться за хлебом. Вчера было не до того, а сегодня он обратил внимание на аскетизм Нориной кухни. Пакетик майонеза. Баночка йогурта. «Суп Галины Бланко». Его жена, женщина других правил, просто умерла бы от отчаяния, не будь у нее в холодильнике суповой косточки и не стынть в нем вилок капусты. Почему-то возникло чувство раздражения на жену, вечно озабоченную проблемой обеда, чтоб обязательно первое и хоть пустяк, но и второе – сырничек там или колечко колбасы с горячим горошком... «Да не морочь ты себе голо-

ву, – сердился он. – Сколько нам надо?» Жена подслеповато хлопала глазами, но лицо ее становилось твердым и упрямым.

Тут же, озирая скудную снедь Норы, Вадим Петрович впустил в себя мысль, возможность которой еще вчера была чудовищной. Он способен уйти от своей слепнувшей жены, организовав ей, конечно, операцию и последующий уход, а потом остаться здесь, у Норы. Навсегда. На все годы. Почему-то мысль, что думает про это Нора, придет ли ей такое в голову, просто не думалась. Он смог бы. Он сможет.

С этим новым, неведомым и очень возбуждающим чувством он и стал собираться за хлебом. Хотя допрежь вышел на балкон посмотреть, что там случилось у бедной девочки. Именно такими словами теперь думалось. «Бедной» и «девочки».

Рваная рана ограды. Девочка ночью призналась, как затягивает ее проем. Что однажды она даже потрясла ногой над бездной, а потом вбежала в квартиру, будто за ней гнались. «Что-то надо делать, – удрученно думал Вадим Петрович, – так это нельзя оставлять».

Выйдя на улицу, он первым делом пошел на помойку. Вадим Петрович был старым и опытным помоечником. Именно там он находил нужные в хозяйстве предметы. Телевизор без начинки он отмыл и присобачил как ящик для обуви. Он очищал чужие поддоны и решетки газовых плит и заменял ими собственные, которые еще хуже. Хотя очисть и выскобли он свое, домашнее... Но сидел в нем,

сидел этот помоечный пунктик, праправнук кладоискательства, и эту генетическую цепочку, как ту самую песню, «не задушишь и не убьешь».

На одной из ближайших дворовых свалок Вадим Петрович нашел кусок ребристого материала, он потопал на нем ногами – проверка на прочность, – кусок не дрогнул, не согнулся, не треснул. Найти куски толстой проволоки было делом совсем простым. Конечно, он не знал, какие у Норы инструменты, но надеялся нарыть что-нибудь колюще-протыкающее, в крайнем случае сгодились бы и простые ножницы. Так что возвращался Вадим Петрович, правда, без хлеба, но достаточно обогащенный другим.

«Я сделаю все до ее прихода, а потом уже схожу за хлебом», – думал он, радуясь ее радости, когда она увидит залатанную дыру. Потом она, конечно, найдет честных рабочих, и они заварят уже все как следует, но пока... Пока у нее не будет этой страшной возможности подойти к краю. У него закружилась голова от нежности к слабости девочки, у которой для пищи одна-единственная «Галина Бланка», будь проклята эта курица-женщина во веки веков. Его жена даже с катарактой куда более приспособлена к жизни, и это была очень вдохновляющая мысль, если рисовать ту перспективу, которую уже начинал мысленно видеть Вадим Петрович.

Ребристая штука по размеру плотно, даже с запасом закрывала проем. «Как тут была», – восхищенно подумал Вадим Петрович. У него даже выступил на ладонях пот, хотя руки у него всегда бы-

ли сухие и жестковатые. Но в минуты крайнего волнения или потрясения он мокрел именно ладонями. У каждого своя причуда. У знакомого Вадима Петровича в таких же случаях текли неумемные и стыдные сопли, а человек он был сухой и опрятный. Другой его приятель бежал от волнения в уборную и пару раз даже не добегал, что совсем ужас. Но разве можно предугадать потрясение? Разве знал он еще утром, что ему придет в голову идея ремонта? А потом карта сама ляжет в руки.

Перед тем как выйти на балкон и укрепить там все, Вадим Петрович подумал, что надо бы позвонить приятелю, чтоб тот не думал плохого, но сейчас, когда в голове поселилась мысль о некоем другом будущем, почему-то не хотелось объяснять, где он... Слишком все серьезно, чтоб говорить об этом по телефону. Надо сесть за стол там, на диван... Чтоб видеть глаза.

Именно в этот момент его приятель стоял у своего телефона и не знал, что ему думать. Вчера вечером звонила жена Вадима, сказала, пусть возвращается домой и не морочит голову с федоровским институтом. Она сама нашла врача, в которого поверила сразу и решила, что он и только он будет ее оперировать. И деньги он возьмет смешные, потому что он дальний родственник их невестки (а они и не знали!), но из тех дальних, что лучше ближних.

Вадима еще не было дома, но и время было десять с минутами. Жена сказала, что позвонит завтра с утра. Вот и позвонила. Пришлось что-то на-

плести. Приятель испугался сказать женщине, что Вадим не пришел ночевать. Он думал: «Мало ли?» Человек ежился у телефона, и мысли плохие, очень плохие бились в его голове. «Какая же ты сволочь, – думал приятель о Вадиме Петровиче, – если у тебя все в порядке, а ты не объявляешься».

Пришла его жена. Старая и единственная.

– Не звонил? – спросила. И добавила: – Лично я кобелизм исключаю. У него для этого дела в кармане вошь на аркане. А за так теперь и прыщ не вскочит.

Нельзя думать плохие мысли. Никто не исчислял их энергетику, пусть даже малую. Никто не знает каналов устремления умственного человеческого зла. Никому не дано увидеть зависимость от гипотетического желания убить до обрушения земли. И очень может быть, что хватило малой толики ненависти, идущей от вполне порядочного человека, которого достала играющая гаммы соседская девочка, и он в сердцах подумал: «Чтоб тебя разнесло с твоим пианино». И разнесло. В другом месте.

На мысли своего приятеля, хорошего человека, «Какая же ты сволочь!» Вадим Петрович уже летел вниз с Нориного балкона. Проклятый ледок, что тормозил скорость машин на улицах, соединившись с истеротостью подошв Вадима Петровича, сделал свое дело. Плиточка пола на балконе была выложена с мудрым расчетом стекания воды. Микроскопическая ледяная горка для хорошо поношенной обуви.

С этим уже ничего не поделаешь, но это был праздник души милиционера Виктора Ивановича

Кравченко. Он даже не мог скрыть, хотя и сказать напрямую не мог тоже – понимал: радоваться чужой смерти нехорошо. Хотя на этот счет капитан-психолог говорил совсем другое. «Надо возбуждать в себе радость победы посредством мысли о смерти врага». Но «упатый с балкона человек» – так было написано в рапорте – врагом не был. Он был стар, и он был жертвой. А с жертвой как понятием Витьку было не все ясно. «Жертва – момент преступления. Но если ты мертвый – не значит, что ты невиноватый. Если, конечно, не дите или сосулька на голову».

Капитан-психолог – умный человек, но и он не может знать ответов на все вопросы жизни. Капитан длинноват от макушки и до пояса и коротковат в сторону земли. Виктору Ивановичу нравятся такие фигуры. Длинные ноги, которые теперь всюду показывают, вызывают в нем нехорошие чувства. Тянущиеся ноги, у которых нет конца и краю и карабкаясь по которым, уже и не помнишь, с чего это ты тут оказался. Получается, что тебя подчинила длина, и она унижает и оскорбляет тебя высотой по сравнению с тобой.

Низкорослые люди были милиционеру Виктору Кравченко понятней и ближе. Они над ним не высились. Они попадали с ним зрачок в зрачок.

1 НОЯБРЯ

К вопросу о зрачках.

В этих не было света. Совсем. «У нее же катаккта, – объясняла себе Нора. – Надо с ней поделikatней».

Но как? Как? Нора провалилась в вину, как в пропасть. С этим ничего нельзя было поделать. Вина и пропасть стали данностью ее жизни. Можно ли к тому же оставаться деликатным?

– Как это можно было самому починить? – спрашивал тот приятель Вадима Петровича, которому Нора в конце концов дозвонилась. Теперь он в присутствии мертвых зрачков жены покойного бросал ей как поддержку вопрос о несостоятельности ума Вадима Петровича, желающего самостоятельно заделать брешь в ее балконе. Ну, зацепись, дура-артистка, за помощь, скажи что-нибудь типа: «Я ему говорила», «Я понятия не имела, что он задумал», «Мне и в голову не могло взбрести»... Но все эти бездарные слова уже говорились милиции, хотя даже тогда она уже знала: она их произносит «из пропасти вины». Это сразу понял молодой мальчик, как его там? Виктор Кравченко. Он наклонился над ней, над ее «колодцем», куда она прибыла как бы навсегда, и смотрел на нее сверху черным, все понявшим лицом.

– Я ушла. Он остался. Я попросила его купить хлеба. Мы вечером заболтались. (Фу! Какое неправильное, стыдное слово накануне предсмертия. Когда ты уже взвешен на весах...)

– Откуда он вас знал? – Естественно, женщина с катарактой думала только об этом.

– Когда-то, когда-то... В Ленинграде мы жили в одной гостинице. Знаете, как возникает командировочная дружба...

– Да, я помню, – сказала женщина. И что-то мелькнула в ее лице как воспоминание радости.

...В ее жизни тогда был голубой период. Надо же! По какой-то цепочке продаж ей обломился голубой импортный костюм из новомодного тогда кримплена. Воротник и карманы костюма были отделаны черной щеточкой бахромы. Он так ей шел, этот наряд, что хотелось из него не вылезать, а носить и носить без передышки. Но голубой цвет маркий. Тогда она сказала: «Надо что-то купить еще голубое. На смену». И купила платье в бирюзу. Все тогда решили, что у нее появился любовник. Другой уважительной причины «нарядиться на ровном месте» люди не понимали. А она как спятила. Купила еще и голубую шляпку-феску с муаровым бантом-бабочкой на затылке. Лицо у нее тогда как бы оформилось по правилам – стало тоньше, овальной. У нее вдруг появилось ощущение собственной неизвестной силы, она даже не скучала, что так долго нет мужа. Ей было тогда с собой интересно.

Потом он приехал. Уставший и унылый. Он не заметил ее голубую феску.

Сейчас это уже не имело никакого значения. Ни эта артистка, ни этот несчастный балкон, ни даже смерть. Ее, имевшую в жизни однажды голубое счастье, прижало лицом к черному без края пространству... Хотя разве можно прижаться к пространству? В него падают, в нем растворяются, им поглощаются... Но нет. Ее именно прижало...

Собственно, зря они пришли к этой актрисе. Она на самом деле ни в чем не виновата, хватило бы посмотреть место, куда он упал, ее глупый муж, неспособный починить бачок или прибить ровненько плинтус. Но там, у подъезда, в них было столько радостной ненависти, что пришлось бежать на шестой этаж в квартиру.

Актриса впустила их и заплакала. Странно, но она поверила ее слезам, хотя тут же подумала: «Ну что такое ей заплакать? Их же этому учат!»

Потом они уходили, а люди подъезда так и стояли у дверей, прижатых камнем. Не похороны ведь, но все же процессия из трех человек. Женщина подумала: «Это они для меня. Оказывают внимание. Они не знают, что мне уже все все равно». И она пошла со двора быстро-быстро, пришлось ее хватать за локоть. Ведь почти слепая, в чужом месте, как же можно бежать, глупая?

– Датушка, датушка, – сказала кассирша Люся со второго этажа. Никогда еще чувство глубокого удовлетворения не переполняло ее так полно, так захлебывающе, что хотелось даже делиться избытком, и она сняла длинную белую нитку с юбки Анны Сергеевны и протянула ее, обвисшую на пальце, самой хозяйке:

– Блондин к вам цепляется, мадам! Хотя по нынешним временам лучше их не иметь. Всегда найдется какая-нибудь подлая и сделает ему шире.

– Стой! – закричала Анна Сергеевна. – Такое горе, а вы!

– Да? – насмешливо ответила Люся. – Да?

У женщин такое бывает: они проникают друг в друга сразу, без препятствий, они считывают текст не то что с извилин – тоже мне трудность! – с загугульки тонкой вибрации, не взятой никаким аппаратом науки. А одна сестра на другую глаз бросила – и вся ты у нее как на ладони.

Люся и Анна Сергеевна несли в душе одну на двоих общую радость: свинство в виде прыжка с чужого балкона их настичь не может. Они, слава богу, хоть и одинокие и у них нет мужей, но не могут допустить к себе чужих и случайных. А дальше большими буквами следовало:

...НЕ ТО, ЧТО НЕКОТОРЫЕ.

Когда прощались возле троллейбусной остановки, жена Вадима Петровича сказала Норе странное:

– Я бы тоже хотела умереть на хорошем воспоминании.

– Сделайте операцию и живите долго. Вадим очень беспокоился о ваших глазах, — ответила Нора.

– Да? – спросила женщина. – Я его раздражала. Случалась бумага в супе. Недомытость чашки... Он не указывал пальцем, но начинал громко дышать...

На этой фразе она замерла, потому как неосторожно вырвавшееся это слово «дышать» было тем самым, что отличало жизнь от нежизни.

Возвращаясь домой, Нора вспоминала, как застопорилась на слове «дышать» жена Вадима Петровича.

«Живые, – думала Нора, – обладают тысячью способов передачи информации, в которых слово – самое примитивное. Смерть – это невозможность передачи информации. Это хаос системы».

Она даже не подозревала, что обнаружит дома столько знаков присутствия Вадима Петровича. «Как наследил», – печально подумала Нора. На балконе она прижала принесенный им ребристый щит старой, с отслоившейся фанерой тумбочкой. Бреши не стало видно, даже возникла некая законченность в дизайне с ободранной тумбочкой – хоть ставь на нее горшок с цветами. В ванной Вадим Петрович оставил свой галстук, сам же, видимо, и прикрыл его полотенцем. Очешник, в котором лежал список московских поручений. Гомеопатическая аптека была на первом месте. Вот почему он оказался рядом с ее домом. Рядом была такая аптека. Остался полиэтиленовый пакет с газетой «Московские новости» и брелком томагочи. «Господи, – подумала, – надо было посмотреть раньше. Это ведь для кого-то куплено».

Странно, но в ту ночь они не говорили ни о ком, кроме себя. Только сначала – жена и катаракта – и все. Потом – как оттолкнулись от берега времени. О чем же был разговор, если почти не спали? Нора стала вспоминать, набирался ворох чепухи. Вспоминали, как она тогда, давным-давно, выходя на поклонны, зацепилась юбкой за шип розы, которые получила другая артистка. Это были единственные цветы от зрителей, и Вера Панина была очень этим горда, хотя все знали: букет принес ее двоюродный брат, но Вера так с ним – с букетом – крутнулась,

что зацепила Нору и поволокла за собой. Кто-то тут же придумал плохую примету – шип хорошо годился для всяких мрачных умственных реконструкций. Но Вадим того времени предложил другое толкование: роза утащила Нору. Это было время Сент-Экзюпери и его Розы, от него могли идти только хорошие предзнаменования. И теперь можно сказать с уверенностью: тот шип ничего плохого не означал. Еще Вадим Петрович вспоминал в ту ночь, как у него кончились чистые носки и рубашки – конечно, не самое романтическое воспоминание для встречи после долгих лет, но ведь никто еще не научился руководить взбрыками памяти, она ведет себя как хочет. Но получалось, что именно носки и шипы сделали свое дело. Нора сказала: «У меня уже сто лет не было такой родственной близости, такого совпадения молекул». Они лежали обнявшись, у Вадима постанывало, похрипывало горло, а она думала: у него сердечное дыхание, ему надо обследоваться, он себя запустил, и ей так сладко было думать о нем с нежностью. А потом он соскользнул с балкона, потому что у их истории не могло быть продолжения просто по определению. Не такие они люди... А какие?

И еще Нора думала, что никто ей не предъявил счет за потерю. Ни жена, ни друг-приятель. Как будто все заранее знали, что случится так, а не иначе, и виноватых не будет. Но этот томагочи... Не доставленный неизвестно кому. Он пищал ей все время, она не знала, что делать. «Так я с ума сойду, – подумала Нора, – надо взять себя в руки».

2 НОЯБРЯ

Вот из этих слов и надо понять, в каком она была состоянии. Она даже не заметила, что подъезд ей объявил газават. Иногда что-то бросалось в глаза: мертвое молчание пассажиров в лифте – а какой до этого слышался щебет, пока не раздвинется дверь. Обойденные мокрой тряпкой пределы ее половика в коридоре. По первому разу это показалось смешным. Нора не принимала эти знаки как знаки войны, как не принимала и подъезд как силу, ей противостоящую. Наоборот, люди всегда демонстрировали ей низкопоклонство, если уж не любовь, во всяком случае, с их стороны было должное отношение как к человеку не простой, а, скажем, изысканной профессии, эдакого штучного товара их подъезда. Все как все, а она вот – артистка. Это было данностью. Поэтому до Норы не доходили разные другие знаки отношения, в голову она не могла их взять.

Однажды Люся со второго этажа, будучи человеком, у которого мысль располагалась ближе всего к кончику языка, а потому на нем и не удерживалась, сказала Норе тихо:

– Я бы на вашем месте постеснялась...

Сказала прямо возле лифта, прямо на смыкании дверей, чтоб не дать Норе ни понять, ни переспросить.

Будь у Норы другое состояние души, она бы запросто могла вставить ногу в притвор, и еще неизвестно, чье слово было бы последним, но со дня падения Вадима Нора существовала в некоем другом измерении. В нем главенствовал четкий выход в

ничто, хотя и задвинутый рифленой поверхностью. Но это выражаясь словами, а по жизни чувств ей все время было зябко. Душевная мука выходила дрожью, ознобом, а однажды она услышала странный звук, стала оглядываться – откуда, что? Выяснилось: стучали зубы. Суховато, как стучат деревянные ложки, когда ложкари входят в раж.

Как-то встретила этого молодого милиционера. Забыла, как звать. Он посмотрел на нее обличительно и громко втянул в себя детскую каплю, нестати обозначившуюся.

Она ушла с этим ощущением уличенно-обличенной. «Нашел, дурак, леди Макбет», – подумала Нора, но в душе стало муторно: она чувствовала себя виноватой. Леди такое в голову не пришло бы. Вина виделась так: она слишком много думала о Грише, бывшем мальчике с крутым завитком, который – возможно! – и был тем первым упавшим у ее подъезда. Получилось: она сама создала проект смерти, умственный, гипотетический. И живая жизнь просто обязана была наложиться на ее чертеж. Нора думала, что позвонит еще раз по тому телефону, который знал Гришу, и вот в этот момент Виктор Иванович Кравченко, дернув тонкой шеей, посмотрел на нее так нехорошо. Дело в том, что накануне Виктор Иванович впервые в жизни бил человека. Тип стоял за помойкой, что у детской площадки, с приспущенными штанами, и белая его плоть была столь стыдной и омерзительной, что, когда кулак Виктора Ивановича попал в голое тело, противность мгновенно поползла к локтю и выше и

стала как бы захватывать его всего, и тогда, ударяя в этого молчаливо терпящего боль типа, Виктор Иванович стал стряхивать руку, как стряхиваешь термометр. Бил и стряхивал. Бил и стряхивал. Но тут сбрасывалась не ртуть – отвращение.

Потом пришло упоительное чувство успокоения. Все в Витьке размякло, расслабилось, каждой клеточке тела стало вольно. Он смотрел, как убегает этот кретин, на ходу застегивая штаны. Он ведь даже не пикнул, не издал даже малейшего звука, что говорило о правильности и справедливости битья за помойкой. «Рукоприкладство – вещь недопустимая, – говорил капитан-психолог. – Но жизнью это не доказано».

Когда Нора прошла мимо, Витек обратил внимание на тонкоту ее щиколок (имея в виду щиколотки). Он представил их, обе две, в обхвате своих широких ладоней и как он держит артистку вниз головой в балконную дырку, и она признается ему криком из сползших ей на голову одежд: зачем она их погубила, двух мужиков, молодого и старого. Она признается ему, будучи вниз головой, в преступлении, и все потом поймут, что все было так самоочевидно, а увидел и понял он один. Витек так сцепил кулаки, что в них ссочилась вода и даже, казалось, булькает... Виктор Иванович распластал ладонь – она была влажной, линии судьбы переполнились живым соком и обратились в реки. Особенно полноводной была та, что являла собой долгожительство. С нее просто капало.

3 НОЯБРЯ

«Я ведь никого не стесняю... Я небольшого роста...» Всегда был комплекс, что она вровень с мужчинами, ну не так чтобы сильный комплекс – пришло ведь ее время, время длинноногих, маленькая женщина, можно сказать, потерялась среди женщин-дерев.

На этой же фразе – Нора это ощутила в ногах, как они будто подломились для уменьшения – пришло ощущение (или осознание?): больше никогда никого не стесню. Ростом. Телом. Количеством. Буду жить боком. Левым боком вперед. Чтоб не задеть, не тронуть, не стеснить. Режиссер стал орать, что не этого от нее хотел. Что не нужна такая никакая, живущая боком, ему нужно ее притворство, ее лукавство. Такова женщина! «Никого не стесню» надо понимать, как полную готовность стеснить любого до задыхания, до смерти.

– Да? – удивилась Нора.

После репетиции Еремин сказал, что если она с ходу, с разбега не заведет любовника, то спятит, что он это давно видит – с тех самых пор, как начали репетировать, что ее славное свойство не принимать роль всерьез, а просто надевать, как костюм, ей изменило. Она ведет себя как малолетка-первогодка, выжигая себе стигмы. Кому это нужно, дура?

Что он понимал, Еремин? Тогда, когда был Ленинград и Вадим Петрович, его еще в театре не было. Для него вся случившаяся история заключалась в словах: «Старый идиот взялся не за свое де-

ло и рухнул. Конечно, жалко. Кто ж говорит? Но ты, Нора, его в проем не толкала. Тебя вообще дома не было». Как объяснишь про умственную дорогу, которую она построила вниз и сама к ней примерилась.

5 НОЯБРЯ

Она бы спятила от чувства вины, но случилось невероятное. Объявился Гриша.

Если бы она не разучилась к этому времени смеяться, то да... Повод был. Он был практически лыс, этот новоявленный Гриша. У него не то что излома волос, а даже намек, что излом такой мог быть, не возникало. Зато проявились уши. Они были высоковаты для обычной архитектуры головы, и Нора подумала: «Рысьи». Хотя нет, ничего подобного. Уши как уши. Чуть вверх, но такими зигзагами мелкой фурнитуры, и создается внешнее разнообразие мира. До извивов тонкой материи еще добираться и добираться, а уши – они сразу. Здравсте вам!

К ушам прилагалась бутылка «Амаретто». Это соединение и стало ее беспокоить. Но потом. Позже...

– Я думал, думал, – объяснял себя Гриша, – но водка – было бы грубо?

Он нашел ее по телефонному номеру, который дала ему сестра из Челябинска, и знакомые, у которых он остановился.

– Вы меня искали. У вас что-то случилось? – спросил он прямо, не понимая, почему она сейчас плачет, и сокрушаясь о ходе времени: в его памяти Нора была красивой молодой женщиной, от кото-

рой пахло духами. Эта же была стара, и от нее просто разило мятной жвачкой. «Удивительно тонкий вкус. Зимняя свежесть».

Нора поняла, что ничего не сможет объяснить. Ни-че-го.

Гриша рассказывал о своем способе выживания. Он его называл «моя метода». Маленькие услуги большим клиентам. Нет, ничего криминального. Но кому охота мотаться, чтоб получить достоверную информацию о том и сем? Не ту, которую вложили в компьютерную башку, а ту, что на самом деле проживает в Обнинске, а нужна позарез Челябинску. «Я почти шпион, – говорил Гриша. – Взять, к примеру, кобальт...» «Я тебя умоляю, – смеялась Нора, – давай не будем его брать. Скажи лучше... Тебе нравится так жить?» «Вполне, – ответил Гриша. – Во-первых, я свободен в выборе. Во-вторых...» На «вторых» он замолчал, и Нора поняла, что есть только «во-первых», а процесс саморекламы «своей методы» у Гриши не отработан.

– Материально как? – спросила Нора.

– Свою штуку в месяц имею...

«А сколько это – штука?» – подумала Нора. Спросить было неловко. Теперь это не принято. Вполне может быть, что они думают на разные «штуки». Но после того как Гриша оказался живой, свести разговор к деньгам было не то что противно, а разрушительно по отношению к состоянию ее радости. Мелкий свободный порученец Гриша закрыл своим живым телом черный проем ее балкона, и стало возможным думать, что смерть Вадима Пет-

ровича действительно случайна, страшна, трагична, но не ее рукой вычерчена. И тот, первый, все-таки бомж, просто задел ее перила, дурачок, не смог спроектировать траекторию падения, потому как был пьяный, а то и хуже – накуренный незнамо чем.

Жизнь на глазах побеждала смерть, случай, что ни говори, уникальный, чтоб не сказать неправдоподобный. Но ведь и Нора – человек странной профессии, в которой главное не то, что есть на самом деле, а то, что надобно назвать, изобразить главным... Нора удивилась бы, скажи ей кто, что раньше она никогда сроду не забывалась в роли, больше того – не верила, что так может быть у кого-то, сейчас же вела себя, в сущности, непрофессионально. Верила в чушь. И это уже второй раз. Первый, когда у нее на репетиции укоротились ноги от произносимых слов, а сейчас вот – от присутствия Гриши. Ей уже блазнится, что вообще никто с ее балкона не разбивался. Просто недоразумение. Раз Гриша тут.

Вот тут-то и стало быстро-быстро раскручиваться беспокойство. Вдруг ясно, до деталей, увиделся поворот головы с приподнятым ухом и доньшко бутылки. И между атропинным мальчиком и этим лысоватым шпионом новой экономики был еще один, которого она видела так четко и ясно. Легко все свалить на свойства актерского глаза: он уж высмотрит, он уже выковырнет. Издержки профессиональных накоплений. Склад забытых вещей. Но внутри что-то бибикало.

Параллельно с этим пилося «Амаретто» – и выпилось. И она сказала Грише, что раскладушка вы-

мерена и впритык становится к кухонному окну, так что...

Гриша ответил, что может спать на любом данном ему пространстве пола, раскладушка – это для его кочевой жизни почти пять звездочек. Нора подумала, что, пожалуй, представления о «штуке» у них одни и те же.

Она заснула крепко, как не спала уже много времени.

Виктор же Иванович Кравченко знал: у артистки ночует мужчина.

У него странно вспотела спина: будто кто-то мокрым пальцем поставил ему на ней точки и мокрота... Витек прислонился к косяку двери и потерся.

– Чего это вы, как животное? – ядовито спросила Анна Сергеевна. С той поры, как он грудью падал на ее пустые бутылки, в результате чего сбежала Олька и от нее ни слуху ни духу, Анна Сергеевна Витька не полюбила. Все в ней завязалось в странный такой узел, а зачем ей это, зачем? А получается – конца нет, вот опять явился не запылится милиционер и чешет спину об ее косяк, как какая-нибудь собака.

– Разрешите выйти на ваш балкон, – сказал Виктор Иванович, запомнив навсегда слово «животное». «Помнить – не забыть, – говорил капитан-психолог, – это не то что взлетело-вылетело. Выдвинь в голове ящик и положи наблюдение».

«Положил», – подумал Витек.

Его приятно удивили убранность балкона и отсутствие на нем новой опростанной тары. Он по-

смотрел снизу вверх и представил след падения как след сдвинутого с места мешка.

– Какое у вас мнение? – спросил Витек Анну Сергеевну.

– Мое мнение будет такое, – четко ответила женщина, – я на шахматы сроду бы не могла лечь спать. Значит, мы с ней разные. Я из другого мяса... Но сегодня у нее уже другой. Молодой. А времени прошло всего ничего...

В шахматы Виктор Иванович не врубился, но не переспросил, потому что за так, за здорово живешь получил наиважнейшую информацию. Спина была уже мокрая вся, он выскочил на свежий воздух и стал смотреть на Норины окна, взобравшись на крышу трансформаторной будки.

5 НОЯБРЯ

Гриша лежал на неудобной и коротковатой раскладушке, и ему было хорошо. Хорошо от неудобства тела. Что коротко. Что провалились чресла. Что комковатая подушка. Физике Гриши не нравилось все, зато – о боже! – как хорошо было в том нежном пространстве, которое разные люди называют по-разному, а Гриша определял это место как «то, что кошки скребут» или попросту «скрибля». Как всякий ленивый человек, Гриша любил словообразования. Это занимало его и развлекало.

Последний месяц ему было ой как нехорошо. Он потому и сбежал в Обнинск, где у него была в запасе нежная грудь, к которой в любое время припасть – не было проблем. Грудь была вдовая,

пожилая и даже собой не очень, но для случаев побега лучше не сыщешь.

Возвращался он в Москву осторожно, опасливо, сразу узнал, что его искала Нора, чуть было не сбежал снова, но потом стал наводить справки...

12 ОКТЯБРЯ

...Началось все с конфет. Девчонка торговала польской «Коровкой», а у Гриши они – слабость. Девчонка оказалась болтливая, разрешила за так попробовать и маковые, и ореховые.

– Вообще-то нельзя, – смеялась она. – Да ладно! Абдулла меня любит.

– Кто ж такую не полюбит! – сказал Гриша, но сказал так, для тонуса общения, потому что барышня была не в его вкусе. Крепковата на вид, а Гриша ценил в дамах ломкость и одновременно как бы и мягкость. Но могли ли быть ломкими женщины, если они родились в городе Пятихатки? Девчонка даже паспорт показала – истинно Пятихатки, на фамилию внимания Гриша не обратил – зачем? А вот имя глазом выхватил – Ольга. То да се. Живет девушка у тетки, но хочет снять жилье («Видишь объявление?»), потому что тетка – зануда: никому не прийти, никому не уйти. «Я ей кто – крепостная?»

Гриша – мастер цеплять слово за слово. Почти подружились.

Через несколько дней подошел еще.

Возле Ольги стоял мужик из этих, приплюснутых жизнью, когда уже не стригутся и не бреются. Ольга шепнула: «Земляк. Не может найти работу, а

детей аж четверо. Соображаешь степень?» И она незаметно покрутила пальцем у виска. У Гриши детей не было, но он знал в жизни одну историю, как его маму с тремя детьми увел от мужа большой человек, воспитал их, а от родного папы как раз толку не было. Тут не сразу сообразишь, где Пятихатки, а где Гришина мама, но поди ж ты... В каком-то тонком Гришином составе жило представление о Женщине-Подарке (пишется с большой буквы), которая не зависит от такой случайности, как муж-неудачник. Подарок как эстафета переходит к удачливым, ведя за собой детей, родственников и остальные бебехи. Сам Гриша потому и не женился, что, с одной стороны, он ждал такую же, а с другой же – никакой логики! – совершенно не хотел нести последующие неудобства в виде чужих детей.

Гриша узнал, что звали земляка Ольги – Пава! Именно так его называла «коровница», уточняя: «Ну Павел он, Павел! Но Пава! Я знаю почему? Так все зовут!» – судя по всему, жена Павы Подарком, видимо, не была, если он торчал в Москве, зарастая густым волосом. «Продай свой скальп с кудрями!» – смехом предложил Гриша. Но Пава не понял юмора, потому как не знал слова «скальп». А когда Гриша объяснил, ответил, что продал бы. Грише в тот момент стало даже как-то неловко, и он стал рассказывать, какие у него в детстве были волосы, не поверишь! меховая шапка! И где это все, где?

3 НОЯБРЯ

Могло ли ему тогда прийти в голову, что именно из-за волос его будет искать Нора? Ведь Нора ему ничего не сказала. И про разбитого Паву тоже. Хотя к теме волос возвращалась. «У тебя был такой крутой завиток!» – «И не говорите! – смеялся Гриша. – А ведь я еще, считайте, мальчик. Ха-ха. Однажды увидел себя на старой фотографии...»

Как говорила на все случаи жизни Норина гримерша: «Переспать – еще не повод познакомиться». С какой стати грузить на Гришу превратности собственной судьбы? Поэтому Нора ничего ему не сказала ни про бомжа, ни про Вадима Петровича.

Гриша молчал тоже. Когда вышел на балкон и увидел прижатый тумбочкой рубероид, подумал: надо бы ей заделать дырку, и даже осторожно – вообще! – сказал об этом, но Нора просто закричала как полоумная: «Ни в коем случае! Я уже договорила!»

Крик ее был неадекватен необязательности его предложения. С чего бы?

Теперь он провисал в раскладушке, радуясь тому, что история кончилась, и он в ней – как выяснилось – ни сном ни духом.

...Ольга тогда сбежала. Так сказала ему вчера ее соседка по лотку. Сбежал и Абдулла. Ольга ничего соседке не сказала, а Абдулла сказал, что, когда близко подходит милиция, надо уходить. И еще он сказал, что «боится белых русских глаз». Конечно, милиция должна была появиться, и у Норы в первую очередь, но она же – ничего про это. «А я тебя

тоже не спрошу! Не спрошу!» – внутри себя весело кричал Гриша.

Хотя занимал вопрос: почему она ему звонила? Не раньше, не позже, а именно в момент этой истории? Но ответ был вполне складный.

– Знаешь, – сказала Нора. – Я ведь одна как перст. Тебя вспомнила маленького. Как тебе закапывали глаза. Какие крутые у тебя были волосы. Папу твоего... Как все у нас было хорошо, а потом плохо...

– А балкон у вас почему сломан?

Это было даже элегантно с печали о себе перевести на грубую материю перил.

– Он был хлипкий сразу. А зимой такие были сосульки. Расшатали.

«Она думает так? Она не знает? Может, она даже не слышала про то, что случилось? Артистка! Что с нее взять? А перила на самом деле были на соплях. Пава только зацепился за них кочергой – и абзац. Почему-то сорвалась и веревка, и очень красиво летело полотенце».

17 ОКТЯБРЯ

Тогда ведь как было. Ольга их пригласила к себе, потому что тетка утром ушла в собес, а оттуда должна была уехать на сорок дней чьей-то кумы.

– Приходите, – сказала Ольга. – Я возьму отгул.

Пришли поврозь. Так, чтоб никто не видел и не донес тетке. Ольга варила картошку, селедка лежала под щедрой охалкой фиолетового лука. «Коровка» дыбилась на блюдечке. Пава пришел пустой.

Гриша взял «Монастырскую избу», на что Ольга печально сказала:

– В какие-то веки отгул...

Как-то так сразу стало ясно, что был мужской расчет на Ольгину бутылку.

Но та как отрезала:

– Я ставить не буду. Что принесли, то и ваше.

Поэтому было скучновато: ноль семь на три делится сразу и без остатка.

– А бутылок нет, чтоб сдать? – спросил Пава. Ольга аж зашлась от хохота. Сказала, что уже давно не пещерное время, а бутылок, как грязи, на балконе только у таких идиотов, как ее тетка. Лежат с тех еще пор, когда та жила сыном, а он «гудел» прилично, а потом так удачно женился, что теперь ни капли в рот, все время за рулем, но матери ни копейки, рожай детей после этого. С нерожания и перекинулся разговор на артистку, что живет сверху. Уже немолодая, а живота ноль – потому как никакая будущая свинья – сын или дочь – не растягивали ей стенки пуза, молодец женщина, предусмотрела последствия.

– Небось богатая, раз одна, – сказал Пава.

– Естественно, – ответила Ольга, – всю жизнь живет для себя – накопится.

Потом она показала журнал, где портрет артистки, и Гриша прочел: «Нора Лаубе».

– Да я ж ее знаю! – закричал. – Идемте к ней в гости! Она была женой моего отца.

Такой возник азарт. Что, уже забыв опаску, — правда, к счастью, никто им не встретился, — взбежали на этаж и позвонили в дверь. Норы дома не было.

Бывает, опьяняет сама ситуация. Во всяком случае, пробежка туда-сюда. Занимательность Гришиной истории – и такое пошло гулять у всех возбуждение, что естествен был итог: надо купить бутылку и еще закуску, потому как осталось две картошины и несколько вялых фиолетовых колец.

С Павы взять было нечего. Решили почестному: Гриша идет за бутылкой, а Ольга – за колбасой. Паву в квартире заперли. «К телефону не подходи». «Дверь не открывай».

– А это что? – спросил Пава.

– Кочерга, – ответила Ольга.

– Это я вижу. Зачем, если нет печки?

– Тетка открывает дверь с нею, – засмеялась Ольга. – Специально привезла из деревни.

– Пава! – сказала Ольга уходя. – Руками ничего не лапай. Ладно? У меня тетка очень приметливая.

Они разбежались в разные стороны: Ольга в гастроном, где дешевле, а Гриша по ее указке в «кристалловский» магазинчик. «Принес „Избу“, можно подумать, дети», – сказала насмешливо.

С деньгами у Гриши было туговато, но он так возбудился новостью, что Нора рядом и он к ней непременно нагрянет, что по такому случаю решил не жмотиться. Пусть будет самая лучшая водка с лучшим винтом.

Когда он возвращался, у подъезда уже толпились люди. Он увидел Паву, полотенце, чуть в стороне валялась кочерга. Люди были так увлечены упавшим лежащим, что он на глазах у всех отпнул кочергу ногой, а потом, когда уходил совсем, от-

пнул ее еще раз. Он видел, как возвращается Ольга, но уже знал, что встречаться с ней не будет, что он уйдет отсюда навсегда и ни одна собака его здесь больше не увидит. Гриша завернул за угол и исчез из жизни этого дома, подъезда, Ольги и этой дурной, напрягшейся вожделием смерти толпы. В какой-то момент ожидания автобуса он испытал просто лютую ненависть к Паве. А если бы тому удалось попасть в квартиру к Норе и его застукали?.. Гришу всего просто выкрутило – так ясно он представил, как его потом вяжет милиция, а затем обвал всей жизни, не сказать какой удачливой, но без всяких там яких. Жизнь у него в полном согласии с требованием нормы, пусть заниженной, приплюснутой временем, как у всех не преуспевших, но и не рухнувших окончательно, как Пава. А как у всех нормальных.

По дороге побега в Обнинск он представлял, как дурным голосом кричит у подъезда Ольга, как будет она его ждать, как навалится на нее милиция (и на него, захочет, тоже). «Не найдете, дорогие товарищи, не найдете», – молился Гриша.

А все было совсем не так. Увидев Паву, а потом пролом в балконе артистки, Ольга почти спокойно поднялась в квартиру, выкинула к чертовой матери пустую бутылку «Избы», на все повороты закрыла балкон, сокрушаясь над тем, как шагал бедолага по бутылочному развалу. В школе Пава был хороший гимнаст, черта выделывал на снарядах. «Таких не берут в космонавты, – говорил их физкультурник, – такие идут в циркачи!» Так это ж когда было?

Теперь у него четверо детей. Уже не детей. Сирот. Ольга поклялась, что никогда не скажет жене Павы, как он погиб. Она понятия о нем не имеет. Ни разу в глаза не видела. Ни разу. А сейчас она выйдет на работу.

Но следующий день принес неприятности. К тетке приходил милиционер.

Она после этого сказала Абдулле, что уходит, так как без прописки и почему-то менты начали интересоваться.

– У нас человек в подъезде убится, так они теперь шныряют.

Абдулла хорошо ей заплатил. Она так и не узнала, что после нее так же быстро уходил в никуда и Абдулла.

А всего ничего – Виктор Иванович Кравченко лег живым животом на грязные бутылки.

6 НОЯБРЯ

Нора проснулась от ощущения, что троллейбус дернулся и остановился. Таких ощущений в ее жизни миллион, по несколько случаев на дню. И с чего бы просыпаться с мыслью, что у нее не сходятся концы с концами? Да потому, что она однажды уже видела из окна троллейбуса Гришу с бутылкой. Тогда она обратила внимание на выражение лица мужчины. Он стоял на остановке, ожидая троллейбус, в котором она ехала. Она подумала, что обидчивость мужчин недоизучена психологией. Умная женщина, даже не так, просто женщина в миру проблем и отношений сто раз спрячет в карман и боль, и обиду, а мужчина набрякнет но-

сом, заскрипит зубом, да мало ли? Их очень долго можно нумеровать, такого рода признаки.

Этот ждущий троллейбус мужчина был, видимо, оскорблен сразу всем. И Нора подумала: «Ну что за порода...»

Она тогда вышла в заднюю дверь, а обиженный вошел в среднюю, какое-то время она заметила донышко бутылки, которую он держал в руке. Она злилась на свою прилипчивую зрительную память, что без разбора копит все увиденные лица.

Сейчас она знала точно: тот человек с остановки лежал у нее ночью на раскладушке в кухне. Ее память признала его. Она, память, знала, что такой обиды лицо у сына от отца, вечно оскорбленного живущим без интереса к нему человечеством. Память же тогда угодливо подсунула ей и завиток на голове у мальчика, и она такое себе нагородила, увидев затылок разбившегося бомжа. Все так...

Но почему все-таки не сходятся у нее концы с концами, если так все складненько объясняет ум?

– Да потому что, значит, он был тут в тот день и тот час, когда погиб несчастный! – сказала Нора вслух, а Гриша во сне скрипнул раскладушкой, потому как был чуток.

Норе бы встать и сварить кофе, но как это делаешь, если кухня занята? Она лежала, громко распластав руки и ноги, она беззвучным криком кричала тому Невидимому, который, оказывается, все давно знал. «Почему ты не надоумил?» – было в тишине крика.

Вчера Гриша ей сказал, что встанет рано и уйдет тихо – у него нужная встреча. Это было вранье. Никакой встречи – надо было застать приятеля дома, до работы, потому как оставаться у Норы Гриша не хотел. А тут еще мудрое утро первым словом снова спросило его как бы между прочим: «А почему все-таки мадам не рассказала, кто ей порушил перила?» Гриша не подозревал Нору в каком-то злом умысле – боже, избавь! Но то, что такой самоочевидный, можно сказать, просто публичный факт не называется, то надо согласиться: в этом есть нечто остораживающее. Эдакое: я знаю, что ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь – до бесконечности сокрытия...

Гриша оделся тихо, умылся бесшумно, когда шел к двери, увидел сидящую на диване Нору в облачении из шахматной простыни. Вид, прямо скажем, жутковатый. Фигурки казались черными фальшивыми собачьими костями. А Норино лицо, желтоватое, стекшее к подбородку, было невероятно ярким на фоне черных по белому костей. Эдакая яркость гепатита супротив яркости замерзшего в степи.

– Ты бывал раньше в этом доме? – спросила Нора. – Если точно, семнадцатого октября?

– Я? – сказал Гриша. – Семнадцатого? Но ты же мне звонила в тот день, я был в Обнинске!

Нора засмеялась. «Так попадаются малолетки, – подумала она. – Он не может знать, в какой день я звонила... Тем более что это было не раз».

– Гриша, расскажи, как это было!

Странное у нее лицо. Она все знает, тогда зачем ей его рассказ?

– Нора, о чем ты? – смеется Гриша. – О чем? Я уже бегу! Клянусь Богом, я тут никогда не был, ничего не видел, ничего не знаю! – А сам уже крутит в замке ключ. Этого ему еще не хватало, тем более если Ольга сбежала, и никто не подтвердит его слов о том, что он пошел тогда за бутылкой. Нора, получается, его видела. Но что она видела? Что?

– Ты стоял на нашей остановке, в руках у тебя была бутылка, у тебя было испуганное и злое лицо... Я шла и думала: чье это лицо? Чье? Ты очень похож на своего отца. У него было такое же выражение, когда его не утвердил ВАК.

Что она сравнивает, идиотка?

Дверь наконец поддалась, и Гриша подумал, что именно этой идиотке он мог рассказать все, что было на самом деле. Если б она не соврала первая. Но она соврала. Все вокруг растет из одного корня – лжи. Все врут налево и направо. И он такой же. Денег на этом не наживает, но и врагов тоже. С кочки на кочку, с кочки на кочку... Я иду по ковру, ты идешь, пока врешь. Я – ты, он – она, вместе целая страна...

– Нора! Я бегу! Закрой за мной.

Она идет к двери. Гепатит и фальшивые косточки.

– Гриша! Расскажи мне! Расскажи. Ты же знаешь.

– Целую вас, Нора! Ты такая фантазерка!

«Он знает, что случилось, – думает Нора, запирая замок. – Иначе зачем скрывать?»

«Черт знает, что она теперь навоображает, – думает Гриша. – Еще решит, что я его скинул. Надо смываться отсюда навсегда. В милицию она не пойдет... Из-за отца... Какой никакой – я ей слегка пасынок. Зачем я пришел к ней, дурак? Зачем?»

Виктор Иванович Кравченко, стоявший у подъезда, не оставил у Гриши сомнений в истинности именно этого умозаключения.

5 НОЯБРЯ

Витек знал, что мужчина остался ночевать у артистки. Когда он вернулся в общежитие после того, как у нее погасли окна, у него свело в желудке. Посидев без толку на толчке, он понял: болит не там. Пальцем он подавил себе живот сверху вниз и с запада на восток. Боли как бы не было, но одновременно она и была. Тогда он решил, что просто голоден и надо поесть. В холодильнике стояло молоко и лежал кружок чайной колбасы. Он откусывал от круга и делал глотки прямо из пакета. Через пять минут пришли отвращение и тошнота.

«Надо следить за пищеварением, – говорил капитан-психолог, – камни кала могут способствовать неправильности исходящих мыслей».

Витек лег на живот, дыша открытым ртом в подушку. Отвращение сосредоточилось в бегущей слюне, но почему-то стало легче мозгам. Он сумел заснуть как был, одетым, лицом вниз, а когда проснулся, то уже знал, что будет делать. Он ее спросит по всем правилам, и пусть она ему ответит по ним же. Пришел со смены Поливода и стал разу-

ваться. Слабым внутренностям Витька вид мокрых ступней товарища был уже не под силу.

У подъезда артистки он столкнулся с выбегающим мужчиной. Тем самым, которого он приметил вчера.

– Предъявите документы, – не своим голосом сказал Витек, потому что не ожидал встречи – раз, а два – он еще ни разу не требовал предъявить вот так, что называется, на ровном месте.

У Гриши тряслись руки. Это было очень заметно и приятно сердцу милиционера. Хотя паспорт был как паспорт. Прописан в Челябинске.

– Вы тут по какому делу? – спросил Витек.

– Был у знакомой. Проверьте. – Далее случился казус. Гриша по нервности назвал номер квартиры Ольги. Витек переписал данные и отпустил Гришу. Только у квартиры Норы он увидел, что ему назвали другую квартиру. Этажом ниже. Витек сбежал вниз и изо всей силы позвонил в дверь Анны Сергеевны.

Анна Сергеевна проснулась оттого, что сверху громко хлопали дверью. Вечером у артистки долго не спали. Грохотали в кухне. Двигали мебель. Она собиралась, одевшись, подняться и сказать той об этом.

С того дня, как Анна Сергеевна «пасла работяг» в квартире Норы, она успела взрастить в душе приличного веса ненависть. Конечно, формально все началось как бы с шахматного белья, но Анна Сергеевна была воспитана в понятиях и отдавала себе отчет: само по себе любое постельное белье не может быть причиной такого сильного чувства. Но

если бы только белье! У нее в ноздрях до сих пор запах Норинной кухни, не едный, горелый, кофейный – что было бы понятно, – иной. Она ей сегодня скажет про ночные стуки-грюки, скажет прямо глядя в лицо.

Вот тут и позвонили в дверь.

Сколько времени прошло, как пропала ее кочерга, место которой было у дверного проема! Она ее специально привезла из деревни, взяла в брошенной избе, из которой люди уволокли все что можно, но кочерга – предмет в хозяйстве единичный: если у тебя уже есть одна, зачем тебе вторая? Вот Анна Сергеевна и привезла никому не нужную вторую в столицу и приставила к стеночке у самой двери. Идешь открывать, а кочерга так складненько ложится в ладонь. Наверняка ее куда-то затырила Ольга, но зараза уехала, и ни слова, где ее теперь черти носят, в какие края подалась?

– Кто там? – громко закричала Анна Сергеевна, силой голоса возмещающая отсутствие кочерги.

– Это участковый, – тихо ответил Витек.

Он был весьма обескуражен неправильностью номера квартиры. Его охватил злой гнев, но капитан-психолог учил: «Тем больше тише говори, чем больше громче у тебя накопилось».

– Чего тебя с утра пораньше принесло? – спросила Анна Сергеевна. – Кочерга куда-то задевалась, а то б я тебе устроила сейчас ужас.

Слово ударилось об Витьку и рассыпалось на буквы. Он собирал их вместе, но получалось как в детской игре – «агречок».

И тогда нарисовалась картинка: чья-то нога в линиялой джинсе отбрасывает кочергу. Он шел и думал: «Абсолютно бессмысленный предмет для жизни в большом городе».

Его тогда подвезли по дороге. На происшествие. Он вылез из машины, шел... А тут нога. Штанина. Движение носком ботинка. Бряцанье. Тот самый день.

Витек бежал вниз, забыв о лифте.

Анна Сергеевна кричала ему вслед, забыв, что рано утром на площадке не кричат.

Нора стояла, обмотанная простыней, – сердитый крик Анны Сергеевны вслед милиционеру совпал с ее внутренним криком обо всем сразу: о Грише, который врал, о Вадиме, который оставил томагочу, о бомже, который, видимо, не бомж, потому что Гриша наверняка его знал, но Гриша бежал от ее вопросов, едва не сломал дверной замок. «О боже! Боже! Прости меня!» – кричит Нора голосом Анны Сергеевны.

Удивительное – рядом. Отпнутая Гришей кочерга так и лежала в канаве двора. Железяка она и есть железяка. Витек взял ее грязную своей чистой рукой и пошел в подъезд.

«Мыслительный процесс может начаться с любой никакой мелочи, – говорил капитан-психолог. – Нельзя исключать даже следа мухи».

На девятом этаже он снял с лифтовой шахты лестницу-стремянку. Вместе с нею и кочергой он вернулся к Анне Сергеевне. Та так и стояла у две-

ри, другие квартиры тоже были открыты. В проемах замерли вызванные Анной Сергеевной, на всякий случай, свидетели.

Этого Витек не ожидал, он не собирался ставить эксперимент на глазах у посторонних. Он ведь решал личную, глубоко задевшую его внутреннюю задачу. Поэтому, войдя к Анне Сергеевне, он, во-первых, выяснил, ее ли кочерга у него в руке, а во-вторых, предложил ей закрыть дверь, потому как «тут вам не театр». Причем эта его фраза к мыслям его о Норе отношения не имела никакого, это была бытовая, обиходная фраза типа: «Не ваше дело» или «Кто тут последний?»

Анна Сергеевна радостно узнала в лицо кочергу, но назад ее не получила, так как вместе с Витьком и стремянкой кочерга отправилась на балкон.

– Он тогда от вас шел, – сказал Витек. – Я видел след. И я вас еще потом спрошу, кто он...

– Кто он? Кто? – Анна Сергеевна испугалась не слов – тона голоса. Было в нем что-то пугающее, некая настырность: бедная женщина вдруг поняла, что не знает, с какой стороны ей оборониться и какую часть себя прикрыть.

Витек же как раз все знал очень хорошо. Он верил, что у него получится. Он взойдет к актрисе через балкон и, значит, докажет возможность такого пути. И тут не важно – зачем? Важно: к ней шел убиенный.

Потом он разберется с хозяйкой кочерги – тут налицо уже все улики! Стоя на стремянке и кочер-

гой отодвигая рубероид с тумбочкой, Витек сказал прямо в открытый рот Анны Сергеевны:

– Кочерга служила зацепом в квартиру артистки. Но ограда была на соплях.

Анна Сергеевна завывала жалобно и тонко, потому что правда милиционера всегда была и есть выше правды простой женщины-пенсионерки, которой вовек не доказать, что в ее дому сроду не было посторонних мужчин, охочих до актрис.

Но кочерга, кочерга... Плач о непонятном выходил из Анны Сергеевны жалобным вытьем. А чем же еще он мог выходить?

Нора несла на балкон мокрое полотенце. Иссекла себя горячими и холодными струями, а толку чуть. Шла в распахнутом халате. «Сейчас схвачу воспаление легких, – думала. И тут же: – А пусть! Пусть воспаление! Отчего-то ведь умирать». Он вырос, как лист перед травой, – гордый, грязный и с кочергой.

Она не испугалась. Она заплакала. Мог ли Витек взять себе в голову, что был третьим человеком на земле, способным прослезить Нору на ровном месте и сразу. Первым был Феллини. Вторым – Альбинони. Третьим оказался Виктор Иванович Кравченко с кочергой и при исполнении. Дальше история смутная. Ибо все не ясно. Могла бы Нора кинуться на грудь Феллини, взойди он к ней через окно? Но на грудь Витьку женщина кинулась. И было тут все сразу: и понимание отваги милиционера, проделавшего путь, который для другого оказался последним; и плач по Вадиму и бессмыслен-

ности его смерти; и тревога-обида о выросшем мальчике с рысьими ушами... Да мало ли...

Этот же был живой, теплый и грязный. Но главное – живой!

И он, живой, проделал весь путь, чтоб объяснить, насколько она не виновата в том, что мертвый человек обнимал ее полотенце.

Она так любила сейчас этого молоденького отважного дуралея, который пришел снизу. И теперь можно никому не говорить о Грише. Пусть его! И можно объясниться с соседкой, этой запалившейся на нее неизвестно за что женщиной. Она поговорит с ней потом. Обязательно.

– Голубчик вы мой!

Стоя в полураспахнутом халате, Нора прижимала к себе грязную форму Витька.

Витек же опустил глаза и увидел эти экранные белые ноги, которые отделяла от него грубошерстная ткань штанов. Он перестал себя понимать. Каким-то бесшумным, почти вкрадчивым движением он освободился от кочерги. Облегченная рука взяла на себя руководство ситуацией. Он не подозревал о ее храбрости: «Дурачок, ты ничего не умеешь», – смеялась Нора. Для действующего в неизвестной обстановке Витька это не имело значения. Пусть говорит, что хочет. Правда, другой Витек, тот, что остался как бы в пределах кочерги, был сцеплен зубами и запоминал все слова женщины. Уже зная, для чего они ему пригодятся.

– Какой ты запущенный, – смеялась Нора. – Давай я тебе вымою голову! – Еще она предлагала остричь

ему ногти, почистить лицо – «У тебя угри, мальчик!», – сделать другую стрижку. Пусть говорит...

Расслабленный и опустошенный, он, казалось, уснул. Но что-то сильное, мощное толчками снова рождалось в нем...

Женщина поняла это неправильно и легко засмеялась своей проницательности. Откуда ей было знать, что толчковая сила гнала его не к ней, а от нее. Витек видел дверь, в которую он должен выйти. Там, за дверью, он поймет себя лучше, да просто станет самим собой, чтоб никакая б... Сказал ли он это вслух или просто громко подумал?

– Да остановись ты! – смеялась Нора. – Я не ем молоденьких.

Народ подъезда был на месте. Народ ждал. Солировала Анна Сергеевна. Она уже несколько раз повторила историю про то, как не спала ночью, про шум и бряк «у этой». Она объясняла, что милиция «не там ищет». С нею не спорили.

– Два случая с одного балкона, – кричала Анна Сергеевна и показывала людям два пальца, как бы не веря в силу слова произнесенного. – Два! – повторяла она. – Два! – И осеняла толпу своим двухперстием.

– Разойдись! – сказал Виктор Иванович Кравченко, увидев все сразу. Он произнес это слету, как первое попавшееся, и попал в точку. Они отпрыгнули – шаг в сторону сделал каждый. Только Анна Сергеевна не тронулась с места. У нее занемела правая нога и стала совсем неживая. «Как протез», – подумала она. И еще пальцы. Два вытянутых

вверх для убедительности пальца не сжимались. Она испугалась не этого, а того, что люди заметят! И она улыбнулась им всем половиной лица, не понимая кошмара своей улыбки.

Нора поставила на место рубероид и прижала его тумбочкой. Она видела людей внизу и уходящего милиционера. «Не побоялся», – думала она о нем с нежностью. И еще она думала, что, освободившись от несуществующей вины, она сможет, наконец, оплакать Вадима. Раньше не могла. У нее не получалось. Она поставила забытую кочергу у двери, чтоб, когда придет Виктор, не забыть отдать.

На слове «придет» Нора затормозила. Разве он нужен ей, этот мальчик? Нет, ответила она, это я ему нужна. Он такой запущенный. Он придет.

И тут она вспомнила еще одного мальчика, которого однажды всего миг видела по телевизору. Давным-давно, когда были приняты пафосные концерты детей в честь съездов партии. Стоял в приглушенном свете детский хор на сцене и ждал взмаха дирижерской палочки. И вдруг из первого его ряда вышел маленький мальчик и слепо, пошатываясь, пошел в темноту зала. В последнюю секунду, уже перед ямой оркестра, его перехватила выскочившая из-за кулис женщина и унесла на руках. Не дрогнул хор. Не вскричал зал. Не сбилось время концерта. Нора часто вспоминала этого ребенка. Что с ним было потом? И что произошло с его сознанием, когда он вышел из строя? Что потянуло его в черноту неизвестности? Маленький запутавшийся хорист... Может, ему захотелось по-

писать? Или он забыл, где он и кто? Возможно, теперь у него рысьи уши. Возможно, он стал милиционером. Возможно, он не вырос вообще.

Нора смеется. Какая мальчиговая дурь сидит у нее в голове. «Нет! – говорит она себе. – Этот здесь ни при чем!»

Как говорит ее абсурдистская героиня? «Пьеса банальна, а могла бы быть привлекательней, по крайней мере, познавательней, правда ведь... но...»

«Но» и «как бы» – ключевые слова нынешней речи.

Нора корчит гримасу. «Дура...»

5 НОЯБРЯ

Та сила, что толчками выталкивала из Витька расслабленность тела, завершила дело победой. По улице шел уже хорошо сконцентрированный милиционер. Все фишки стояли в нем по местам. Во-первых, он раскрыл тайну, как разбился бомж. Оказалось – элементарно! Тетку с кочергой он прижмет теперь в два счета. Она определенно навела убитого на артистку. Больше некому. Во-вторых, эта самая Лаубе...

Если думать именно так – Лаубе, то можно победить в себе эту оскорбительную слабость. «Идя на задание, на выполнение долга, нижний член оставляй дома, чтоб не болтался между ногами». Капитан-психолог любил эту тему – низа и верха – как в милиционере, так и в простом человеке. «Преступления во имя низа и во имя денег – первые в нашем деле, – говаривал он. – Но низ в деле

преступности хуже. Он есть у каждого в отличие от денег».

Витьку почему-то сейчас, когда он шел домой, все это казалось каким-то глуповатым, что ли... Он вспомнил капитана, его клочковатые, взлетевшие высоко вверх не по правилам брови, и это пространство между бровями и глазами... Непонятное пространство, не обозначенное никаким словом. Не придумали люди слова? Или не сочли необходимым называть диковину в строителстве лица капитана? Но кто он такой, чтобы ломать мозги для названия места на лбу начальника? Ладно, пусть... Пусть капитан не силен в словах. И пусть даже глуповат, но суть он знает. Ведь получается, он заранее предупредил, что наступит момент, и Витек ослабевает перед женщиной Лаубе. Это ж надо иметь «такое фамилие!». Второй раз за последний час он споткнулся на странности фамилии артистки и испытал приближение открытия.

Первая его женщина – продавщица сельмага Шура – в глаза не смотрела и отдавалась в подсобке с легким отвращением к самому процессу. Не жалко, мол, на! Когда на третий раз Витек заметил, что тело Шуры отвечает ему, он больше не пришел. Это совпало с уходом в армию, то да се. И Шура, скорее всего, не заметила, что Витек больше не пришел не потому, что его забрали, а по более тонкой причине. Потому что всхлипывать телом и широко открывать глаза женщине ни в коем случае не следовало.

С тех пор так и пошло. Возникали тихие, безответные тетки или равнодушные девчонки, выдувающие жвачные пузыри. Девушка из Белоруссии была не такая, с ней у Витька ничего и не случилось. Этим и еще в разнотык растущими ресницами она и запомнилась.

Витек не верил в Бога. Хотя временами Бог беспокойно задевал Витька. Его в жизни стало больше – целования, рысы, заунывное пение. Витек хотел понять, зачем это людям, если ни одного доказательства?! Ведь никакого безобразия Бог не остановил, ни от чего страшного не уберег? Поэтому Витек, голова которого не вмещала существование Бога, всегда радовался приметам его отсутствия. Ага, ураган! Ага, дите в колодец провалилось! Ага, и СПИДа дождалась! Так где ж Ты есть, когда Тебя нет?!

Получалось, что Дарвин ближе. И человек – животное и от обезьяны – вне сомнений, глазом видно. Но если уж надо продлевать человечество – пусть! Пусть это будет. Он согласен. Но без обезьяньего шума. Тихо. Женщина под мужчиной должна быть как бы мертвой.

Эта Лаубе практически стояла перед ним голая. Она сама, первая, прижалась к нему длинными ногами. Она лапала его. Она смеялась и подсказывала ему, что и как... Она в этом участвовала без стыда!

Стоя под душем, Витек плакал, потому что не мог отделаться от наваждения воспоминаний. Он боялся, что пойдет к ней вечером. Он вспомнил, как стоял у ее дома тот покойный старик с букетом «в юбочке». Витек понял, как близок к такому же

позору ожидания. «Лучше смерть», – подумал он и испытал странное облегчение от возможности выхода из всего этого при помощи смерти.

Он даже запел что-то вроде «Никогда, никогда я тебя не забуду». Он слышал эту сладкую песню в кино, кино в армии, ему понравилось.

Сейчас он пел без слов, мыча и высвистывая zapomнившийся мотив.

Пусть она еще раз сделает с ним, что хочет. Эта Лаубе, нерусский человек. Он позволит ей все ее умения.

Витек всхлипывает. Его организму жалко Лаубе. Ему хочется ее трогать и нюхать. Но он не хочет быть животным! У него есть понятия. И он ставит их впереди себя.

По телу бежит вода, и тело ему не подчиняется. Оно живет своей жизнью, жизнью восторга. Оно просто расцветает на глазах у всех его понятий.

Витек кричит в отчаянии счастья.

7 НОЯБРЯ

Вечером он купил в киоске запаянный в целлофан цветок. Витек не стал спрашивать, как его звать, не гоже это. У цветка была жирная головка, а по ней как бы разбежались сосудики с кровью. Гнусным был желтый язык тычинки, что подрагивала изнутри нагло неприлично. «В мозги лезет одна похабель, – подумал Витек. – В конце концов око за глаз – это справедливо», – скажет он капитану-психологу, когда придет его время говорить.

Пока же он идет, положив целлофановый цветок под куртку. Он потому и куплен, хоть и дорогой, что незаметно спрячется на груди.

И еще потому... «Слышишь, капитан? Как я все предусмотрел. Цветок на груди – мое алиби».

Когда он позволит Лаубе еще раз – всего один раз! – тронуть себя, он столкнет ее с балкона, но так, что никто на свете «не догадает его». Ибо милиционеры не покупают цветы неизвестных названий. «Некоторым живым, – скажет Витек капитану-психологу, – полезно быть мертвыми».

И пусть капитан с ополоумевшими бровями найдет, что ему на это ответить!

– Ну, – возможно, скажет он (он же не стерпит смолчать), – ты прямо мыслишь, как существуешь...

1999

Подробности мелких чувств

В ноябре он получил шестьдесят три рубля сорок шесть копеек. В ноябре всегда бывало негусто. Графоман как бы опоминался после гением обозначенного творческого запоя в октябре. Опоминался и замолкал, стесняясь марать бумагу и слюнявить конверты. Это совсем не походило на летнее затишье, когда пыхтит варенье, набиваются набойки для школьной поры и стихотворцев приспособливают к делам простым. Все знают: потом они возьмут свое. В сентябре и ноябре. В ноябре же было именно опоминание: обкусывая до мякоти ногти, слабая от дистонии, поэты и прозаики ужасались приближению еще одной бесславной зимы их жизни.

Таковы вкратце законы периодизации творчества, и не вами они писаны.

И все-таки, все-таки... Меньше восьмидесяти у Коршунова не выходило ни разу. Даже в клубничный июль. Всегда сохранялось количество пишущих для дальнейшей жизни и деятельности Коршунова. Как в природе. Для кошек – птички. Для птичек – мошки. Для мошек – что-то там еще... И так далее...

Для Коршунова – графоман как средство выживания.

Но как выживешь на шестьдесят три рубля и сорок шесть копеек? Ведь он даже копейки не оставял в кассе, как другие. Мелочь, мол, девушка, не надо! Коршунову было надо. Еще как...

Первая мысль – взять у кого-нибудь пятнадцать рублей, приплюсовать и принести домой. Хоть, мол, и бедно, но стабильно. В редакции, с которой он начинал, осталось человека четыре, да и то техсостав – машинистки да стенографистки. Остальные были новым народом. Этот народ пятнадцать рублей деньгами не считал, и именно поэтому – именно поэтому! – просить их было стыдно и противно. Наверняка дали бы, но как? В общем, не мог он обращаться к этим внукам революции. Нечего им знать, до какой степени он гол как сокол.

Он тут как-то булькнул одному «внуку». Так, между делом, расслабился дурак. Шестнадцать пьес, мол, лежат в фибровом чемодане, в котором покойница мама хранила реликвии своей жизни. Случилось невероятное – очки у «внука» потемнели, и Коршунов, хоть и знал хамелеоньи свойства стекла – в широкое окно редакции как раз влезло солнце, – но это было несчитово. А считово было возникновение преграды. Там где-то в матовом сумраке, конечно, жил этот парень, но это было другое пространство. И Коршунову там не черта было делать. Рассказывая об этом Марусе – тоже идиотия, ей зачем? – он охарактеризовал свое состояние так: «Понимаешь, я обвис...» Такое нашел определение. А Маруся на это поджала губы, уронила крышку от кастрюли. В общем, Коршунов идею пятнадцати рублей займа у нового поколения отверг. Напрочь.

Получилось скверно. Он принес могучий заработок домой, выложил его на кухонный стол весь

до копеечки стопочкой и соорил рожу Марусе: вот, мол, жена, плохая у мужика случилась охота.

Пятнадцать лет он жил с Марусей, думал: знаю вдоль и поперек, оказалось – не знал. Знал бы – не поперся бы в кухню, а ушел бы на балкон, забился бы в угол к ящикам и коробкам и ждал бы, когда жена сама за ним придет, закричит, что балкон висит на одном гвозде, а он его расшатывает своими нервами. И тогда он выложил бы ей шестьдесят три рубля сорок шесть копеек, она вздохнула бы тоненько и сипло и сказала бы, что сил у нее больше нет, до каких же пор, и тэдэ и тэпэ, но все бы это прошло тускло и почти мирно, и они сели бы в конце концов ужинать, и он бы стал нажимать на хлеб, избегая колбасы, а она, естественно, расстроилась бы по этому поводу и закричала бы на него, что не хватало ей еще его дистрофической язвы, что пусть ест, пока что-то есть, и так далее, и так далее. А ночью она бы его обняла и, сопротивляясь себе самой, сказала, что да, да, любит его, дурака, потому что не любя разве можно с ним, с таким, жить? Именно любит! Именно дура!

Но, повторяю, так могло бы быть, если б Коршунов что-то понимал в своей жене. В тот день заходить к ней в кухню было нельзя категорически! И тем более бряцать этим своим заработком.

Маруся внимательно, брезгливым мизинчиком пересчитала брошенные веером (ишь, какой Рогожин Советского Союза, ишь, какой ухарь-купец!) десятки. Сначала справа налево, а потом слева направо. Сумма, как и следовало ожидать, от переме-

ны направления не изменилась. Тогда она подняла на него свои глаза, и он почувствовал, как охватило его стыдное страдание. Взгляд Маруси был пустой, совсем пустой, как будто его, Коршунова, не было тут вовсе, и денег этих жалких тоже не было, и вообще не было ни-че-го. Ничего не было у этой уводящей от унылой жизни женщины, и она уже давно смотрела в пустоту как в единственную реальность. И, может статься, когда-нибудь Маруся возьмет и уйдет в эту пустоту, чтоб не вернуться никогда, потому что она уже готова, совсем готова, она уже – пожалуйста, и, может, только Коршунов во вторую очередь, а в первую – Аська держит Марусю на земле, поэтому надо было как-то намекнуть застывшей и готовой для перехода Марусе, что он, Коршунов, еще здесь, так сказать, в наличии.

– В ноябре всегда так, – сказал он как можно беззаботней. – Поэты в ноябре замирают.

Вот это было напрасно. Вот это было самое что ни на есть – не то. *Так, такими словами прикрыться.* Пустой Марусин взгляд обрел какой-то смысл, и Коршунов сдуру обрадовался, что, кажется, может быть... Одним словом, ну поорет Маруся, ну наплачется, но ничего другого страшного не случится. Не случится пустоты.

И он освобожденно развел плечи и даже слегка крикнул и зашевелился собственным телом в собственном доме, ощущая его надежность в момент ударившей рядом – рядом! – но все-таки пролетевшей мимо молнии. И пока он секундно радовался освобождению, он упустил момент, когда ловко

и быстро Маруся сгребла в кулак деньги и рванула в уборную. Ну а дальше – совсем смешно. Она спустила воду.

– Катись к чертовой матери! – крикнула Маруся. – Тунеядец проклятый! Кормилец фиговый! Шекспир трахнутый! Чтоб мои глаза тебя больше не видели с твоим заработком. На паперти собирают больше! Графоман несчастный!

Про Шекспира уже было. И про паперть тоже. Про тунеядство звучало. А вот «графоман» – слово было запрещенное. Для Маруси. Сам Коршунов в отчаянные свои минуты задавал себе этот вопрос. Но даже он не пробовал это слово на язык, он воспринимал это слово начертанным на запотевшем окне, как дурное слово в своем детстве, когда он, простуженный и гундосый, стоял у окна и чертил на нем стыдно влекущие буквы заборов и уборных, а написав их, тут же испуганно стирал, потому что, изобразив их, всегда испытывал тошноту и противность. Вот и слово «графоман» виделось ему на одно только мгновение и сразу – гадость во рту, тошнота, и нет слова, и никогда больше, и все, все, все... Теперь же это слово, сказанное Марусей, разбилось на мельчайшие осколки и кололо его во все места сразу, и это было ужасно. Кололо в ступне, в ухе, в горле, в паху, кололо в груди, в ладонях, пронзало в солнечном сплетении, хотелось скрючиться, окуклиться, застыть в глухоте и бесчувствии, поэтому никак, просто никак он не отреагировал уже на другой – диаметрально противоположный поступок Маруси.

Видимо... Видимо, деньги не смываются так просто... Во всяком случае Маруся, опомнившись, уже с другими словами-криками выуживала из унитаза деньги и бережно раскладывала на полу для просушки десятки и тройки. И теперь она причитала над ними, мокрыми, а Коршунов, схватив с вешалки ветровку и сумку, старался сунуть ноги в кроссовки, не развязывая шнурков, потому что пальцы у него онемели.

– Зараза! – крикнула ему вслед Маруся. – Чтоб я тебя больше не видела.

Если бы у Коршунова не болело все тело и он был способен воспринимать что-то еще, кроме колющей, пронзающей боли, он бы уже услышал в голосе Маруси другие тоны и оттенки. И «говнюк» звучало почти как «любимый мой». Да, да, говнюк – конечно, кто же еще? – но ведь куда денешься? Однако ничего этого Коршунов не слышал и не понимал, он бежал из своего дома, как из пыточной камеры, и, верно, чем дальше он был от дома, тем слабее было колотье, тем быстрее отпускало. В каком-то чужом дворе на лавочке боль ушла совсем. Коршунов только тогда понял, какой он мокрый, как он тифозно вспотел за это «унитазное время». В пору было принимать душ, но одна мысль о возвращении вызывала в нем озноб и ужас.

В принципе мысль о том, чтоб уйти от Маруси совсем, не была такой уж диковинной. С той поры как он из штата редакции сел на так называемые «вольные хлеба», оставив себе только литературные консультации для графоманов (тьфу, прокля-

тое слово!), и стал приносить домой свои жалкие копейки, с Марусей все напряглось. Пока он ночами писал на кухне, а днем, опухший от недосыпа, ходил на работу, все было ничего. Нормально, можно сказать. Бывало, он будил ее утром и читал какой-нибудь особенно получившийся, на его взгляд, отрывок, и она никогда не обижалась, наоборот, радовалась и хвалила его, защищала умерщвленных им героев и требовала их воскрешения. Она, как ребенку, объясняла ему: ты не прав, не может женщина, хоть ты тресни, полюбить гениального человека, если у него пахнет изо рта. Лучше похорони его – вот! – она даже соглашалась на смерть в первом действии. А? Правда! Похорони! Даже не так! Открывается занавес, а герой уже в гробу. Или другое. Ни одна женщина – ни одна! – не наденет лифчик раньше трусов. «Почему? Почему? – смеялся он. – Что это за закон последовательности?» А вот и закон. Вот и закон, говорила заспанная и розовая Маруся, и он любил ее в эти минуты и считал, что ему невероятно повезло. Она у него Маргарита. И вычеркивал запах, и трусы на героиню надевал раньше всего.

Потом... Потом, когда он перестал ходить на работу каждый день и завел правило ложиться и вставать рано, желание прочитать «хорошенький кусочек» как раз попадало на белый ясный день, когда Маруся горбилась в своей школе. Пару раз он сунулся с чтением к Аське, и та в первый раз, стоя, переминаясь с ноги на ногу, стерпела это, но уже во второй сказала, как отрезала: «Папа, ну скучно мне,

скучно! Что я тебе, Арина Родионовна?» Тогда он, испытывая неодолимую потребность в слушателе, стал читать Марусе вечерами, но та взвизывалась с пол-оборота. И устала она – не все ведь лафу имеют дома сидеть. И не воспринимает она сейчас на слух – у нее в ушах школа гудит. И вообще – какая это у него драма-пьеса по счету? Надцатая?! И что он от нее хочет, каких реакций? Вышли реакции, Коля, вышли и назад не вернулись.

Такой получался момент творчества – примитивный и гнусный. Подчиниться ему – значило конец, конец сознанию, что ты не тят-ляп, не пальцем сделанный мужик, не тряпка-поломойка, не, не, не... Он изо всех сил старался жить так, чтоб никто, ни одна сволочь не ткнула в него пальцем как в неудачника, а главное, наиглавнейшее, чтоб так не думала Маруся...

Он решил готовить обеды. Ведь верно же – дома сидит. Маруся на порог, а он в фартучке и самодельном поварском колпаке накрывает ей стол, вилочка – туда, ножичек – сюда. И сок давил специально к приходу, живой такой сок делал: Марусечка моя, Маргариточка. Бывало, она даже смеялась, бывало, даже ценила: «А хорошо, черт возьми, когда тебе супчик сварен». – «Не только, не только, – отвечал он. – У нас еще и оладушки».

А денежки – тют-тют... Кончались задолго до дня Х. И ни фига в эти дни не писалось. В общем, недолго продержалось счастье на поварском колпаке. Он все делал по-прежнему, но уже без «вилочка сюда, ножичек туда». И Маруся не смеялась боль-

ше. Хлебала, не подымая головы, и тарелку отодвигала с выражением «а пошла ты...» Будто бы тарелке, а ведь на самом деле – ему.

Надо быть справедливым: Маруся держалась дольше всех. Потихоньку ушли из его жизни, как со скучного спектакля, все... Поэтому Коршунов, сидя на лавочке в чужом дворе, очень конкретно подумал, что если... Если шагнуть секунда в секунду, то все может получиться мгновенно и с двойной прочностью. Есть шанс попасть на контактный рельс, а если нет, сам поезд довершит тобой задуманное. И по времени это раз, два, три – не больше. Это не с крыши, когда пока летишь – умрешь от ужаса. В метро же надо только четко, секунда в секунду шагнуть, когда поезд совсем рядом.

Сделал же Коршунов другое. Поехал к тетке, объяснил, что ему надо уединиться для работы в ее завалюхе-даче, и тетка, которая прежде, когда он клянчил дачу для дочери, отвечала категорическим отказом, на сей раз обрадовалась столь удачно подвернувшемуся сторожу. Время пошло бандитское, живи в городе и переживай, не спалят ли домик в Коломне, не разнесут ли! Тетка, чуть не приплясывая, принесла ключи и затараторила про дымоход, про дверь, которая оседает при сильном запахе. Ты осторожней, Коля, осторожней. Входи, голубчик, бочком. И вообще, вся дача тебе, Коля, не нужна, она холодная, а уже – смотри – ноябрь. Живи в кухоньке, она у меня невеста-светелочка. Там и стол-столок, и диванчик-лежачок, и чашки-тарелки. А казанок, Коля, у меня в духовке.

На месте выяснилось, что двери в «горницу» предусмотрительно задвинуты буфетом, да и не стал бы он туда ломиться. Бог с ней, с горницей, если б не необходимость одеяла. Диванчик, диванчик, диванчик-лежачок, но укрыться мне чем-то надо? Под голову положить надо? Ведь не рассказал он тетке, что не просто уединяется, а уединяется от Маруси и скорее всего навсегда. Знай тетка, что он без своей постели туда едет, еще неизвестно, обломился ли бы ему ключик и замочек?

Ворвавшись без благословения в запрещенную ему часть дачи, Коршунов нахватал всего: и подушек, и стеганое, пахнущее детством и травой зеленое одеяло, и безразмерные грубой вязки теткин кофты, и кой-какой стратегический продукт типа пшена и риса, и аптечку с йодом и аспирином. Короче, задвинув назад буфет и протопив печку, Коршунов почувствовал в себе силу перезимовать, а там будет видно. В конце концов, вариант «раз, два, три» всегда при нем. Еще какой-то из Плиниев сказал: у человека должно быть это право. Съездил в редакцию, разжился хорошей кипой казенной бумаги. У уборщицы, которая помнила тот день, когда он еще молодой пришел в редакцию и она тогда, конечно, не молодая, но и совсем не старая, сказала ему откровенно, что по утрам прибираться она приходит рано, в семь утра, и что женщина она чистоплотная. Спроси, у кого хочешь. Так вот, сейчас, когда он попросил у нее двадцать пять рэ, она засмеялась и напомнила ему, что он сказал ей,

молодой и принципиальный: «Из общего корыта не ем!» А она засмеялась и сказала: «Ишь!»

В общем, ее приглашением он не воспользовался, хотя потом узнал, что в редакции это было почти семейным делом. Он тогда очень этим возмущался, хотя и ловил себя на мысли, что смотрит на эту уже немолодую женщину слишком уж остро. А иногда, когда дежурства заходят за полночь, силой уводит себя, чтоб не остаться и не дожидаться тех самых семи. Однажды даже было. Было. Остался. Но в семь утра приперся фотокор и, увидев Коршунова, сказал в сердцах: «Здрасьте вам!» – «Я с ночи!» – закричал оскорбленный Коршунов, и только его и видели, а на улице столкнулся с уборщицей, шла она быстро, сосредоточенно, Коршунова не заметила, и он тогда ввел этот эпизод в какую-то пьесу, но ничего хорошего из этого не вышло. В пьесе ведь нужны слова, а в жизни слов, считай, не было.

Теперь это была молодящаяся бабулька с хорошими, несмотря на возраст, ногами и плоским животом. Она спокойно дала ему двадцать пять рублей и сказала, что раньше дала бы больше, когда было *то* время и *те* мальчики. Ей он почему-то рассказал все: и про шестьдесят шесть рублей, и про Марусю, топившую деньги, и про то, что теперь у него на зиму есть кухня и пшено, так что он – кум королю и сват министру.

– Мне тоже шестьдесят шесть, – сказала уборщица. И он не сразу понял это *тоже*. Ах! Просто совпадение цифр.

Она спросила его адрес, написала его кривыми буквами на газетном поле, сказала, что завезет ему картошки и капуста. «Чего тебе еще?» – «Ничего не надо! – закричал Коршунов. – Ради бога!» – «Ишь? – ответила она. – Ишь?..»

Станным было чувство в электричке. Взяв у женщины деньги, он как бы с опозданием, но вошел во всеобщее братство ею обладавших. Что ни говори, а он все годы в редакции держался с нею надменно. Даже ненавидел ее порой за возникающее в нем чувство желания. Противно это было, что ни говори, имея молодую красивую Марусю, деревенеть при виде тетки, которая на четверть века тебя старше и, что называется, ни с какой стороны тебе не нужна. Теперь вот женщина дала двадцать пять (четверть?) и снова засмеялась, вспомнив, какой он был «молодой и принципиальный». Куда ушла его надменность? Братство, люди, братство!

Милая Клавдия Петровна... И никогда никому Клава. Вот ведь парадоксы жизни. Все с ней спят, и всем она Клавдия Петровна. А замредактора у них была, так ее иначе, как Нюрка, не звал никто. Вся была в регалиях, при машине, авантажном муже, умная, веселая, но – Нюрка. Нюрка – профессорская дочь. Интересно, а какого роду-племени Клавдия Петровна? Надо спросить, когда будет возвращать двадцать пять рублей.

Под что он, дурак, их брал? С какого ветру могут у него возникнуть деньги?

«Потом, потом... – думал Коршунов. – У меня есть зимовье».

...И было ему хорошо.

Невероятное состояние освобождения. Не надо думать о выражении собственного лица. Почему-то это оказалось самым важным. Проснулся и лежи себе с отквашенной губой и набрякшими веками. Эдакий немолодой и некрасивый. И очень хорошо! Какой есть. Можно полежать, глядя в ситцевое окошко, удивиться изобретательности тетки, из бывшего платья сварганившей занавески. Он почему-то хорошо помнил это платье. Она приходила в нем в гости, когда он был еще вполне, работал завотделом, писал статьи на «морально-этические темы», страдал от цензуры и дураков начальников, чехвостила замредакторшу Ньюрку за то, что «дело не защищает». В общем, жил в системе и был системой и теткой уважаем. Вот она пришла к ним в только что сшитом платье, Маруся зацокала: «Ах ситчик, ах, ситчик», – и вот, пожалуйста, не прошло и сотни лет – висит платьице на окошке, и он может не вставать, может лежать и думать и ждать, когда в хаосе мыслей появится та, которая отодвинет плечиком другие мысли и будет дразнить его, будет уволакивать черт-те куда, пока он не вспрыгнет и не запишет: «На-дя! На-дя! Какое странное имя. Будто дятел настучал». И он возликует и растопит печь, потому что, оказывается, этой гениальной фразы ему не хватало, и теперь пойдет-поедет, и таки поедет на самом деле, пьеса побежит как сумасшедшая, а он при этом будет оставаться в голом виде, и ему надует слева, а справа будет жарко от печки, и очень будет хотеть-

ся в уборную, «где это у вас», напишет он, и вместе с героем выскочит на улицу, под дождь, оказывается, на улице дождь, вот откуда «настучал», от него, дождя, природа родила ему потрясающие слова: «На-дя! На-дя!»

У него были сложности с именем героини. Он писал: Ирина (условно). Но какая она к черту Ирина? Ирина – это узкая ступня и торчащий резец во рту, а его героиня с приросшей мочкой и с огромным костистым пространством от шеи и до груди, эдакое плоскогорье Тибет, эдакое неправильное географическое строение со сбегавшей на юг грудью. Вот это и может называться Надей и ничем другим. Он исстрадался от невозникшего имени, от его нерожденности. А, оказывается, как просто: «На-дя! На-дя!» Будто дятел настучал...

На улице он радостно подумал, как же хорошо должно быть сейчас Марусе. Не надо его ненавидеть, а потом, стыдясь безнравственности чувства, с ним же – чувством – бороться. Ей сейчас легко и освобожденно, как в том анекдоте, из которого вывели козу. Они сейчас с Аськой кайфуют, а он кайфует здесь, как просто, оказывается, разрешаются проблемы. Но глупый, слабый человек почему-то считает своим долгом все усложнить, нагромоздить, самому забаррикадировать выход и кричать в глухую стену: «Спасите! Спасите!»

Ни разу не подумалось, не беспокоится ли Маруся, не ищет ли, не страдает. Нет! Если ему хорошо – ей хорошо тоже. Ветром ли, дождем, звуком ли, а дойдет до нее сигнал, что нашел он имя ге-

роини. И она перестанет говорить эти свои глупости: «Ну какая разница? Какая разница, как человека зовут? Разве дело в имени?»

Как ей объяснить, что она абсолютная Маруся, и у нее до старости лет будет тонкой шея, а подбородок будет беззащитным и слабым, и его всегда будет хотеться взять в ладонь, чтобы смять и вылепить из него что-нибудь покрепче, и именно поэтому, из-за слабости шеи и подбородка – закон равновесия, – в Марусиных глазах всегда злинка и ядовитость, всегда готовность к отпору – ну уж, ну уж! Не так я слаба, люди, не так, не судите по шее.

– Но я ведь еще и Маша! И Маня! – смеялась Маруся. – И Машура-Шура, между прочим.

– Нет, – говорил он. – Ты Маруся. А была бы Шура – у тебя бы размер обуви был тридцать девятый, а на талию не хватало бы резинки.

Конечно, все это хохма! Надо же что-то говорить. Но Коршунов знал – есть в наречении божественная тайна. И уборщица будет Клавдией Петровной, а профессорская дочь Ньюркой. «И чего это я про них вспомнил? – подумал Коршунов, телепаясь из уборной к дому, не зная еще, что в мироздании, ведающем дождем, именами и человеком, бегущим из уборной, никакой тайны нет. На крыльце стояла Клавдия Петровна. Коршунов чисто автоматически стал искать рядом с ней сумку с картошкой – было же сказано, принесу, – но сумки не было, Клавдия Петровна пришла пустая.

И тут Коршунов испугался. До ужаса. До сердечного спазма. До потери речи.

И зря. Потому что добрая душа Клавдия Петровна тут же, с порога сообщила ему, что его разыскивает режиссер Театра Номер Один Всего Советского Союза, что он, народный, обыскался его, Николая Коршунова, и уже достал всех в редакции и дома, и что между Марусей и Нюркой шел телефонный перезвон, где он? И люди недоумевают: написал пьесу – так сиди с вымытой шеей, жди, вдруг понадобится. Коршунов же смылся, как будто ему и не надо. Клавдия Петровна все это слышала, сейчас рассказала, как смогла, и в конце добавила, что не призналась, что знает, где он. «Может, зря? – спросила она. – Прислали бы машину. Но я, Коля, подумала: а тебе это надо? Если ты спрятался?»

Коршунов едва не закричал: не надо! Не надо! Вчера было надо, позавчера, третьего дня. Где ты был, народный режиссер, когда Маруся смывала мой заработок в сортир? Где ты был? Не прочитал еще? Не брещи, суче? Пьеса у тебя уже года три валяется. Она уже и не пьеса, а так – вымысел один. Иллюзия...

– Ты поезжай, вроде ничего не знаешь, – надоумила Клавдия Петровна. – Пусть они сбиваются с ног, а ты просто мимо шел...

Коршунов был потрясен. Это же надо так именно придумать. А он бы сдуру стал сейчас ломиться в служебные двери театра: это я, мол, я! А, оказывается, надо мимо идти и чтоб народный из окошка вываливался, крича: «Вернись! Вернись!»

– Тогда я приеду завтра, – сказал Коршунов.

– А выдержишь? – спросила Клавдия Петровна.

– Еще как! – засмеялся Коршунов.

Клавдия Петровна тут же встала, и он ее не задерживал, зачем? Она ушла в дождь, и ему стало неловко, что, в сущности, даже спасибо не сказал женщине, даже чаю не предложил. Хотя какой чай? С чем?

Но уже через десять минут он понял, что ничего из затеи «красиво переждать» не выйдет. Ловко придуманное имя абсолютно не вдохновляло на работу. Совсем другие, разные мысли повывлезали из щелей и потащили его черт-те куда. Он знал дикие места тайных мыслей, где у него успех, и слава, и деньги, и черный костюм с бабочкой, и хорошо подстриженная голова, где он небрежно и изящно дергается в полупоклоне раскаленной черноте зала. В пятом ряду слева у его всегда сидит Маруся. И глаза ее находятся в полном соответствии с подбородком – слабые, беспомощные, влюбленные. Он, сильный мужчина в ярком освещении, уже освободил ее раз и навсегда от школьной унижительной каторги, и у нее идет другая жизнь. Она избавилась бы наконец от черной аптекарской резинки, стягивающей волосы в жгут, и они волной упали б на плечи.

Одним словом, уже через пятнадцать минут Коршунов был на платформе и увидел Клавдию Петровну, которая пряталась от дождя под козырьком ларька. Пришлось обогнуть ларек сзади и, купив билет, скрыться в зарослях неизвестной флоры и думать мелкую мысль, как бы не попасть с Клавдией Петровной в один вагон.

«Каков человек гусь», – думал Коршунов, старательно уходя в мысли от конкретных поступков в обобщение. Строгого суда над собой, человеком, не получалось. Так, снисходительные аташки самому себе за отношение к бескорыстной Клавдии Петровне и снова глубоководное обобщение: «Хотел бы я найти человека, который не рванулся бы с места, позови его Театр Номер Один Советского Союза».

И Коршунов хищнически оглядел электричку, ища какую-нибудь мокрую курицу, которая способна была бы не рвануться. Куриц было много, но глаза у них оказались стремительными и жесткими, как будто они и не курицы вовсе, а соколы, готовые на смертный полет. Хорошей закалки и выучки ехала в электричке птица. Коршунов даже засмеялся, даже некая пьеса заколебалась в воздухе, и даже словесный гибрид возник – курьегерь. Надо же! Но кольхнулась пьеса, возникло глупое слово, и запахло паленым пером. «Куриный источник», – смеялся над собой Коршунов. – Пьеса будет «Куриный источник».

Не следовало приезжать, не следовало... Никто, ни один человек ничего в редакции не знал. Ни про поиски Коршунова, ни про театр. «Не, старик, не... Я не в курсе». – «Что-то я вроде слышал, но мимо памяти...» Нюрки в редакции не было. Значит, не было и девок из ее приемной. Это такой закон жизни их редакции. Пришлось сесть в свой закуток за шкафчиком и вонзить пальцы в графоманскую кучу, которая собиралась в верхнем ящике. Вокруг бегал

народ, суетился, все-таки наступило неожиданное время, и надо было поспевать за ним, и поспевать было весело. Коршунов ловил себя на мысли, что завидует народу, что вот скажи ему сейчас: а слабо тебе, Коля? И он бы вскочил и задрал штаны и так далее, как в поэзии. Но уже достаточное количество лет – и каких лет! – его в журналистские игры не приглашали. Разве что Нюрка иногда по старой дружбе говорила: «Роди чего-нибудь для нас, а? Дай передышку нетленке». Но это так. Вежливость и Нюркина усталость. От усталости она добреет, редкое, между прочим, свойство, редчайшее, можно сказать... Вообще Нюрка – наоборотная женщина, начиная с имени и прочее.

Время же шло. И никто Коршунову так ничего и не сказал. И тогда, преодолевая непосильную тяжесть, даже плечи осели и задрожали какой-то липкой дрожью, он позвонил домой. Трубку взяла Аська. «Але-е?» – «Это я, доча!» – «Ну и что, что ты?» Такой ленивый, врасстяжечку ребенок – дочь.

В общем, она тоже толком ничего не знала. Да – тянула она – кто-то, кажется, звонил, мало ли? Тебе и раньше звонили не по делу... Что мы сказали? А что мы могли сказать?.. Нету как нету... Да никто ничего не оставил. Было бы – знала бы. «Ладно, пап, у меня дела... Пока...»

Теперь у всех такие дети. Кровь такая. Звонить Марусе? Чтоб ей, бедняжечке, в одночасье сыграть в учительской сразу три роли – для него, для родного коллектива и для высшего суда? Это ж ей надо будет найти такое слово, чтоб оно по смыслу годилось бы

для всех, и было интонационно многозначным. И где его найдешь, такое слово? В каком словаре?

Надо возвращаться под оконный ситчик. А Клавдия Петровна, старая, извиняюсь, поблядушка, приехала, чтобы просто приехать.

Мужик, мол, один, дождь по крышам стучит так, что стонут все крыши.

Коршунов так двинул стулом, что свалилась настольная лампа. Слава богу, что дура была железной, не разбилась, а засмеялась. Пока водворял на место, зазвонил телефон. И мужской, ломкий, с картавинкой голос спросил:

– А что – простите – Коршунов так и не залетал? Это из театра.

В общем, когда Николай помыл руки – он всегда тщательно мыл руки после графоманской почты, – когда прополоскал рот, а волосы прижал водичкой из-под крана, когда содрал с локтей свитера катышки свалявшейся от возраста шерсти, а ботинки тщательно вытер газетами, пошло-поехало.

Девки из приемной, возникнув из небытия, закудахтали:

– Коля? Коля! Тебя же академический режиссер ищет.

Прошел два шага, спортивный репортер:

– Слушай! Тебя театр домогается, я тебе домой звонил, но со мной, старик, поступили невежливо. Ни здрасте, ни спасибо...

И еще человек пять вспомнили, догнали, поздравили, спросили, ходил ли в театр или еще только идет? В общем, зря он плохо подумал о Клавдии Петровне.

И уже на выходе, в кожаном длинном-предлинном пальто Нюрка.

– Я им сказала, – с порога крикнула она, – что они все там мудаки. Что ты у нас уже сто лет Кречинский...

– Сухово-Кобылин, Нюрка.

– Какая разница? – сказала она. – Хотя я, по-моему, все-таки ляпнула про Кречинского. Ничего себе, да? Поржут товарищи артисты. Ну и черт с ними? С другой стороны, можно ли быть уверенным, что где-то не мордуют талант по фамилии Кречинский? Слушай! Скажи, что есть такой... В Сибири. И что я его знаю... Не хватало еще, чтоб они надо мной смеялись.

– Ладно, – засмеялся Коршунов. – Я скажу, что ты патронажная сестра молодых дарований.

– А то нет! – ответила Нюрка. – Тем и кормлюсь.

И она прошуршала мимо, а Коршунов вспомнил, как однажды Маруся сказала: «А мне и четвертиночки такого пальто не износить. Сроду...»

Коршунов чуть не заплакал. Самое не то время, ему в себе силу надо взрастить, надменность, а он стоит сморкается, а слеза бежит как полоумная, пришлось даже дежурному на вахте сказать: «Как осень – так грипп». – «Ну и нечего разносить», – сердито ответил вахтер и замахал на него рукой. И то верно. Изыди, товарищ сопливый. На улице, спрятавшись в подворотню, Коршунову пришлось вытереть лицо шарфом, потому как выяснилось – носовой платок лучше было не доставать.

Вот с этой мыслью – у меня нет с собой платка – переступил Коршунов Театр Номер Один.

...И попал на другого вахтера. Видимо, по какому-то простым людям неведомому вахтерскому телефоно-телеграфу, *эта* вахтер приняла мах рукой *того* вахтера, поэтому белая ручка за дубовым баром-стойкой остановила Коршунова, и он замер, потому что так был воспитан – останавливаться там, где ходить не велено. А эта вахтер – с синими надглазьями, розовыми щеками и платиновой умело взбитой башенкой над полоской белоснежного, ничем не взбаламученного лба – эта вахтер так и держала его поднятой ладошкой. Цирковой, можно сказать, номер, выполненный в характере и цвете.

– Я – Коршунов, – пробормотал Коршунов. – Меня звали.

Почему ему никогда не хватает нужной лексики? Что значит «звали», сам себя редактировал Коршунов. Половой я, что ли? Слесарь-водопроводчик?

– Фамилия? – спросила вахтер, выполненная в импрессионизме, если брать в расчет только цвет и отвлечься от ручки-ладошки, в которой просматривались сила и тренинг соцреализма. И думалось странное: если такая обнимет тебя за шею, то бедная и больная будет эта шея. Коршунову сил нет как захотелось уйти. А ведь не душил его никто, не гнал, и хамства не было, ничего плохого еще не случилось.

Знакомый врач-невропатолог как-то сказал ему: «Еще немножко, и ты уже не мой пациент. И скажу грубо: перейдешь черту – сам будешь виноват. Надо соблюдать форму».

– Вас у меня нет, – радостно сообщила дама. И весь ее вид – ее форма – показывали ему, что не зря, нет, не зря подняла она накачанную в тренировках ручонку. Она – рука-дама-вахтер – имеет нюх и взгляд на таких вот теряющих форму Коршуновых. Значит, извольте выйти вон, товарищ.

Откуда-то из глубины, из яркой пасти разверзшегося лифта, выскочил маленький круглый лысый человек, эдакий радостный нолик.

– Ах, Николай Александрович! Николай Александрович! Не сомневаюсь – вы... – И протянул руку: – Нолик. Петр Исеич.

Зашатался Коршунов. Потому что так не бывает. Чтобы нолик был Нолик. Очень уж это поверхностно. Толстым быть Толстыми, белым – Белыми, круглым – Круглыми. Убогая фантазия, которую никакой уважающий себя мэтр не допустит. Это его, коршуновское, счастье – приобрести в нолике Нолика. А Исеич – это что? Исаевич? Евсеевич? Да какая ему разница. Ему-то что? Его позвали в театр. В Самый Что Ни На Есть.

Он увидел собственными глазами момент расцветания вахтера в улыбке нечеловеческой доброжелательности. «Ах! Какое счастье всем нам, – говорила теперь улыбка, – что вы толкнули эту тяжелую дверь и вошли... Ах! Если бы я знала, я бы выскочила на порог... Я ждала бы вас на сквозняке и ветре... Ах...»

«Это театр, – думал Коршунов. – Надо зарубить себе на носу, что здесь будет сплошное притворство. И моя задача – тоже притворяться, что я этого не замечаю...»

В кабинете, полстены которого занимал не похожий на себя Чехов, – а он и не мог быть похожим в размере ковра три на четыре, – сидел Главный с закрытыми, тяжело набрякшими веками. Какой-то человек, видимо, имеющий фамилию Кучерявый, ломко стоял рядом, крутя в руках не то указку, не то жезл, не то палочку от барабана. «Для поднятия век Главному», – подумал Коршунов и да, угадал. Кучерявый взмахнул предметом. Нолик издал восклицание-припев: «К нам приехал, к нам приехал Николай Александрыч дорогой!» И толкнул изо всей силы Коршунова в кресло.

Поэтому момента поднятия век Коршунов не увидел – он как раз падал назад. А когда упал, то колени его оказались несколько выше головы, а мягкость подлокотника не дала ему возможности опереться и подтянуться, получалось, что так ему и торчать ногами вверх в позе дурака, а кого же еще? Так вот, когда он все это осознал и ощутил – колени, идиотизм и мягкость окружающего его кресла-среды, – веки Главного были уже подняты.

– Подождем? – спросил Главный Кучерявого. И сам сказал: – Подождем. Без нее нельзя.

Потом он уже сосредоточил взгляд на Коршунове, который думал в этот момент, что поднятие век, в сущности, может ничего не значить. Во всяком случае, у Главного есть еще много створок, которые надо бы поднять и открыть, чтобы понять в конце концов – а что у него в глазу? Какая там гнездится мысль-идея? Ну пусть даже не мысль и не идея, пусть элементарная эмоция. Например,

любопытство. Ишь, чего захотел! Любопытство – это не элементарная, это могучая эмоция.

А Коршунов сейчас, в кресле, согласен был на самую малость. На огрызок. Ну, чтоб его увидели в этом кабинете, что ли?

«А! – подумал он. – Для того тут и Чехов-ковер. Чтоб было ясно. Тут уважается только такого ряда интерьер. Вон и Булгаков у них в простенке, длинная склеенная фотография, штаны на которой у Михаила Афанасьевича не стыкуются с рубашкой. Могут вполне уйти сами по себе – штаны, и останется Булгаков бесштаным. Или, наоборот, слетит рубашка с головой, и останутся штаны». Одним словом, Коршунову захотелось встать и уйти, а так как это было трудно, то хотелось заплакать. В шарф. Но шарфа не было, Нолик его оставил где-то там, по дороге. Конечно, был бы платок... «А черт с ними! – подумал Коршунов, доставая платок. – Черт с ними! Мой платок, мои сопли и мои слезы». И он высморкался с вызовом, гордо, как свободный человек, испытывая странное облегчение не в носу, а в душе.

И только он осознал, что спасение есть и в конце концов никто его здесь не замуровал, он может встать и уйти, как разверзлись двери и вошла Она.

Народная артистка – любимица народа, и это не тавтология, первое может не означать второе, а второе может не быть первым. Тут же было полное совпадение, тут все было чисто, как в стерильной колбе.

Коршунов вскочил, и это оказалось совсем не трудно. Просто он любил эту женщину лет триста,

когда еще был холопом, а она боярской дочерью... Была у него такая бездарная пьеса на двух актеров, фальшивая от первой до последней строчки, а он, идиот, лет пять с ней носился, а когда понял, что она такое, чуть с ума не сошел, что совался с ней туда-сюда, а вот сейчас пьеса ожила в нем, прекрасная пьеса, что он себе выдумал, самоед проклятый, прекраснейшая, если Она в Ней.

Но пока то да се, выяснилось, что Ольга Сергеевна влюбилась в его другую пьесу, что она, можно сказать, сошла с ума от нее, и не только она, а и Исеич Нолик, и что у них есть «задумка», как это сделать. А сделать это можно – чтоб всем напоморде! Иначе в искусстве нет смысла работать. Иначе она вовсе не берется за дело.

Она была не просто рыжей – она была огненной. Пламя волос так освещало лицо, что просвечивались веточки сосудов на крыльях ее коротковатого, слегка курносого носа. Попавшие в пламя волос брови, как и полагалось им, были слегка обгоревшими, их явно не хватало на радугу глазницы, и Коршунов умилительно отметил наличие следов карандаша, продолжающего след сожженной брови. Высокой, азиатской выделки скулы подпирали купол головы, они же – скулы – формировали некоторую квадратность щек, что не говорило об аристократизме, но в случае с Ольгой Сергеевной о такой малости – аристократизм, ха! – можно было вообще не печься. Тут было много других составляющих, замесом погуще. Была огромная сила подбородка, который мог бы показаться кому-то грубым, не

имей он выше себя блистательного рта с губами эротически-иронического изгиба.

Что у нас там осталось неохваченным?

Глаза. Так вот... Это были глаза, прошедшие огонь и не сгоревшие в нем. И они отдохновенно мерцали, зная о собственной, проверенной пламенем непобедимости. И плевать они хотели уже на текущие воды... Что огонь и что вода. Это были глаза, которые, победив одно, другое в расчет уже не брали. Не в расчете были Главный, Кучерявый, Нолик, а Коршунов – просто смех. Зачем его побеждать? Его надо брать голыми руками и делать с ним все что хочется.

А Ольга Сергеевна хотела малю-ю-ю-сенькой переделки пьесы, которая, будучи гениальной, «я словами не бросаюсь, меня тут знают, мне, чтоб угодить, надо в игольное ушко и обратно, вы сумеете? И не говорите – да, никто не сумеет, а вам и не надо, не такой вы автор... Ваш портрет будет висеть здесь...» И она ткнула пальчиком в простенок, где грифельно чернел подхалимский шарж на Главного (а Коршунов от нервности забыл слово и подумал «фарш»). На этом «фарше» веки Главного были вытянуты до подбородка, но вытянуты как бы набухшей слезой, а не каким-нибудь вульгарным водочным отеком... А если у человека слеза тяготит веко, то ведь сразу организм вырабатывает восхищение у всех смотрящих, ибо мы образной слезой люди трахнутые. Слезка ребенка – и уже когтится до крови грудь, а тут слеза, можно сказать, зависла в назидание ли, в укор... Но Ольга Сергеевна хвостиком махнула, «фарш» слетел как ми-

ленький, и в простенке возник Коршунов. Конечно, величиной он будет в пол-Чехова, это необидно, но зато и больше штанов Булгакова, а если считать сверху, от головы Михаила Афанасьевича, то как раз дойдет до ширинки, до верхней его пуговички, из всех пуговичек наиболее приближенной к голове писателя как источнику мудрости.

Такие вот глупости обуревали Коршунова, и он даже плохо слышал, о чем они говорили одновременно – Главный, Кучерявый и Нолик, потому что Ольга Сергеевна положила ему руку на плечо и стала отрывать один за другим катышки бывшей шерсти бывшего вполне добротного свитера, и эта домашность дела увела Коршунова из мира грубой материи, где простенки и ширинки, в мир тончайших чувств, летающих ниток, и он наклонил голову, чтоб ненароком хоть чуть-чуть коснуться этих пальцев, что скубют его шерсть. И Ольга Сергеевна легко уловила склонение его головы, подставила фалангочку согнутого пальчика, и он ткнулся в нее щекой.

Боже мой! За что мне столько счастья? Отдай половину бедным!

Нолик в лифте сказал, что, по его разумению, пьесу трогать не надо, она вся из себя «пульсар». Он, Нолик, старается не мараться с современной темой, потому что – как?

Как ее постигнешь, если ты в ней? Но его, Коршунова, случай особый. Нолик значительно и высоко поднял плечи, приняв форму детского двугорбого

капора, и в этом виде и вышел из лифта, изображая некое не поддающееся анализу недоумение.

Коршунов понял, что завтра ему надо приехать домой к Ольге Сергеевне, Нолик тоже подгребет, и они вместе, «сообча», придумают, как угодить Ольге Сергеевне, не разрушая пульсар. «Она может захотеть многого, – выдохнул Нолик и закричал: – Но вы – автор! Автор! Вы можете нас всех послать! Послать! Можете! Всех! Не ей вас учить! Не ей! Но где вы найдете такую актрису? А?! Дилемма? Теорема? Парадокс? Казус?»

Нолик разошелся, он уже не был похож на капор, он разъехался вширь, и от него шли во все стороны бесформенные пятна, и Коршунов подумал, что в театре так и должно быть, вот он ауру не видит, сроду не видел и, если совсем честно, то и не верил, что материальным глазом дано видеть субстанцию идеальную, а тут Нолик весь пошел чернильными облаками, хотелось подойти к нему и развеять их хотя бы при помощи газеты, как дурной запах.

– Ваша пьеса, – шептал из своих облаков Нолик, – пойдет по стране как пожар. Я вам гарантирую сто пятьдесят театров в первый же сезон. Умножение сделаете дома, – хохотнул он, пожимая на прощание руку, которая была у него и мозолистой, и колючей, и шершавой, и твердой, и холодной. Странная, одним словом, была рука. Она Нолику не подходила. Она была из другого человеческого комплекта.

Ноги сами собой понесли Коршунова домой. Все-таки, решил, хорошая новость случилась и для Маруси. К новости годилось бы что-то в руки – цве-

ты там или шампанское, но Коршунов был пуст. С другой же стороны, был он и полон. Его еще не оставили театральные видения-чувства – фаланга пальчика под щекой, отягощенное слезой веко Главного, пуговичка на ширинке Михаила Афанасьевича, капор, распадающийся на пятна чернил... Поэтому наполненный Коршунов гангстерски наломал веток в парке, страстно смешивая желтый, красный и зеленый цвета и представляя, как всунет Маруся во всю эту палитру-охапку мордашу и скажет «ой!».

– Пошел вон! – тихо с порога сказала ему Маруся. И добавила уже криком:

– Ну, уйти, уйти ты способен? Или будешь теперь носить колоски, корешки, стерню? Ты способен на поступок? Чтоб – р-р-раз, и все?

И Маруся захлопнула дверь.

А желтая веточка попала в притвор...

А зеленая веточка зацепилась за ручку...

А красная... Красная осталась в руке.

И надо было что-то делать... Куда-то идти.

Ничего не подходило. Ночевать в редакции он уже разучился. Проситься к тетке? Но она справедливо скажет: «Зачем же я пустила тебя на дачу?» Для вокзальной лавки он, увы, уже стар. На твердом у него определенно заболит грыжа имени еврея Шморля. Он шел по улице с красной веточкой, дурак дураком...

Сказать – не поверят. Но в огромном городе, столице мира и прогресса и даже нового мышления, человеку некуда было деться, чтоб без претензий и больших замахов на самом узеньком про-

странстве переспать ночь и в случае везения, может быть, даже поужинать.

Коршунов, наблюдая за собой со стороны, ну как если бы он мимо самого себя проезжал в троллейбусе, подумал: вот идет человек с веточкой, может себе позволить просто идти. Не спешит, гад, ботиночки переставляет едва-едва, а я, несчастный совок, прусь в набитом троллейбусе, и на меня дышит вирусный грипп, а неужели бы я не хотел так, как тот, с веточкой? Ножонками едва-едва?

Потеря друзей у Коршунова произошла не сразу, а неким трехступенчатым обвалом. Когда зазнобило после оттепели и люди стали нервно ориентироваться, то ли консервировать остатки тепла, то ли быстро шить новые шмотки и уже в них угреться по-настоящему. Коршунов остался с той – меньшей – частью, что решила: не для того, мол, мы размораживались, чтоб опять и снова. Шмотки им были отторгнуты. Это была первая потеря друзей. Второй обвал дружбы произошел, когда Коршунов даже во имя оставшегося братства не вязался в какую-то свару с новым старым строем. Он тогда лихо писал пьески в стиле Розова – Арбузова, страшно высоко ценил их и, что называется, ждал своего часа. Журналистика отпустила его спокойно, на что он ни капельки не обиделся. Ведь и он спокойно бросил писать все эти «подвалы», «кирпичи», «блоки». Как и не писал. Кругом такие шли страсти-мордасти: Коля, ты должен, Коля, твое перо... А он им тихо: «Да не мое, ребята, не мое...» Третий обвал случился совсем недавно, ко-

гда он ушел на «вольные хлеба». Ну, знаешь! Все тогда кинулись жалеть Марусю. Все тыкали его в те старые розово-арбузовские пьесы, ну, где они? Где? Так дерьмо же, братцы, снова тихо отвечал он. Хорош бы я был, существуй они в природе. Сгорел бы со стыда!

Коршунов писал уже иначе. В его пьесах теперь действовали Боги и Деревья, людей не было вообще. В пьесах говорили Комоды, а Тумбочки выходили замуж за Электрические Столбы. Он трясся над сумасшедшими текстами, удивляясь самому этому определению – реализм. Какой к черту реализм? Что сие есть? Разве сам Чехов не поставил посреди сцены Шкаф, в который мордами бились его герои, не понимая смысла его существования, но хорошо понимая собственное ничтожество перед Шкафом? Да в каждой стоящей пьесе есть неживая природа, которая живет всех живых. Последнее время, когда он остался один с Марусей и она еще не сказала ему «пошел вон!», Коршунов из благодарной любви к ней вводил в свои предметные пьесы человеческий дух, он даже обряжал его в нечто, обволакивал то кисеей, то бархатом, давал ему голос, и этот мучительный писк человеческого духа доводил его почти до слез.

Старый Гвоздь. Если меня выпрямить на бруске, я еще вполне...

Новый Гвоздь. Я просто содрогаюсь... Неужели это будут доски? Простые доски...

Старый Гвоздь. Сидеть в доске хорошо. Тепло. Нержаво. Попасть в доску – удача жизни. Это тебе не бетон.

Новый Гвоздь. Бетон – пошлость. И доска – пошлость. Все – пошлость.

Старый Гвоздь. Доска – удача...

Новый Гвоздь. Я хочу в плоть...

Старый Гвоздь. Слава богу, мы гвозди, не пули...

Новый Гвоздь. Хочу в плоть! В плоть! И в кровь.

Молодая женщина берет Новый Гвоздь. Она хочет повесить сушить сети, но ударяет мимо. Крик боли. Гвоздь закатывается.

Новый Гвоздь. Проклятие! Проклятие. Простая баба не может попасть молотком. А мне обещали тело мессии...

Женщина всегда была Марусей.

Это было его инстинктивной благодарностью за то, что после всех обвалов дружб, после всех этих «как ты терпишь этого дармоеда?» она слушала про гвозди и комоды и даже говорила, что это гораздо интересней, чем про людей. Бессовестный человек все узурпировал, всему дал свои имена, а откуда ему знать, что река – это Река? Может, ее зовут совсем иначе. Может, она Течь? Может, она Хлюп? Может, она И-и-и...

Но теперь, с красной веткой в руке и с собственным соглядатаем в едущем мимо троллейбусе, Коршунов почувствовал такое неуютное сиротство, что даже шмыгнул в подворотню проверить, все ли на нем в порядке? Не разошлись, к примеру, швы на

брюках от дряхлости ниток, не оголилась ли пятка в ботинке – носок был на нем с изъянцем. Не заторчали ли из его ушей волосы – недостаток, который Коршунов в себе ненавидел. И волос рос изредка, и услеживал его Коршунов всегда раньше, чем он кудревато появлялся у мочки, но – поди ж ты... Стыда от этой безобидной волосины было... И сейчас в подворотне Коршунов на ощупь искал в ухе гадостный свой грех и чуть машиной не был сбит: узкой в бедрах была подворотня. Пришлось распластаться на грязном, заплыванном бетоне стены, пропуская мимо черную «Волгу». А она у самых его ног зашуршала, осела, распахнула кремово-пирожное нутро, и знакомая фалангочка поманила его.

– Да ладно вам стесняться и прятаться. Я вас сразу заметила. И про рыжий лист вы догадались правильно. Мой это лист. Давно ждете?

Ну и что? Говорить, что он тут случайно? Что ни сном ни духом он не подозревал об этой подворотне, что забежал сюда от испуга, от сиротства и изухаволосараствующего?

Они подъехали к высокому престижному дому, который умело прячут в самых глубинах дворов. Был домишко окольцован густым стриженным кустом, призванным скрывать невысокую, но частую металлическую оградку, и уже за ней, за оградкой, свободно, без тесноты, белели березки, вполне еще юные, тонкие, будущее которых в ограде вполне могло быть светло и прекрасно. В дом Коршунов и был поведен.

В холле в кадках стояли пальмы, и зеленоватого сукна и строгой выправки мужчина встал навстре-

чу. Он улыбался Ольге Сергеевне широко открытым ртом, Коршунову даже пришло на ум слово — «несмыкание». Но тут же на глазах как раз и произошло смыкание. Суконный человек перевел глаза на Коршунова и так сцепил зубы и губы, что, казалось, разомкнуть их теперь можно было только путем вбивания какой-нибудь металлической распорки, как открывают посылочные ящики или отделяют друг от друга смерзшиеся куски мяса. Маруся, правда, ударяла их об пол... Коршунов же стучал молотком по ножу. Если положить суконного мужчину на пол и вставить нож... Господи, подумал Коршунов, я совсем спятил... Это у меня от вида пальмы в кадке. Хотя уж чего он так сомкнулся, я ведь ему слова плохого не сказал. И не подумал даже.

В лифте Ольга Сергеевна опустила лицо в красные листья, от чего сердце у Коршунова заколотилось, заныло, потом остановилось вообще, потом ударило под ребра, затрепыхалось, стало большим, горячим и мокрым, дернулось, осело куда-то в кишки, подпрыгнуло к горлу... Коршунов почувствовал, как пот покрывает его всего и даже бежит струйкой по животу. Этого еще не хватало, думал он, помереть в лифте. Это мне за зеленого и суконного, которому я ножом и молотком хотел разжать зубы. Тоже ведь сволочь. Я. Полез к человеку. А может, это чужеземный запах духов Ольги Сергеевны занимает поры моего организма, а сердцу агрессия не нравится. Протестует. Но тут разошлись створки лифта, и они оказались в солнечном холле под са-

мой крышей, где – опять же! – стояли пальмы, и женщина – опять же! – в зеленом халате подмывала пальме листья, и пальма дрожала то ли от удовольствия, то ли от страха. И эта пальмовая служанка тоже улыбнулась Ольге Сергеевне раскрытым ртом, и снова Коршунов подумал – несмыкание.

Надо было все рассказать по правде. Что просто шел куда глаза глядят... Брел. Не вникать, конечно, в Марусю, а только в свое состояние авторской взволнованности. Мол, шел себе, шел... Ветки ломал. О театре думал. О ней, Ольге Сергеевне. Что бывает же – да? – такое! Когда ведет тебя по нужному пути верхняя сила. И сесть так, небрежно, нога на ногу, не думая о подскочившей вверх брючине, оголившей худую и волосатую коршуновскую ногу. Еще хорошо будет согласиться на чашечку чая, а от кофе отказаться наотрез. Я знаете, чаевник. И не быть навсесогласным, а настоять именно на чае. Ужо, пожалуйста, чай. С одним кусочком сахара. Песок? А рафинада нет? Знаете, старая прихоть. Люблю смотреть на процесс растворения, так сказать... Перехода одной структуры в другую.

– Почему они улыбаются широко открытыми ртами? – спросил Коршунов совсем не то, что хотел, вешая на крючок шарф и тут же вспоминая о носовом платке, который не очень. Ольга Сергеевна, исчезнувшая в недрах квартиры, возникла в проеме двери и улыбалась точно так, как суконный и зеленая.

– Вы это имеете в виду? – спросила она.

– О Боже! – пробормотал Коршунов.

– Я их учила улыбаться, – засмеялась Ольга Сергеевна. – Дом наш номенклатурный. Обслуга сами знаете откуда. Они улыбаться не обучены. Я им давала уроки. Сейчас еще ничего. А сначала они только раскрывали рты, как вынутые рыбы, и все. – И она показала рыб, и это было смешно, и Коршунов счастливо засмеялся, потому что все оказалось таким простым и человечным. Просто происходила ликвидация неграмотности в области мимических движений. «Мне у нее хорошо, – подумал Коршунов, – потому что сразу возникло взаимопонимание. Конечно, по-честному, надо бы признаться, что ветки я ломал не для нее, но ведь этим я ее обижу? Обижу. А я вполне, вполне мог и для нее совершить такой подвиг. И другой тоже. Помасштабней. Такая женщина и такая актриса. Из всех – меня выбрала».

Он сидел на краешке голубого, как небо в Пизунде в середине мая, диване. Все вокруг было выдержано в бирюзово-синей гамме и – ни боже мой! – ничего нигде не краснело, не желтело, даже ножки кресел, по определению долженствующие быть деревянного цвета, были отполированы в голубизну. Коршунов опустил руку и даже пощупал, не пластмасса ли, которая может стать любым хреном, но – нет. Ножки были теплыми, деревянными. А тут вошла Ольга Сергеевна с тонкой хрустальной вазой, в которой пламенела его, коршуновская, ветка, и он почувствовал, как заледенела голубизна и вообще все вздыбилось.

– Не сочетается, – пробормотал Коршунов. – Вы это на кухню...

– Зачем же? – пропела Ольга Сергеевна. – Будем преодолевать противоречия... Хорошо, что мы одни. И я могу вам сказать со всей откровенностью, что я думаю о вашей пьесе. Без идиота Нолика.

– Готов! – сказал Коршунов. И снова затрепыхалось глупое сердце, и снова побежал пот. «Ямочка пупа уже полная, – подумал он. – Скоро я запахну».

– Нет, – ответила Ольга Сергеевна. – Вы не готовы. Поужинаем, потом выпьем кофе – или чаю?

– Все равно, – соврал Коршунов.

– ...а потом будем говорить со всей откровенностью. Потому что, честно говоря, пьесы никакой нет... Никакой вы не драматург... Играть у вас нечего. Сплошное сю-сю...

– Зачем же тогда? – пробормотал Коршунов.

– За-тем! – ответила Ольга Сергеевна. – Есть молекула. Идите в ванную. У вас давно не мытый вид.

«Сейчас встану и уйду, – подумал Коршунов. – Почему я должен ее слушать? Почему? Да, это старая пьеса. Я уже ее не люблю. И я не хочу от нее ничего рожать. От этой пьесы. Она говорит – молекула. Нет в ней молекулы. Другое время. Надо поблагодарить и уйти».

Думал, а перся в ванную. Щелкал выключателем, стаскивал через голову свитер, натягивал его обратно, приглаживал волосы, набирал дыхания для слов «знаете, ничего не надо. Ни ванны, ни пьесы... И ветка не вам – ветка Марусе...».

Но при мысли – Маруся – он опять стаскивал свитер, потому что понимал – ничего нет на свете

более важного, чем то, чтоб не было сегодняшних Марусиных глаз: Господи, верни ей ранние глаза, в которых был бы просвет, – даже не свет, не искра даже, а именно просвет, эдакая щель под дверью для ребенка в темной комнате, спи, дружок, не бойся, мы рядом. Видишь щелочку? Там – мы... Вот Марусе бы щелочку в жизни, Марусе бы... Поэтому он сейчас разденется до самого нага, изобьет себя струей и сядет ковать молекулу. Он сделает все, что скажет эта женщина из голубой комнаты, которая одновременно учит улыбаться бывших вертухаев при помощи несмыкания рта. Коршунов раскрыл рот и посмотрел на себя в зеркало. Специфическое получается лицо, специфическое... Когда рот открываешь не для слова, не для заглота, не для зевка, а чтоб в открытом виде еще и растянуть губы и чтоб глядящий на тебя в этот момент не вскричал «караул!», а принял бы это за улыбку и соответственно сам в ответ раззявил рот... Это нечто! Жуть, конечно, но если подойти с другой стороны. Со стороны гуманизма. Идет ведь процесс обучения хорошему, можно ли придирааться в этом случае, не правильное ли стерпеть некоторую жуть?

Коршунов скатывал комочком носки, скорбя, что нет запасных, и придется напяливать их же, как и трусы, нормальные трусы, сатинчик в кружочек, но, конечно, не вчера надеванные, и даже не позавчера... И не третьего дня, если быть точным... Хорошо ношенный сатинчик со слабой, два раза перехваченной узлом резинкой, но он никогда не возникал с повышенными требованиями к жизни.

Вон у Маруси как летят колготки! Вечно цепляется за что ни попадя... И еще у нее «молния» на сапоге всегда норовит укусить ногу...

Да наплевать на ногу... Колготки рвет, зараза. Коршунов оттягивал «молнию» плоскогубцами, придумал даже подкладочку под нее, но она не держалась, спадала в носок, и Маруся потом ругалась, что подкладочка натирала ногу.

Из трусов Коршунов вылез осторожно, даже как-то замедленно. Была в этом действе некая значительность мелкого факта при полном идиотизме факта большого. Вот стою, мол, я голый. Но все не просто, товарищи-господа.

Мне бы с ходу, ветром залететь за занавеску и рвануть краники, и вытерпеть любой напор и температуру, но нет, люди хорошие, нет.

Коршунов топтался голяком на ковричке, испытывая мучительную жалость к худым своим ногам и совсем скукожившемуся, нырнувшему в шкурку плоти «члену-корреспонденту». «У другого бы встал, – печально думал Коршунов, – на такую женщину встал бы. Мой же стесняется... А мне ведь еще ковать молекулу...» «Ну, не е...ть же», – звякнул кто-то, разместившийся среди пудр и кремов. От этой неизвестно откуда прилетевшей фразы у Коршунова опять началась сердечная чехарда, и он собственными глазами увидел, как служба его секретиции выводит на-гора тяжелые, как глицерин, капли пота, и они катятся по нему, катятся...

– Когда зайдете за занавеску, откройте на минутку дверь, – услышал он голос Ольги Сергеевны.

– Зачем? – не своим голосом закричал Коршунов. – Зачем это вам дверь?

– Не задавайте глупых вопросов, – ответила Ольга Сергеевна. – Вы мне не нужны...

Коршунов запрыгнул в ванну и почти обмотался шторкой, вода водопадила где-то совсем рядом, не соприкасаясь с Коршуновым никоим образом. Но он не замечал нелепости такого стояния под душем. Открылась дверь, и было что-то заброшено, так это угадывалось по звуку – шмяк и бряк. Смеясь, Ольга Сергеевна закрыла за собой дверь, а Коршунов продолжал стоять параллельно душевой струе и, только когда перестало хватать воздуха в пакете шторы, понял, что он не под душем, а в полиэтилене. «Говно! – сказал он себе. – Говно! Веду себя как последний... Сейчас я ей выдам, заразе! Она у меня сейчас съежится от полного несмыкания... Зараза такая... Молекулу она увидела. Ты у меня сейчас атомы увидишь. Я их тебе забью по самую шею. Ты у меня не вздохнешь – не выдохнешь!»

В общем, великая и простая радость – вода. Ничего не надо – дай воды, и человек уже в полном порядке. Чего нас так и тянет к Великому Индийскому? Залиться хочется, залиться...

А шмякнуло и брякнуло вот что. Трусики мужские, беленькие, хорошие в растяжке и как бы независимые от резинки. Носочки беленькие, импортным ярлычком склеенные. Маечка в пандан трусикам и носочкам. И все это опять же не нашей белизны и не нашей мягкости. Под всем этим лежал голубой халат. «Чтоб слиться с мебелью, – подумал

Коршунов, – сволочь». А бряцнули упавшие на пол коршуновские штаны, бряцнули «молнией» об тазик, и, судя по их виду на полу, это был последний звук штанов на этом свете, что возмутило Коршунова до глубины души. Потому что штаны – это штаны, это факт биографии, это, если хотите, так же важно, как пятый пункт или там партийность. Штаны – незыблемая часть человека, смерть штанов – это как обширный инфаркт или вышедшая из строя почка. Штаны надо беречь, тем более если они не то что одни, а просто других нет. И какое она имела право спихнуть их халатом, тоже мне предмет! Существует только для одного – скинуть, а штаны, штаны-лапочки, они – все. И Коршунов выпрямил их по складке и «молнию» проверил, не сбилась ли она падением об тазик, и положил их аккуратненько, а сверху водрузил трусики, свои, законные, а еще сверху – комочек носочков, и футболку подсветрную и свитер – подите все к черту? – хороший еще вполне свитер, носить его не переносить.

И такой весь из себя неземной Коршунов был водружен в самый угол кухни на треугольный диванчик, над ним висела лампа в виде растопыренной ромашки, и скатерть изображала из себя ромашку, и чашки были с соответствующими цветочками, и вся эта ромашковость почему-то раздражала Коршунова, хотелось все это разломать, чтоб не стать, пусть некомплектной, но все-таки частью некоего гарнитура.

– Что пьем? – спросила Ольга Сергеевна.

– Что дадите, – ответил Коршунов. – Я всеяден и всепьющ.

Выпили коньяку. Заели хорошей колбаской. Коршунов почувствовал – коньяк пошел плохо. Тепла в брюхе не возникло, мозжечок же запульсировал совершенно неврастенически.

– Значит, так, – сказала Ольга Сергеевна. – Про что пьеса? Вы рассказали нам историю женщины, которая жила-жила и вдруг узнала, что в ее семье нет ни одного порядочного человека. Муж – издоимец на высоком партийном облаке и к тому же содержит параллельную семью. Отец – воингерой, катается по дому на инвалидной коляске, с утра до вечера пишет анонимки. Дочь – шлюха. Сын – гомосексуалист. Домработница каждый день выносит из дома по одной вещи. Лучшая подруга навораживает ей рак. Брат с каждого из них берет деньги, потому что знает, кто из них кто. И в середине этого ужасающего семейства прекрасная, чистая женщина.

– Какая же она прекрасная, если она обрадовалась, когда все про всех узнала. Она разделась догола и стала предлагать себя брату.

– Но ведь она сошла с ума!

– Ну да! – возмутился Коршунов.

– Она просто дура, которая жила на веру. А на самом деле ей было ужасно неуютно, что папа ветеран и герой, а муж член президиума, а дочка отличница, а подруга член райкома. С такими ей было неудобно. Потому что сама она жила с лифтером, они для этого дела отключали лифт, и у них

были два детских матрасика, которые стояли у нее в передней, а муж все время спрашивал, что они тут делают, матрасики? А она отвечала: детские матрасики выбрасывать нельзя. Это плохая примета. Пусть стоят.

– Какой же идиот будет играть в таком кошмаре?!

– Вы сами сумасшедший. Нет! Все не то! Ваша героиня – светлая, светлая, светлая! Она не ведает, не знает ни грязи, ни подлости. Ее незнание свято и прекрасно. Вокруг нее не существует греха. Она Ева, не надкусившая яблоко. Хотите больше? Она – Россия, которую ничем не обмарать, потому что чистому – все чисто.

– При чем тут Россия? – разозлился Коршунов.
– Ну при чем? Все в грехе. Все таятся. Все изображают из себя черт-те что. Она же тайный всеобщий блуд делает явным. Она говорит: «Давайте жить откровенно. По естеству пакости!» – зовет лифтера и раскладывает детские матрасики. Прямо у всех на глазах.

– Я такое играть не буду! – возмутилась Ольга Сергеевна.

– Я вас что – заставляю? Пьеса ведь так и называется «По естеству пакости». Она без героя. Никто никого не лучше. Раньше говорили – дно. А сейчас все на лифте собираются взлететь на небо. В общем... Она, конечно, плохая пьеса... Я ее писал знаете когда? Когда мы пошли в Афганистан. Это моя последняя человеческая пьеса... Дальше я пошел писать про предметы... Люди кончились. Ну... Я их не вижу... Извините, конечно...

– Глупости! – сказала Ольга Сергеевна. – У вас типичный комплекс непоставленного автора. Вы не понимаете. Для театра нужно два цвета. Два! Вашу жуть надо осветить. Боже! Какой лифтер? Она на самом деле не способна выбросить детские матрасики. У нее двое детей. И два матрасика. Так элементарно. Она сжигает анонимки отца. Она возит его по квартире. Она поет ему песни его детства.

Коршунов так захохотал, что поперхнулся. Пришлось выскочить из угла, забегать, стыдясь кашля и крошек, вылетающих из горла. Ольга Сергеевна подошла и стала стучать по спине. В общем, отплевался, а она продолжала стучать, сначала кулаком, потом ладошкой, потом уже не стучала – поглаживала, обхватила его сзади, прижалась. Коршунов понял, что надо разворачиваться, что события идут, как и надлежит им идти, не зря же его пропустили через ванную и выдали соответствующее обмундирование... Но она сама выпустила его из рук и опять толкнула его в угол, посмеиваясь и наливая в рюмки.

– Вы это все перепишете, – сказала она. – Всеобщую жуть все равно никто не поставит. Где это видано, чтоб обкомные начальники содержали параллельные семьи, а герои гражданской были похотливыми стукачами? Это просто не прохонже по определению. Во-вторых!!! Что еще важнее... Не может быть в пьесе несколько главных ролей. Это нонсенс!

– Их и нет, – ответил Коршунов.

– Но вы так щедры, позволяете себе, чтоб прекрасный романс «Не уходи!» пела, так сказать, жена-

дублер. Зачем две похожие героини? Это я пою! Я пою «Страна огромная на смертный бой!», когда вожу старика отца в коляске, и я же пою «Не уходи...».

– Вы читали пьесу? – спросил Коршунов. – Дублерша, как вы называете любовницу, поет романс, чтоб дать возможность соседу перелезть с балкона на балкон.

– Ну, это уж совсем ни к селу ни к городу.

– Еще как к селу и к городу! Они все – питомник заразы. Она от них расползается и через дверь, и через окна, через мусоропровод... и все под песню... Под танец... Под что угодно... Не надо! – взмолился Коршунов. – Я умираю, как хочу поставить пьесу, меня жена из дома выгнала, я ни черта не зарабатываю.

– Миленький! – Ольга Сергеевна вспорхнула и села рядом. – А я что, слепая? Не вижу? Не понимаю? Я просто затряслась, прочтя вашу вещь... Такая сила, такая злость... Такие слова... Но играть-то мне! Мне! А играть отрицательную я не хочу. Играть женщину, которая обнажается, – извините...

– У вас хорошая фигура, – сказал Коршунов. – Чего вам бояться? Обнажайтесь!

– Нет, голубчик! – Ольга Сергеевна отодвинулась и залпом выпила рюмку.

– Я хочу, чтоб меня любили. Я не могу себе позволить быть ничтожеством... Да, у меня недостатки... Черт с вами! Пусть у меня лифтер! Это моя жалость к человеку, моя щедрость... Но дайте мне чувство победы! Дайте мне заключительный аккорд... Триумф...

– Не дам! – сказал Коршунов. – Вы самая, самая отвратительная в пьесе... Играйте домработницу. Та ворует, и все. Хотите, она перестанет воровать? Вернет все на место, принесет и расставит? В этом даже что-то есть... Она возвращает, но никто не заметит. Не считано. Вот что главное! Столько всего захватили, что никто не заметит, вынеси половину... Они обожрались всем... – Коршунов задумался. – Вот! Вот! Я вижу... Домработница вернет напольную вазу. Поставит в угол. А старик в нее помочится...

– Господи? Это же театр. В театре нет запахов.

– В общем, Ольга Сергеевна, я вам так благодарен... Что прочли, что молекулу увидели. Но бабу эту проклятушую я трогать не смею. Она – matka. Это я так... Высоким штилем! И объясните там этим вашим... Нолику. Главному. Автор, мол, осел упрямый...

– Я поняла, – сухо сказала Ольга Сергеевна. – Поняла. Воля ваша. Идите. Вас никто, никто никогда не поставит. Никто. В театр идут для очищения...

– Не баня, – вставил Коршунов. И вдруг закричал: – И не храм! Взяли тоже моду сравнивать жопу с пальцем, извините, конечно.... Как можно трогать Храм? Приближать его к театру. В храме ты и Бог. А в театре ты и ты. Разговор на двоих. В зале на тебе штаны, лопнувшие по шву, а на сцене ты из себя граф. Но ты-то знаешь, что это ты. Можно, конечно, закамуфлировать – самого себя не узнавать. Но все равно в конце концов узнаешь. Потому что из человеческих соков театр, из человеческого потай-

ного греха и невыявленного таланта... Бог создал человека, а человек создал театр. А когда театр тшится, изображает, что он непосредственно Божье творение, то это он из тщеславия, из гордыни. Из самомнения, что он человека знает лучше самого человека. Чепуха! Эта пьеса – мое мясо. А вы хотите, чтоб я человечину переделал в козлятину.

– Ну ладно, – сказала Ольга Сергеевна. – Ладно. Но наполните мою роль, наполните! Она ведь у вас почти немая, эта женщина. Договорились – я пою?

– С чего бы это? – Коршунову хотелось уйти. Вдруг он почувствовал, что все эти им же придуманные герои пришли и расселись и ждут чего-то... Чего, спрашивается? – Я, знаете, написал пьесу про Гвоздь, который мечтает о человеческой плоти и ни о какой-нибудь там обыкновенной, моей, к примеру, а плоти Мессии. Видите ли, Ольга Сергеевна, мы даже когда гвозди куем, то наполняем их ненавистью и жадой убивать. Я не теоретик. Не могу объяснить. Но ведь учили – гвозди бы делать из этих людей. Каких людей – помните?

– Революционеров...

– Ага... И я про это... Вот и получились гвозди. Нельзя в пьесе ничего изменить. Нельзя. Вот разве что домработницу. Я все время чувствовал... Когда она ворует, у нее в душе тошнота, ну, знаете, когда нарушение вестибулярного аппарата. А в ней момент отвращения... Помните, когда она ногами топчется в разлитом коньяке и пьянеет?

– Вот это вообще чушь, которую надо выбросить. Совершенно ни к селу ни к городу дурацкое

такое опьянение. Через микропорку. Глупо так... Не говоря о том, что разрушает ритм...

– Ну, может, ритм и разрушает... Я этого не знаю... Но через тапочки, через чулки она опьянела... Я же говорю – они излучают яд. Ни к чему нельзя прикоснуться. Я даже хотел, чтобы в конце пришли люди в скафандрах или там в чумовых костюмах и все это сожгли... Но это было бы чересчур. Это моя несбыточная мечта. Но я принципиально против введения в пьесу мечты. Знаете, почему? В мечте есть зародыш божественного. Даже в самой дурной. Хотя бы потому, что мечта бестелесна... А театр очень материален. До грубости. Грим там. Фанерные деревья. Парики. Носы. Господи! Как он груб, театр... Впрочем, к чему это я? Я его обожаю. Я жизнь свою поломал и бросил ему под ноги. Я так мечтаю увидеть свою пьесу. Конечно, я все готов доработать, там столько неточных слов. Но эту роль трогать нельзя. Какие песни? Какое сумасшествие? Вы хорошо сыграли бы то, что есть...

– Я сыграю хоть что! – воскликнула Ольга Сергеевна. – Хоть что! Но я не вижу смысла! Играть маразм? Да еще без слов? Вы посчитайте, посчитайте. Я посчитала... У вас пять женских ролей... И у всех почти одинаковое число слов... Вам нужно пять выдающихся актрис...

– Хорошо бы, – пробормотал Коршунов.

– Но их же нет! Нет! Я одна буду тащить вашу пьесу на немой роли! Отдайте мне песню. Это раз. У домработницы есть дивный монолог... Ну, этот...

Когда она разбивает бутылку с коньяком. Помните? «Ну вот... Ну вот... Пролила... Сейчас я возьму чистую простыню... Напитаю... Отожму... И выпью... Человек не умеет лакать... Это жаль... Мог бы в процессе эволюции этому и не разучаться...» А потом она сосет коньячную простыню!

– Да нет же, – устало сказал Коршунов. – Ничего она не сосет. Зачем? Там коньяка залейся. Это она шутит. Неудачно, наверное. Она подтирает пол. Она – хамка, холуйка... Взращенная коммунистической ненавистью, ей это как плюнуть в борщ соседу. Вот ей и приятно добротной вещью поелозить по полу. Мы же довели холопство до вершины, до апофеоза... Наш холоп – лучший холоп в мире... Как наш балет...

– Вы еврей? – спросила Ольга Сергеевна.

Коршунов растерялся.

– При чем тут еврей?

– Только еврей так может ненавидеть русских...

– Каких русских? – Коршунов подумал: «Или я схожу с ума, или с ума сходит она. Но один из нас определенно сумасшедший».

– Значит, вы еврей, – удовлетворенно повторила Ольга Сергеевна. – Коршун, коршун... Как это на идиш?

– Пардон, – сказал Коршунов, выбираясь из-за стола, – пардон. На таком языке я вообще не говорю. Я его не знаю. Позвольте мне одеться и уйти. Мое барахло в ванной...

И он пошел в ванную. И стал стаскивать с себя трусики и майку, обнаружил, что чужие вещи уг-

релись на теле, прижились, им не хотелось сниматься, и он рвал их как кожу, удивляясь этому чудному факту, что за какой-нибудь час-два-три можно так сродниться с материей, а у него чаще иначе, не он вещи носит – они его. Но тепло трусиков не повод, чтоб оставлять их на себе, надо влезать в свое, законное, и в этот самый момент, когда он стоял голый, Ольга Сергеевна открыла дверь – забыл, что ли, дурак, закрыть? – и смотрела на него с большим интересом, как если бы хотела приобрести его навсегда. Вот почему ей важно было разглядывать человека подетально. А какова у нас спинушка? А не дрябл ли животик? А каков цвет растительности? Не слишком ли рыж? И не пожухла ли она вообще?

– Смотрите! Смотрите! – бормотал Коршунов. – У вас на предмет обрезания интерес? Так, извините, нету! При мне шкурка. А барахлишко ваше я по дороге могу отдать вертухаю, который с несмыканием. Он сносит. Халат же на балконе повесьте. Воздух прочистит мое пребывание в нем.

– Дурачок! – ласково сказала Ольга Сергеевна. – Мой гениальный дурачок!

И она распахнула свой халатик и ринулась на Коршунова так, что он чуть не упал на раковину, но удержался и имел теперь сзади холодящий спину кафель, а спереди голую горячую женщину, которая тянулась к нему своим фантастическим ртом, тыркалась в него коленями, плющила об него груди, но – Боже великий и смеющийся! – Коршунов вошел в себя весь, без остатка, где-то внутри него громых-

нули замки и засовы, звякнули цепочки, взвизгнули шпингалеты, шмякнулись вниз темные шторы. И все, нет его. Коршунов был гол, неприступен и независим. Он смотрел на женщину из маленького смотрового или слухового там окошка, которое надлежит иметь всякой уважающей себя крепости, и смеялся тщете ее усилий добраться до него.

– Ты смотри на меня, смотри, – шептала Ольга Сергеевна. – И губы ее спускались ниже и ниже, и уже хорошо были видны корни ее волос – не огненных вовсе, а обыкновенных русеньких, уже траченных сединой. Была видна оспина от детской прививки, большая, корявая, и странные, несоразмерные пальцы. Тонкий, какой-то безжизненный вялый мизинец и большой палец с раздутой косточкой и широким и низким ногтем.

Он схватил ее под мышки, встряхнул и сказал:

– Потом вы будете страдать, что так поступили.

Ольга Сергеевна тут же запахнулась и – как ничего не было.

– Это вам надо страдать. Импотенту.

– В общем, да, – сказал он. – Я последнее время фурычу плохо.

– Слишком много для одного мужика, – засмеялась Ольга Сергеевна. – Тайный еврей и импотент. Оттого и выхода в ваших пьесах нет, света в конце тоннеля.

– В общем, – ответил Коршунов, натягивая свитер, – когда я это писал, я был вполне.

– Недоказуемо, – сказала Ольга Сергеевна, – недоказуемо...

– Да ладно вам, – засмеялся Коршунов. – Спасибо вам за все. В общем, было даже интересно. Во всяком случае, домработницу я переделаю точно... Вы мне подбросили идею... И вообще... Коньяк... Душ... Все было вполне...

– Жду завтра, будем говорить уже с Ноликом, – сказала Ольга Сергеевна.

– То есть? – не понял Коршунов.

– До завтра, – ответила Ольга Сергеевна. – Придете завтра с идеями. У вас другого выхода нет. Вас все равно никто не ставит. Выпишете роль по мне, и все будет в порядке. И не изображайте из себя униженного и оскорбленного. Пока вы – дурак. Поумнейте ночью. Нолика насмешим, как вы принесли мне веточку...

– Да я не вам ее нес, – сказал Коршунов. – Тут скажешь – не поверят. Я вообще шел мимо...

У самого порога он вдруг остро ощутил, какая она соблазнительная. «Вот это да! – подумал Коршунов. – Хоть оставайся... А то ведь кому сказать...» Но с эмоциями у него был явный разлад. Стоило тормознуть на этом «хоть оставайся», и так потянуло на улицу, на воздух, что вроде он не в чистом и проветренном доме, а в камере, где уже все живое выдышали и пора взламывать дверь. Он и стал взламывать.

– Что вы делаете? – закричала Ольга Сергеевна. – Вы что, не видите, здесь замок.

Выскочил. Внизу в кресле дремал тот, что с несмыканием. Глаза его общупали Коршунова, и была в них откровенная ненависть, а больше зависть.

И если ненависть в нем была испоконной, генетической, то зависть была сиюминутной, конкретной, она стыла в шупе глаз, прощмонавших Коршунова и учуявших следы женщины, о которой вертухай всю жизнь мечтал, дремля в кресле, и которую за- всегда воображал, затискивая в угол каптерки уборщицу пальмовых листьев. Он думал тогда, что пронзает рыжее лоно всенародной артистки, и от этого рычал радостно и громко, и рык его, ударяясь в помойные ведра, выходил из них не похожим ни на какой естественный звук. И если в этот момент в лифте ехали дети, то их няньки объясняли им просто, что это кричит дедушка Домовой, а если это были родители, то они рисовали научную картину движения воздуха и воды в трубах и утешались, что звуки водопроводных труб не опасны ни с какой стороны.

Откуда это мог знать Коршунов? Он прошел мимо несмыкаемого, и все. Он даже «до свидания» ему не сказал.

Голова была занята странным. Она разыгрывала пьесу, в которой пять абсолютно одинаковых женщин играли абсолютно разные роли. Женщины путались в словах, потому что забывали, которая из них кто. Коршунов думал, что, конечно, это чепуховая идея, но что-то в ней есть. Если взять за основу такое: мужчины – существа многочисленные и разнообразные. Женщин же в количественном плане нет вообще. Есть в природе одна-единственная женщина на сколько-то там миллио-

нов мужиков. Ну и каково ей иметь их всех? А каково мужчинам иметь одну и ту же?

«Идиот, – подумал про себя Коршунов. – Лучше разрабатывать тему Гвоздя-мечтателя. Гвоздя, ждущего Мессию». Как он прячется. Как он зарывается в хлам. Как выскальзывает из рук. Как он сам себя точит, чтоб не потерять способность. Как он в поисках точила обхаживает всякие твердости, а эти дуры принимают его прикосновения за поцелуи...

Одним словом, в голове была каша из гвоздей и женщин, а на лавочке у подъезда сидел застывший от холода Нолик.

– Да, – сказал Нолик, – да. Моросит... Ерунда, но у меня нежные почки. Странно, да? Нежные почки... Другой образ. Представляется клубочек завязи с тугой, скрученной силой... Нежной, но неукротимой. А я про фиолетовую больную материю, которой вот такая погода ну просто ни с какой стороны...

– Ну и шли бы домой, – ответил Коршунов.

– Как же, – слабо выдохнул Нолик. – Вас... Вы же были у меня дома...

Коршунов не то свистнул, не то хрюкнул, не то рявкнул.

– А почему, собственно, такое удивление? – не понял Нолик. – Она моя жена. Хотя странное определение применительно к ней.

– Мы поговорили и не поняли друг друга, – твердо сказал Коршунов. – Это чтоб вы не брали в голову лишнее.

– Голубчик! – сказал Нолик. – Голубчик вы мой! Это ужасно, если не поняли. Ужасно... Ей нужна роль.

Большая. Звонкая... Чтоб она царила в ней. Ей только такие роли годятся. Она не любит Чехова. У него нельзя царить. Шекспир... Уильямс... Это по ней.

– Господи! – взмолился Коршунов. – Даже в крутой пьянке... Даже в момент наивысшего самомнения... Это я в голову не брал. Шекспир там или Чехов... Вы спятили...

– Конечно, – ответил Нолик. – Конечно, вы – не... Поэтому и нечего вам выпендриваться. Ваш бюджет на нуле, я узнавал. Вам уже за сорок. Талантливые мужики к этому времени успевают все сделать и помереть с сознанием состоявшейся жизни.

– Спасибо, – засмеялся Коршунов, – на добром слове.

– На здоровье. Я в этом лицо заинтересованное. Напишите ей роль из всех женщин, оставьте остальным то, чего они стоят. И помирайте себе. У вас в спектакле должна быть Одна Актриса. Одна! Понимаете?

– Вы сговорились? – спросил Коршунов.

– Конечно, – ответил Нолик. – И Главный так считает. Я не учел вашей прыти, что вы уже сегодня будете здесь... А она у меня не дипломатка. Я это вижу по результату. Но вы-то что? Вам такие женщины встречались по десять на дню?

– Нет, – честно ответил Коршунов. – Нет, вы отхватили музейный экземпляр.

– Слава богу, что понимаете... Вот давайте пойдем от этого. Давайте сломаем пьесу... Честно сломаем, до досок... И выстроим снова. Ведь никто ее не читал. Никто не видел. В сущности говоря, ее не

существует. Чего вы ломаетесь? Это будет бенефисная вещь, с вашими же словами... Вы сообразите – на то вы талант, – как перенести их в другие уста. И ни в какие-нибудь... В уста Актрисы, которую вам с огнем не найти. А потом пьесу схватят все театры. С ее подачи... Ну что я вас уговариваю? У меня ноют почки... Я жду тут уже три часа.

– Почему вы не поднялись?

– Это самый идиотский вопрос из всех идиотских вопросов, которые я слышал в своей жизни. Самый! Вы дурак, Коршунов?

– Да, – ответил Коршунов. – Да. У меня еще один идиотский вопрос. Как вы узнали, что я там?

– Я с вами развожу руками, – сказал Нолик.

И он действительно развел руки, и в ночи, на фоне сумрачного неба и морозящего дождя, снова стал похож на растянутый вширь двугорбый капор.

– Вы слышали про такое изобретение – телефон?

И он пошел в подъезд, съезживаясь, сморщиваясь на ходу до величины своей больной фиолетовой почки.

Коршунов было крикнул, что у него есть идея одной женщины на всю пьесу, в конце концов столько технических возможностей это осуществить, но вдруг устыдился, потому что понял, что все это тысячу раз было и не им придумано. Господи, спохватился, как я это успел не сказать, а то бы скрутили трусиками и маечками... А пошли вы!

Конечно, изобретение телефона уже было.

Конечно, бездарно было ему, Коршунову, сыграть роль Нолика на лавочке в собственном дворе.

Конечно, с почками у него все было в порядке, пока, во всяком случае, но дождь и холод делали свое дело. Коршунов мысленно звал Марусю, вот выйдет она на балкончик, приложит ко лбу козырек ладошки и закричит в ночь: «Ты что, спятил? А ну подымайся! Ревматизма тебе не хватало...»

Но Маруся не выходила, хотя нижний свет у нее горел. Значит, читала. Или проверяла тетради. Или? От этого «или» Коршунов понял, что готов для убийства. Вот так запросто, на ровном месте, возле детской песочницы со следами свежего собачьего дерьма, возле кривого тополя, созданного для конца кабеля, другим концом зацепленного за конек трансформаторной будки, на котором он, Коршунов, выколачивал свой единственный, выстоянный в очереди машинный ковер три на четыре, – он созрел для убийства. Отвлекал ковер. Работа по его выбиванию всегда стыдила его, именно так, стыдила, потому что и кабель, и битый ковер, и выпрыгивающая из него пыль, и треснутая оранжевая выбивалка – всегда говорили ему одно и то же: «Ну и хозяин же ты, Коршунов, если несчастный пылесос за сорок пять рублей купить не можешь». И каждый раз он говорил себе: завтра же куплю. Завтра же! Но приходило завтра, и наличие выбитого ковра и удовлетворенной этим Маруси отодвигало проблему пылесоса в завтрашний день. А значит – в бесконечность. Вдруг Коршунов понял, что ничто, не сделанное сразу не сделается никогда. Всю жизнь он жил завтрашним днем. Это его проклятушая графомания, это она своей постоянной незавершенно-

стью перетягивала его в завтра... Пренебрегая сегодня – всегда таким конкретным, конкретным до противности, как собачье дерьмо. И сегодня у Маруси в час ночи горит свет, а завтра ей рано вставать. Почему она его не гасит? Но именно в этот момент Маруся возьми и погаси проклятый свет. Коршунов вскочил и ломанул тот самый для кабеля созданный сук на тополе. Тополь аж взвизгнул. Вооруженный и наполненный до конца желанием ничего больше не откладывать на завтра, а убить сегодня, Коршунов встал у подъезда.

Так и стоял с тополевым оружием наперевес. Человек в момент идиотии, сказал он себе, убедившись, что из подъезда так никто и не вышел. Представилась Маруся, откинувшаяся на подушку с закаменелым лицом неудачницы. Он боялся такого ее лица, опрокинутого, с закрытыми глазами, сцепленным ртом. Он знал, он чувствовал, сколько в ней в этот момент непокоя и крика, ан нет же, натянула на себя кожу и лежит живая мертвая. О чем она думает сейчас, когда его нет рядом? Он знает о чем. Она думает о Романе Швейцере, который уехал в Америку и стал миллионером. Десять лет назад он пришел к ним и долго ждал, когда Коршунов вернется с дежурства. Маруся, встретив Коршунова в прихожей, прошептала: «Сидит и сидит. Говорит, ты нужен...» Дело в том, что Коршунов Марусю у Ромки отбил буквально накануне их женитьбы. В молодые годы это, конечно, дело житейское. Коршунову даже не пришлось очень гордиться, так как Ромку исключили из института по

диссидентскому делу, а Маруся так перепугалась, что ей прописали витаминные уколы. Коршунов же Ромку за все это зауважал, хотя до этого считал ни рыбой ни мясом. А потом через четыре года является в дом Ромка, заваливается в угол дивана и говорит Марусе: «Вы мне нужны оба, чтоб не было испорченного телефона».

И, дождавшись Коршунова, говорит: «Значит, так, ребята... Я рву когти. Насовсем и навсегда. Маруся! Ты моя единственная в жизни любовь. Мне никто больше и никогда... Хочу тебя забрать с твоей девчонкой. Пусть вырастет там как человек. Николай! Я тебе говорю честно. Ты Маруське не пара. Она – цветочек, который требует полива каждый день. А тебе, Николай, нужен кактус. Я Маруську и дочку вашу уберегу и взращу, я слово тебе в этом даю. А тут они сгниют. Тут через десять лет от Маруськи останутся мощи. Я не рай обещаю, я обещаю беречь. С тем вот пришел...» – «Ну, с тем и отвали!» – сказал ему Коршунов. «Да я не твоих слов жду. Маруськиных», – ответил Швейцер. «Рома, ну как ты можешь прийти в семью, где уже есть ребенок», – начала Маруся. И она стала бестолково бормотать о сохранении семьи, а Коршунов стоял и думал: Роман Швейцер до утра будет ждать, потому что плевать он хотел на «институт семьи», он – даже наоборот – он от Марусиных слов как бы крепчает в своей сумасшедшей идее, потому что «ломать институт» ему будет одно удовольствие. «Да не любит она тебя! – закричал Коршунов. – Скажи ему это!» Он тогда даже толкнул Марусю. И та покраснела,

растерялась и сказала: «Но это же само собой разумеющееся». Причем последнее слово у нее не произошло, завязло на шипящей.

Уехал Швейцер. Ни с чем уехал. Коршунов же шипящую не забыл. «Вела себя, как дура из профкома...» Маруся прицепилась к этой «дуре из профкома», разобиделась до слез, а потом вот так легла на подушку – навзничь и с закрытыми глазами. Первый раз.

И Коршунов думал, что Маруся, лежа одна, проигрывает сейчас свою счастливую неслучившуюся жизнь со Швейцером.

«Ну и думай, зараза!» – сказал Коршунов и пошел прочь от дома, в ночь и темноту.

Тут, чтобы уже никогда больше не возвращаться к этой истории, не будет в этом нужды и времени, надо сказать, что думала Маруся в тот мокрый вечер не о Ромке Швейцере. Никогда ни разу – вот бы Коршунов удивился – не примеряла Маруся на себя Швейцерову американскую удачу. Могла сказать вслух: «Вот была дура!» Но мало чего ляпнет язык? Сейчас же, лежа навзничь, Маруся думала о Нюрке, замредакторше, которая носила длинные кожаные пальто, коротенькие норковые шубки, бриллиантовые сережки и крокодиловые сумочки. Нюрка позвонила утром и спросила, где это черти носят Коршунова? И послышалось Марусе в голосе Нюрки женское неудовольствие, не претензия начальницы к нерадивому сотруднику. Марусю с этого разговора просто заколотило. Давно, давно Нюрка внушала ей подозрение. И даже то, что

Коршунов держался в редакции на птичьих правах, имело для Маруси одно объяснение – Нюркино неслучайное покровительство. Как он ей звонил? «Мать! Слушай...» И таким баритончиком... Ну ни с кем так, ни с кем!

Как же смел он явиться к ней с этими осенними ветками? Это ведь Нюрка! По телевизору! На всю страну! Объявила в какой-то бабьей передаче: «Всем цветам предпочитаю осенний букет листьев». Коршунов тоже смотрел тогда передачу, это точно, она помнит, как отошел он без звука. Маруся за выражением его лица следила – чего это он после этих листьев как бы забеспокоился? Таскаю, мол, ей анемоны и орхидеи, а она, оказывается, другое любит. Листья... Маруся его тогда между делом спросила: «А что, Нюрка живет со своим космонавтом?» Коршунов же как не услышал, уставился в окно и стучит косточкой пальца, стучит. А потом сел за стол и нарисовал лист. Кленовый. Фигурный. И гвоздь, его протыкающий.

Сейчас у Маруси закипали слезы. И хоть она не обнародовала факт, что сама выставила Коршунова, и где его черти носят, понятия не имеет, сейчас она сказала себе: «Все! К черту! Разведусь! Что я – первая?» Она сняла кольцо с левой руки и перенесла на правую, вернее, хотела... Но кольцо на палец не лезло, застревало на косточке, от чего Маруся совсем разревелась, даже подвывать стала. Она вдруг подумала глупость из модной псевдонауки о том, что мысли вполне материальны, даже толкнуть могут. Поэтому от снятия кольца Коршунов

должен был тут же оказаться во дворе и смотреть на окна, потом птицей взлететь на этаж, и она – взлети он – простила бы ему бриллиантовую Нюрку, черт с ней и с ее космонавтом... Маруся даже встала и подошла к окну и увидела, как уходил из двора, видимо, пьяный, шатающийся мужик с огромной палкой. Тут Маруся испугалась другого: а вдруг ненароком этому алкашу встретится возвращающийся в лоно семьи Коршунов, не дай бог, какой может случиться ужас. И Маруся стала молиться, чтоб в этот момент существования мужика с палкой Коршунова близко не было.

Что тут можно сказать? Можно пофантазировать о феномене раздвоения личности, который никакой не психиатрический факт, и тем более не наука, а самая что ни на есть бытовщина. Бытовщина даже. Которая в нас от страха, живущего спокойно и безопасно, как моль в шерсти. Не надо только трогать лишний раз. Не самое страшное в нашей жизни моль. Дитя малое ее не боится.

И оставим Марусю на этой утешающей, расслабляющей молитве о Коршунове. Она уже повернулась на бочок, и кольцо у нее на левой руке, и Нюрке она послала всевозможные проклятия, и за Коршунова помолилась, и себе пожелала. Господи, ну хоть немного отпусти ремни, ну чтоб полегче вдохнуть и выдохнуть, чтоб до получки хватало, чтоб дочка-дура не дала кому попадая под влиянием выдачных фильмов, а про мир во всем мире, Господи, я не прошу уже давно, какой там мир, если давно война всех со всеми. И хорошо бы отдохнуть... И чтоб на травяни-

стом склоне, по которому скатишься, – и бедра делаются уже, так в польской книге написано, но где такие склоны, чтоб без консервных банок? Надо же переводить такие книжки в стране, где банки и стекло не убираются... Ужас представить, как ты по травянистому склону, а на пути твоём лежат бывшие шпроты. Хотя где они сейчас, шпроты?.. А хорошо бы съесть желтенькую рыбку с кусочком черного... Но про еду на сон грядущий думать не надо, так не уснуть. Надо думать про другое. Другое... Другое... Уснула все-таки Маруся, уснула.

Удивительное явление природы человек, достойное уважения и тем более пожелания спокойной ночи.

Коршунов же уходил все дальше и дальше от дома. Он не знал, куда идет, а тут еще палка определяла некий странный ход мышления. Коршунов ощущал себя сильным, злым, ненавидящим, ему хотелось что-то или кого-то звездануть и уже где-то возле сгиба локтя появилась ухмыляющаяся морда химеры и стала тихонько подталкивать локоть, так вроде, в шутку, мол, что идешь невесел, голову повесил, развлекись-ка, дурачок, палкой! Тебе это будет хорошо! Как ты можешь писать о возжелании неким гвоздем крови, если сам ты ни разу в жизни своей вкуса крови не чувствовал? Ну, шандарахни, дурачок, по тому типу, который идет тебе навстречу. Ты его не знаешь, тебе его не может быть жалко, да и вообще, что такое жалко? Ты вообще думал когда-нибудь о бессодержательности этого слова? Хоть раз в жизни остановила ли жалость кровь? На-

чиная со всем известного пришельца, который пытался говорить доступными словами, и его забили палками, и посадили на крест.

Коршунов почувствовал, как потекла по его жилам тяжелая, похожая на деготь жидкость, как стал он враз сверхматериален, будто поменяли в нем все атомы на совсем другие. Человек же встречный был – наоборот – из прежних атомов. Он был легок, воздушен, он просто парил над землей, и подбить его было одно удовольствие, спасение. Пришлось остановиться, прижаться к серой облупленности дома и замереть. Второй раз за день он пытался раствориться в стене. Сверху на него смотрел чей-то каменный профиль, у профиля была несмыкаемость вечных губ, и Коршунов вдруг подумал, не всеобщее ли это свойство, не замеченное им раньше. Может, и он так же живет с распахнутой щелью рта, изображающего этой щелью улыбку? В общем, летучего мужика мимо себя он пропустил, а палку он вставил именно в рот знаменитости. На, мол, тебе!

Коршунов отошел в сторонку, прочитал фамилию. Нет, не слышал, не знает. Эх, бедолага! Развлекись, каменный незнакомец, вкусом свежего дерева. Сомкни на нем свой вечно несмыкаемый рот.

В конце концов к утру Коршунов добрал до редакции. Заспанный вахтер, другой, не тот, что отмахивался днем от его чиха, пустил его сразу, а Коршунов приготовил длинную просительную речь, с элементами самоговора. Разве с нормальной стати будет мужик таскаться ночью без прикаянности? Тут

для сюжета и годилась бы небольшая самоклевета с намеком, но вахтер оказался человеком нелюбопытным, что до странности Коршунова удивило.

Усаживаясь в холле в кресло и укладывая разутые ноги на кресло напротив, укрываясь снятой с приткнутого к стене президиумного стола зеленой суконной скатертью, он стал искать начало неправильности сегодняшнего дня.

Итак...

Останься он на даче, а не беги с бухты-барахты в город. Ведь то, что он таился от Клавдии Петровны на станции, сливался, как какой-нибудь хамелеон, со столбами и деревьями, уже был ему знак ложного пути.

...И в театре нельзя было вести себя недоумком, которого по особому повелению запустили «в храм», предварительно отхлестав по губам и рукам, дабы ничего не говорил и ничего не трогал.

...И в притвор собственной двери надо было поставить ногу, а потом сказать Марусе коротко: «Дура! Пусти...»

...Тогда не попал бы он в ту подворотню, потому что с этого момента все было стыдно, и теперь он не пойдет больше в этот треклятый театр, гори он синим светом. Значит, вся загвоздка была в ноге, которая не встала в притвор двери. Но так как ни один арбитраж в расчет правую или левую ногу не примет, то виновата во всем была, конечно, все-таки Маруся. Коршунов задремал на сладостной мысли виноватости Маруси во всем... Найденный виноватый – это вообще конец истории, потому что, в

сущности, поиски виноватого и есть главная пружина жизни, натянул ее и разглядел в спирали застрявшего виноватого, дальше что? Спуск пружины.

Через полчаса его растолкала Клавдия Петровна, приговаривая, что скатерть эту, заразу зеленую, не выбивали и не чистили если не пять лет, то десять лет точно, и что пусть сейчас же идет в кабинет Нюрки, которая ночью улетела в Швецию, значит, он может по-человечески выпасться. И действительно, в Нюркиных апартаментах Клавдия Петровна дернула сиденье дивана туда-сюда, превращая его в роскошное ложе, из-под самого низа которого были извлечены пара простыней и ворсистое одеяло. Даже подушка нашлась, правда, в другом шкафу, хорошая, большая, перьевая подушка.

– Ложись, – сказала Клавдия Петровна, – я тебя крокодил. Можешь даже раздеться.

– А эта постель, она что, тут всегда? – спросил Коршунов.

– Всегда, – ответила Клавдия Петровна. – Ты не думай, я все стираю.

Она задернула шторы, стало совсем темно. Коршунов ждал, когда она уйдет, чтобы раздеться, но Клавдия Петровна передвигала на Нюркином столе предметы и не уходила. Коршунов вздохнул и лег одетым, поверх одеяла. Клавдия Петровна как-то серебристо засмеялась и пошла к двери. Коршунов закрыл глаза. Щелкнул ключ в замке.

«Часа два у меня есть», – подумал Коршунов и тут же почувствовал, что рядом тихо и осторожно ложится Клавдия Петровна. Коршунов не открывал

глаза, но если бы открыл, то испугался бы этой картины: плоско лежащих с закрытыми глазами мужчины и женщины, которые дышали так тихо, будто боялись дыханием разрушить хрупкую материю мироздания.

А потом Коршунова настигли запахи. Они были простые, можно сказать, даже примитивные. Это был запах распаренного в горячей воде веника, запах волос, смятых узкой цигейковой шапкой, запах вигони, в недрах которой остался запах духов «Серебристый ландыш», и запах капель Зеленина. Грубовато давал о себе знать запах утром распущенных в воде дрожжей, он резко перебивал теплый домашний запах тела. И эта откровенная простота Клавдии Петровны рождала ощущение покоя и заставила Коршунова не то всхлипнуть, не то громко вздохнуть, на этот звук Клавдия Петровна повернулась первая и обняла его, и все пошло как у людей, и она сказала ему потом, что вот гребовал, гребовал смолоду, а в старости пригодилась, а он ей сказал, что смолоду был дурак. На что она ответила – нет, ты никогда дураком не был, тебе это просто не надо было, и она на это не в обиде. Наоборот. Никто к ней по утрам больше не ходит, годы ее не те, да и девки пошли какие? С ними сговориться на любом месте можно, раз плюнуть. Но держать постель – это у нее осталась привычка. Мало ли? На «совсем плохо» она лучше всех. Разве не так? Ты сам скажи... Скажи мне приятное. Но Коршунов спал. Он не слышал разговоров Клавдии Петровны, он спал глубоко и спокойно, и тело его

было легким, легким. Ему даже приснилось, что он летит, чего не снилось уже лет тридцать. Клавдия Петровна укрыла его со всех сторон и решила, что надо пойти в церковь и поставить свечку всем святым, чтоб этому дурному Коршунову повезло. Потом взяла листок на Нюркином столе и коряво написала: «Не орите. Здесь человек спит».

Прикнутила бумажку к двери и пошла к метлам.

– Нет на тебя, Клавдия, возраста и окорота, – сказал ей вахтер.

– Нету, – ответила Клавдия Петровна, – это ты смотришь в корень.

Страшно и странно затосковал от этих ее слов вахтер. Он вдруг понял, что жизнь прожил плохо и скучно. «Органы отняли у меня органы», – сказал он вдруг вслух и удивился этой своей мысли, но еще больше удивился тому, что не испугался произнесенной мысли, что вот выразился и не боится, и даже более того, готов сейчас встретить их, которые придут за ним, и повторить еще и еще раз: органы отняли у меня органы. Когда-то, лет пятнадцать, а может, и двадцать, он сообщил куда надо про странные утренние пристрастия уборщицы Клавдии Петровны. Но реакции на это не последовало. Тогда он стал вести свой личный надзор, даже говорил пару раз с наблюдаемой, но она, как золотая рыбка, ничего не сказала, лишь метлой по полу мазнула. Тогда он пошел к Нюрке, которая была в месткоме, решил, что главный редактор для такого дела – инстанция слишком, а Нюрка – самое то и женщина. Нюрка, закинув ногу на ногу так,

что юбка совсем сбежала в северном направлении, вызвала у вахтера кошмар от мысли, что у нее, Нюрки, это место можно легко тронуть рукой, подойди и тронь. И сказала Нюрка ему просто и доступно: «Не по адресу... Стучите в другую дверь». Он совсем сник. И последнее время вообще ослаб душой и телом, боялся только, не случилось бы при нем пожара там или кражи. Но бог от этого миловал. Доживал старик почти спокойно, но этот сегодняшний случай... Пре-це-дент... Слово, зачем-то выученное им по бумажке. И последовавший за всем этим вывод про органы – те и другие.

Когда он сдавал смену, сменщик в голову бы не взял, что видит своего напарника последний раз, что тот умрет, обдумывая свои странные умозаключения, на глотке чая. Умрет, как философ и как праведник.

Коршунов выспался, как не выспался давно. Когда он вышел из кабинета, девчонки приснули:

– Это ты, что ли, человек?

Умывшись в уборной, Коршунов пошел в соседний подъезд, в другую редакцию, куда его звали заведовать отделом.

– Созрел для каждодневной службы, – сказал он редактору. – Могу приступить.

– А как же пиэсы? – иронически спросил тот.

– Они уже написаны, и больше я для них ничего сделать не могу.

– Ну и правильно, – ответил редактор. – Когда мы помрем – все и взойдет. – И он перевернул стоящие у него на столе песочные часы. У Коршунова возникало чувство паники от грубо-зримого

ухода времени, но вместе с тем было и ощущение восторга от простоты и изящества самого предмета. Горсть песка, две воронки – и все изобретение. Может, все так и должно быть? Эле-мен-тар-но! А все наши несчастья от усложнения простого?

В общем, от нового редактора Коршунов вышел с ощущением, что, во-первых, он делает глупость, а во-вторых, что это единственное, что он может сделать. Умное кончилось, как кончается товар в магазине, кончается заряд энергии. Как кончается, наконец, полоса. Белая, черная – поди разберись. Он и сам не знает, на какую вырывает. Но точно знает, надо поставить точку. И начинать новое предложение. Главным членом предложения будет Маруся. Коршунов вдруг испугался, что во всем этом Марусино слово не последнее, надо бы ей об этом сказать, и он рванулся к свободному телефону. Подняв трубку, он мгновенно услышал голос Нолика.

– Я нашел вас со второго захода, – сказал он. – Набрал – и вы. Мы вас ждем дома не в одиннадцать, а в десять. У нас отменилась репетиция. Приходите, не завтракая, у нас омлет высотой в три сантиметра.

Коршунов задумался о такой высоте и не заметил, что Маруся уже отвечает. Она сказала, что он свободен, что он может ходить по своим бабам сколько ему влезет, что она – все. Подвела жирную черту и из игры вышла. Что он засветился, как пионер, своими листьями, а она – дура, всю жизнь ему верила.

– Да брось молот чепуху! – закричал Коршунов. – Ветки я наломал тебе, а ночевал я у Нюрки... – Он

еще добавил, что на двери было написано «Спит человек», но Маруся с воплем бросила трубку.

«Ревновать к этой!» – возмутился Коршунов. Но тут вспомнил, что хотел ведь сказать главное – он устроился на работу. Постоянную. Двести двадцать в месяц. Без гонораров. Что к пьесам он больше не притронется. Он их уже написал. Но Маруся на звонки больше не отвечала. Она в этот момент стаскивала с антресолей чемодан, подошвой смахивала с него пыль и грубо заталкивала в него вещи Коршунова.

Когда Коршунов пришел домой, чемодан, закрытый на один замок и ощерившийся другим, с торчащим куском неценной коршуновской одежды, стоял на пороге.

– Дура! – сказал Коршунов. – Я же был в Ньюркином кабинете. Если хочешь всю правду – с уборщицей Клавдией Петровной.

Правда в этой жизни, как говорила покойная мать Коршунова, «завсегда дура последняя». Так и тут. Клавдия Петровна могла вполне обидеться и была бы права – что ее в расчет не взяли. Говоря современным языком, ее просто не закладывали в программу как величину несущественную, а может, просто несуществующую. Ньюрка же, находясь в Швеции, или где бы она ни была, одновременно реально и постоянно существовала здесь. Поэтому, ничего не слушая, а слыша одно свое измученное сердце, Маруся не нашла ничего другого, как кинуться с кулаками на Коршунова и царапать, царапать ему «его наглуую рожу до крови, потаскуна проклятого, проститута всей страны».

Стыл высокий, в три сантиметра, омлет. Когда стало ясно, что Коршунов не придет, Актриса размазала его по лицу Нолика и села на тренажер. Универсальная механика разгоняла в ней кровь, растягивала мышцы и только ничего не могла сделать с мыслью, которая оставалась незагнанной, вольной и оттого бессовестной. И эта мысль кричала потной женщине, вертящей педали, растягивающей позвоночник и одновременно стягивающей на животе кожу, что вчера в руках у нее был шанс. Даже не исправь эта сволочь автор ни одного слова, там все равно было что играть. Но он плюнул ей в душу как Актрисе и как женщине, а сегодня она пятнадцать минут взбивала яички, чтоб получился этот чертов омлет, но он не пришел и на омлет. И не придет – это ясно. Идиот Нолик сидел, оказывается, вчера у парадной, у всех на виду, стужил свои зассатые почки, тоже мне Отелло, жидовская морда. А теперь пошло такое время, что каждое ничтожество, имеется в виду автор, имеет о себе мнение. И каждый гладит себя по подлежащему. Раньше было куда как легче, она бы не унизилась до омлета, который сейчас слизывает с собственного лица Нолик. И что это за жизнь, если нет ролей и уже нет возраста, то есть возраст, наоборот, есть... И трещали суставы, и скрипела механика, и в изысканной голубой гамме крепко запахло бабьим ядреным потом. Маленькими, неслышными глотками пил свой кофе Нолик, пил и думал, что надо идти к Коршунову, другого выхода нет. Идти и сказать ему – нечего в пьесе править, нечего! Он,

Нолик, поставит на все остальные женские роли бездарных дур, вот уж что не проблема. Как она ломается на тренажере – его единственная, как борется с природой. Дурочка ты моя! Я сделаю такой состав, в котором ты будешь моложе дитяти. Так ведь всегда было, всегда, но до того, до того... Ну как объяснить сегодняшнему автору, что ей обязательно надо «переписать пьесу». Этой ночью у нее не вышло. Ах, родная моя, ах, родная... Дыхание-то какое у тебя, дыхание! Тяжеловоз в гору. И свист, и хрип... И запах нездоровый... Тленный! Бедняжечка ты моя...

– Я пошел, – сказал Нолик, надев свой плащ, превращающий его в капор.

– Хр-р-р, – ответила Актриса.

Боже, как она встретила Нолика! Маруся... Будто не дралась. Будто не у Коршунова пламенели на щеках следы ее ногтей. Нолик смотрел на них, и ему хотелось плакать. Как же дошла до жизни такой она, его единственная? Ведь в ней всегда было понимание – без членовредительства. Без! Лицо есть товар.

Ночью он ничего этого не заметил. Ах, как нехорошо!

А Маруся чирикала. Вот святая простота, думал Нолик. Это только в России такие женщины. Присмотрю любого – побитого, грязного, мокрого. Но о русских женщинах вообще он подумает потом. Сейчас не до того... У него одна женщина, ради которой – если надо будет – он толкнет с балкона эту святую чирикающую простоту. Кувырк Маруся. И будет она лететь вперед навстречу земле. Он, Нолик, так часто

мысленно летел вниз головой, что, можно сказать, это у него уже было сто раз – смерть с протянутыми навстречу листьями. Поди к нам, дружок, поди. Вообще нет лучшего способа чего-то избежать, как мысленно это пережить. Наверняка жена Коршунова никогда не думала о такой своей смерти. Потому-то так и близка к ней. Да что это он? О чем? Ему ведь важен поцарапанный автор, которого до того, как привести в театр, надо бы гримировать. Он это сделает сам. Он это умеет хорошо. Он вернется домой, возьмет коробочку с гримом, сделает автору приемлемое лицо, отвезет его к Главному, заставит того подписать договор... Надо быстро запустить машину, только бы не выскользнул Коршунов из рук сейчас, не придавал бы своим телесным ранам большее значение, чем они того стоят.

– Это пройдет быстро, – весело сказал Нолик Коршунову. – Это стоит простить и забыть.

Почему-то неестественно и громко засмеялась святая простота.

Нолик взял Марусю за руку.

– Дорогая моя, – прошептал он. – Взлетим и воспарим над суетой.

Маруся аж подавилась смехом.

– Идемте, – сказал Нолик Коршунову. – Это будет потрясающий спектакль.

– Нет, – сказал Коршунов. – Нет...

– Балда! – закричала Маруся. – Ведешь себя...

Коршунов увидел, как на еще не забывшем смех лице стало дергаться Марусино веко. Она не заметила этого, не прикрыла глаз ладонью, как делала всегда.

Так и стояла, полусмеющаяся, напряженная, дергающаяся. Одновременно ненавидящая и умоляющая.

– Хорошо, – покорно сказал Коршунов, – но я уже устроился на работу.

– Нашел время, – ответила Маруся, а Нолик ничего не понимал. Он мысленно рисовал Коршунова, приставлял к багровеющим щекам бородку. Это совсем идеально, но даже у самых волосисто активных людей за ночь борода не вырастает. А жаль, черт возьми, жаль... Хороши были бы и баки...

На баках раздался телефонный звонок. Маруся была ближе всех, схватила трубку.

– Тебя – сказала она Коршунову. Было что-то в ее голосе, от чего он чуть медленней потянулся за трубкой, и не стой рядом Нолик, прикрыл бы Коршунов микрофон, спросил бы: ты чего? Но не до подробностей мелких чувств было в их прихожей, надо было перешагивать через чемодан и касаться животом Нолика, и это соприкосновение животами было почему-то стыдным, хотя не голыми же? Но было ощущение как бы голыми, как бы голыми и потными к тому же, но это была неправда, они оба были вполне одетые мужчины и не вспотели ничуть, наоборот, из кухонной форточки дуло, сквозило. Ноябрь ведь и роща... Ах, нет, не то... С рощей уже покончено, пришло время Борея. Так вот пунктирно подумалось – ощутилось Коршунову – от живота до Борея, – пока он перехватывал у Маруси трубку.

– Але!.. Але! – гудело в космосе. Именно в нем, потому что мы, простые, мгновенно узнаем междугородные звонки. Еще и слов нет, а канал уже зве-

нит не по-нашему – позванивает напряженной силой, готовясь принять звук и смысл и передать их в далекие края.

– Коршунов, ты? – услышал Коршунов неожиданный Нюркин голос. – Слушай сюда! Я только прилетела и первое, что узнала, тебя тут ставят. Слышишь? Как мертвяка. У них пять твоих пьес и информация, что ты давно сгорел, как истинно русский, от алкоголизма. Этим ты их заинтересовал, между прочим. Я подняла бучу – а как же? – они испугались, что ты живой русский и мало ли что выкинешь. Тебе будут звонить, я решила опередить. Коля, чванься! Продавайся дорого, а наших пошли в жопу. Понял? Маруське же скажи, чтоб не гунявила противно. Ей я – Митрофановна.

Главное, каким-то причудливым образом, но смысл разговора понял Нолик. Видимо, громко звенел победный Нюркин клич, а канал для звона был чист и вымыт.

– А какую ставят пьесу? – закричал Коршунов. – У меня их шестнадцать...

– Про пакость, Коля, про пакость... Ну и название, скажу тебе! Кончено, Коля! Пока... Замигало...

– По естеству пакости, – прочревовещал Коршунов. – И закричал: – Спасибо, Нюр! Пусть ставят... Я разрешаю. Скажи им! Скажи им!

Коршунов думал, что надо бы обидеться на Марусю, но надо бы и порадоваться, надо бы купить вина и водки и позвать тех, кто еще у него остался, надо бы переписать в пьесе домработницу и надо бы подумать, что будет потом...

Но понял – не надо ничего, ибо все бессмысленно тут сейчас, разве что кроме покупки вина и водки. Это единственно необходимое для случая дело. Все остальное он обдумает и обчувствует потом. А выпить надо сразу.

Коршунов закрыл сквозящую форточку – не хватало ему еще насморка к нехватке средств.

– Дура, – сказал он Марусе. – Господи, какая же ты дура! Ну улыбнись, балда, улыбнись. Смотри, как это делается.

И Коршунов раскрыл рот...

2000

Пусть я умру, Господи!

КИНОСЦЕНАРИЙ²

Ноги в стареньких, рваных кедах, из которых уже вылезают носки, обхватили нечто.

Нечто тяжело раскачивается туда-сюда, туда-сюда. Мы видим усилие ног в старых кедах, придающих этому раскачиванию ускорение.

– Слезь, зараза, слезь! – Голос хриплый, из набитого рта. Потом возникает хозяин голоса, строитель в спецовке с откусанным батоном и бутылкой кефира. – Нашлась! Тоже мне! А я возьму и тобой шваркну. Заправлюсь и шваркну! Будешь у меня мокрое место.

– Таких отстрелять, только польза будет. Раньше все стилиаги были... А сейчас пошло черте что. Я бы стрелял! – Это другой рабочий. Он сидит. У него на коленях аккуратненько на чистом полотенце нарезана колбаса, и он ее ест вилкой-трезубцем.

Нечто продолжает раскачиваться. Мы по-прежнему видим только кеды.

– Тут один, такой же, с десятого этажа прыгнул. Жизнь ему, засранцу, надоела.

Это говорит тетка из проходящих мимо. Поставила пудовые сумки на землю и включилась в разговор с пол-оборота. Громко так, зло:

– А ну слезь сейчас же, пока я милицию не привела! Слезь, соплячка! Мать, небось, в очереди стоит...

² Фильм по этому сценарию вышел на экраны в 1989 году (Киностудия им. Горького, режиссер Борис Григорьев).

– Какая там мать... Детдомовские они. – Тот, что с трезубцем, ткнул им в направлении чего-то и многозначительно замер. – Растут без понятия.

– А у тебя его много, понятия? – сказал один из строителей. – Я сам детдомовец, чем я тебя хуже?

– Я не в том смысле...

– Напустились! Стрелять! Чего все такие злые? Гав! Гав!

– Слезай, соплячка! Кому говорю – слезай! – Тетка уже кричит что есть мочи.

На что же, наконец, она смотрит, на кого так кричит?

Ближе, ближе нечто... Все крупней рваные кеды.

На каменной «бабе», которой рушат стены, сидит «соплячка». И всего ничего ей – лет четырнадцать. И такая она гневная и решительная в этот момент, что тот, с кефиром, вдруг сказал:

– Да что я сам? Мне этот домик самому нравится... Пусть бы стоял... Хлеба не просит...

Видим домик. Белый, изящный, с колоннами. Но запущенный и облупленный так, как можно запустить дом, если поставить себе эту цель и никакой другой больше.

Она же, «соплячка», молчала и раскачивалась на фоне старой усадьбы, высотной новостройки, вырубленного сада и нескольких тоненьких почему-то сохранившихся возле усадьбы березок.

Перепрыгивая через канавы, идет милиционер.

Ему навстречу бежит прораб.

– Никакой ценности дом не имеет, – кричит прораб. – У меня есть документ из АПУ.

– Слезай! – мягко сказал милиционер. – Чего толпу собрала?

– Крови жаждут! – ответила девочка. – Вот он батон сожрет и будет мною шваркать! До мокрого места.

– Шуток не понимаешь, да? – закричал тот, что с батоном.

– Ты чья? – спросил милиционер.

– Государственная, – ответила девочка. – Значит, ничья. Шваркай, дядя, скорей! У меня ноги сомлели.

– Господи! Господи! – кричала немолодая женщина.

Она бежала, расстегнув пальто, и так махала руками девочке, что толкнула стоящего и наблюдающего пожилого мужчину в каком-то линиялом, зашорканном берете.

– Оля! Оля! – кричала женщина. – Они не будут! Они не будут! Академик, святой человек, с ними не согласен! Он им не подписал. – Подбежала к прорабу и сунула ему какую-то бумагу.

Потом кинулась к «бабе» и, причитая, стала снимать Олю:

– Дурочка моя! Раймонда Дьен!

Мужчина в берете пожал плечами и ушел, насвистывая какую-то странную мелодию из нескольких песен сразу.

Дверь, рядом с которой написано: «За океан и обратно». Режиссер-постановщик... Директор...»

В нее вошел человек в берете.

Комната полна народу. В центре ее – режиссер в позе «воздев руки горе». Видимо, он много говорил до того, а сейчас была немая сцена. Человек, который вошел, снял берет и стал почему-то бить им по колену, будто выбивая из него пыль.

В той же позе – «руки горе» – режиссер закричал сразу очень высоким голосом, отчего и сорвал его тут же до фальцета.

– Я пишу докладную, Иван! Ты не понимаешь моей интеллигентности... В конце концов, у тебя было три месяца... – Он уже почти сипел. – А ты приволил каких-то... Кх-кх-кх... Ме-дуз...

– Кого я приволил? – тихо спросил человек, стуча беретом по колену.

– Ме-дуз... Дайте воды, черт вас возьми. – Все одновременно, кроме Ивана, кинулись к графину. Он был пустой.

Толпой побежали за водой.

Режиссер всем своим видом изображал отчаяние, остальной народ изображал сочувствие, Иван же зачем-то растягивал берет во все стороны и молчал.

Принесли воду. Режиссер, кривясь, залпом выпил стакан и сказал твердым баритоном.

– Последнее предупреждение, Иван... Самое последнее... Мне нужен характер... Личность... Маленькая, но стальная девочка...

– Раймонда Дьен, – сказал Иван. – Ладно, я пошел... – Он нацепил на ухо побитый и растянутый берет и покинул комнату.

– Кто такая Раймонда Дьен? – застонал режиссер. – Кто она? Я забыл напроць.

Все пожимали плечами, переглядывались. Так и не вспомнили.

Сначала мы видим глаз. Большой, красивый, в комочках туши на ресницах, с небесной синевой на веке. Глазу трудно скрыть восхищение самим собой. Выражение его таково, что мы должны понять: не каждому такой глаз дается. Это редкий, уникальный глаз.

А потом возникает рука, как бы со стороны, отнимает зеркальце, грубо отнимает, не ценя красоту, и мы увидим ту самую девочку Олю с «бабы», которая в халатике сидит по-турецки на кровати и смотрит на нас двумя разными глазами – парадным (мы его уже видели) и обыкновенным, который на каждый день.

Оставшись без зеркальца, Оля держит в одной руке кисточку для ресниц, в другой, вытянутой, тушь, в которую поплеывает в этот самый момент ее соседка с другой кровати, в таком же точно халатике. Эта другая девочка остервенело малюет в черный цвет абсолютно рыжие и короткие ресницы, что выглядит смешно и грустно одновременно. Потому что – выясняется – рыжесть никуда человеку не деть. Это Катя.

От одинаковых халатиков кажется, что девочек много, хотя на самом деле их шестеро. Они все сидят по-турецки на примитивных кроватях и занимаются с упоением черт знает чем.

Одна нарисовала себе такие губы, которые «носили» когда-то давно-давно, в эпоху немного кино. В ту эпоху жили бабушки, а может, и прабабушки наших девочек. Это Лорка-великанша.

У другой же на щеке нарисован цветочек. Наверное, где-то это виделось... Это Муха.

А у третьей вообще оказались две абсолютно разные половины лица. Одно «под китаянку», другое «под негритянку». Это Лиза.

У Фати, татарки, на лице сплошная грязь.

Зеркальце, и помада, и тушь, и коробочка самой дешевой розовой пудры, облаком разлетающейся по сторонам, – все общее. И все эстафетно, в строгой последовательности передается из рук в руки. А потому наша Оля так и продолжает сидеть с одним нарисованным глазом. Она терпеливо ждет своей очереди.

Девочки разговаривают. Это довольно хитрый разговор, в котором вопрос не обязательно требует ответа, а одно слова, для постороннего – пустое, для них – целая речь.

- Экскаватор...
 - Запросто...
 - Сыпануть в него гравия... И абзац!
 - Колония...
 - А Клавдя?
 - Умом тронется...
 - Голодовку?
 - Ой! Ни за что! Умру... У меня такая природа.
- Я бы все время ела...
- Мри на здоровье...
 - Дипломатов ненавижу...
 - Им быстро строят...
 - Можно кафель побить...
 - Колония...
 - Клавдя... Вот наше горе...

– У нее пульс сто двадцать в покое. Тук-тук-тук... На улице слышно.

– Идиотка старая! А бегают, как здоровая...

Время от времени то одна, то другая вздыхает перед тем, как проштампованным детдомовским полотенцем вытереть глаз ли, щеку с цветочком или губы. Не сразу ведь достигается нужный художественный эффект. Помучаешься...

Дверь комнаты закрыта ножкой стула. А окна загорожены чем бог послал. Портфелями, подушками, альбомами, а то и просто газетами. Дело в том, что в комнате нет штор. Болтаются вверху ненужные колечки. На одном висит пришпиленное булавками платье с отпущенным подолом. Нитки на подоле шевелятся, как щупальца.

На стене школьная доска, из тех, что были уже кем-то выброшены. На ней нарисована карикатура на Олю, сидящую на «бабе». И подпись.

Всех, кто тронет этот дом,

В порошок сотрем.

Это вам не шуточки,

Дипломаты в юбочках!

Разрисованные, как дикарки, девчонки с наслаждением разглядывают себя в передаваемое из рук в руки зеркальце.

– У одной моей знакомой тетки, – говорит Катя, – парик серебряный. Она его как наденет – ну! Обвал!

– Парики уже не модны, – отвечает ей Лорка.

– Подумаешь, – отвечает Катя. – Она за него во семьдесят рублей отвалила, что ж теперь, выкинуть?

Должно возникнуть ощущение странности этой комнаты, где нитки у подола платья на кольце шевелятся, как щупальца, где у всех девочек одинаковые халатики, где подушки выполняют заградительную роль на подоконнике, а ножка стула торчит в ручке двери... А на доске написана эта нелепица – дипломаты в юбочках.

Мы видим изящный белый дом со стороны и даже немножко с высоты. Недалеко от него притулился к когда-то литой ограде домишко – не то проходная, не то по-старому привратническая.

Сейчас к ней приближается тот самый человек, который любит почему-то бить по колену беретом. Стоило ему дойти до двери привратнической, как из нее вышла женщина, которая бежала в распахнутом пальто, кричала «господи, господи» и поминала добрым словом какого-то Обручева. Женщина была в таком же, как у девочек халате, из-под которого торчали черные трикотажные штаны, а лоб ее был туго обмотан мокрым вафельным полотенцем.

– Интересно, куда это вы? – спросила она.

Мужчина стянул с головы зашорканный берет и вежливо ей поклонился.

– Нечего! Нечего! – сказала женщина. – Надевайте его назад. Это закрытая территория. Тут дети.

– А! – протянул мужчина. – А я уж подумал новость что... Тиф... Ящур... Резервация... Сумасшедший дом. Вообще-то мне нужна Раймонда Дьен.

– Она ничего плохого не сделала! – закричала женщина. – Весь спрос с меня.

Мужчина засмеялся и полез в карман. У женщины в глазах был испуг.

Так и не сняв вафельное полотенце со лба, женщина заворожено слушала мужчину уже в своей комнатке. Руку она держала на сердце.

– Господи Иисусе! Как я обмерла! – сказала она. – Девочка она, конечно, золото... Без троек... И такая мыслящая. Спрашивает тут: не может ли Дарвин ошибаться? Дарвин! Сейчас я ее приведу... А то, что с ней сегодня случилось...

Женщина достала кусок литой ограды и как-то даже слегка завывала.

– Красота-то какая. На это ж еще пятьсот лет смотреть и не насмотреться. Она такая единственная. Ее ж, как дитя, защищать надо... А никому не жалко... Ни дом, ни сад, ни девочек... Куда я только не писала... Хоть бы восемь классов им дали кончить... В своем доме... Спасибо Обручеву... Телеграмму прислал... Девочкам же обидно, они ж тут ходить учились... Я думала, вы из органов. Я такая стала... Всех боюсь... От всех неприятностей жду...

Но тут же сообразила, что сидит в полотенце и очень засмушалась. Почти до слез. Схватила за голову и скрылась за шкафом, что стоял поперек комнаты.

Мужчина оглядел весьма аскетическую каморку. В «красном углу» висели два портрета, видимо, из «Огонька» – Макаренко и артиста Ульянова.

– Родственники? – шутейно спросил мужчина.

Женщина вышла из-за шкафа, ладонями пригладивая волосы.

– А если по-человечески, все мы родственники, – печально ответила она. – Только забывать стали про это... А моя бабушка по матери Ульяновой была...

Мы снова видим девочек. Накрашенные, в одинаковых халатах девочки танцуют под «ля-ля-ля». Этот танец – помесь всех танцев сразу.

Солирует Оля.

Когда стул в двери начинает дрожать от стука, стоящая на притолоке двери вывеска «Детдом №11 Березовского района» валится на пол.

За дверью крик:

– Что там у вас происходит? Откройте сейчас же! Немедленно! Оля, Лера, Катя!

Оля громко вздохнула и сказала не то себе, не то всем:

– И чего это ей не сидится на месте?

Именно она, не торопясь, босиком пошла к двери, ногой отодвинула упавшую вывеску и вынула стул из ручки.

– Господи! – сказала вошедшая. – Сколько раз вам говорить. От косметики – ранние морщины. Самая красивая женщина – это та, которая просто чисто умыта.

– Ха-ха-ха! – сказала рыженькая. – Вы как скажете, Клавдяванна, так хоть стой, хоть падай...

Клавдия Ивановна вздохнула, потому что, видимо, сама точно не была уверена в том, что говорила. Но все-таки она была женщина, поэтому осторожно, неуверенно, а потянувшись к баночке, пальцем мазнула по румянам и как-то тупо уставилась на пятна.

– А теперь на щечку! – засмеялась та, что из немого кино. – Давайте я вас... – И девочка было кинулась к ней, но Клавдия Ивановна решительно вытерла палец о штаны и сказала:

– С вами умом двинешься... – Прочла написанное на доске. – Почему в юбочках? – с тоской спросила она. – Забыла, зачем к вам шла... Сбили вы меня с толку... О господи!.. Там пришел один... Говорит, что режиссер кино, и документ при нем. Поговорить с Олей хочет...

– О чем? – спросила Оля почти сердито, потому что у всех девчонок рты от удивления оказались открытыми, и именно это заставляло Олю вести себя так и даже чуть с пренебрежением.

– В кино снять... – почему-то виновато сказала Клавдия Ивановна и стала намачивать полотенце водой из графина. – Он тебя приметил... – Лукаво: – Когда ты на «бабе» сидела... Надо, говорит, ее попробовать...

– Я не суп, чтобы меня пробовать, – сказала Оля, но тут начался такой визг и такие эмоции, тут так все к ней кинулось, что уже через секунду нельзя было понять, кто есть кто. Была просто куча мала перемазанных девчонок.

Клавдия Ивановна полотенцем вытерла лицо Оли. Девчонки надели на нее платье, даже обули ее, а Оля покорно стояла, и лицо у нее было детское-детское, растерянное-растерянное.

Потом Клавдия Ивановна и Оля шли по заваленному строительным мусором двору. Прошли мимо той самой «бабы». Клавдия Ивановна улыб-

нулась и хотела что-то сказать, но Оля споткнулась о какую-то трубу и едва не упала.

– Да что ж ты такая! – испугалась Клавдия Ивановна. – Когда ж я научу тебя под ноги смотреть... Всю жизнь головой вверх, ну что ты у меня за человек?

Оля насмешливо посмотрела на Клавдию Ивановну, которая в волнении всегда не умела выразиться.

– Ладно, – сказала она. – Я буду головой вниз.

Клавдия Ивановна вздохнула.

– Все бы вам над Клавдией смеяться. Дура она у вас... А вот снимут тебя в кино, еще заскучаешь. – Вдруг неожиданно, артистично даже, передразнивает: – Где ж ты моя Клавдеюшка? Кто ж мне кошечку заплетет? – И совсем в другой тональности, со слезами: – Ты маленькая была худющая, в горшок проваливалась... Артистка! Приходилось тебя под мышки держать...

С этими словами она привела Олю к себе, где на казенном стуле возле казенного стола сидел уже знакомый человек. От его тоскливости не осталось и следа, и если можно человеку светиться, то он – да, светился, когда смотрел на Олю.

– Чуть ногу сейчас не сломала... – сказала Клавдия Ивановна. – Чтоб ей под ноги смотреть, специальный указ писать надо.

– Здравствуй, Оля! – сказал режиссер. – Меня зовут Иван Иванович. Легко запомнить.

– Я тоже Ивановна, – зачем-то сказала Клавдия Ивановна, и на лице ее промелькнуло что-то вроде гордости, но тут же гордость исчезла. Не это было сейчас главное.

Клавдия Ивановна очень ревниво и пристрастно смотрела то на режиссера, то на Олю. Потом она подошла и перебросила челку девочки слева направо, а пуговицу верхнюю под горлом расстегнула – давила пуговица.

От этих ее нехитрых стараний лицо у Ивана Ивановича стало чуть печальным, что совсем уж расстроило Клавдию Ивановну. Она вдруг даже испугалась: а вдруг Олю не возьмут?

– Они у меня все артистки, – с вызовом сказала Клавдия Ивановна. – Хоть кого берите... И не сомневайтесь. Детдом наш уже полгода как расформировали... А эти девочки все такие способные, такие способные... Решили из восьмого класса их пока не срывать... Вот я и бегаю, чтоб дожить дали... Восьмой кончат – в ПТУ пойдут, а у меня уже стажу тридцать три года...

– Так много? – удивился Иван Иванович.

– Да! – печально сказала Клавдия Ивановна. – Я уже старая, я тут с детства, с войны... Тут и в школу пошла, и кончила, и работать осталась...

Она осеклась, потому что испугалась, что человеку это может быть неинтересно. При чем тут она?

– А Олечка, – перешла она сразу к другой теме, – у нас очень одаренная по литературе... Такие пишет сочинения... «Человек – это звучит гордо». Ну, ничего... Теперь ПТУ хорошие. Среднее образование... Можно и дальше, если не дурак...

– Я пойду в швейную мастерскую, – сказала Оля. – Сколько можно говорить?

Такое страдание, такую муку выразило лицо Клавдии Ивановны, что не сказать... Оля увидела, вздохнула и поняла, что надо менять тему.

– Вы не похожи на режиссера, – сказала она Ивану Ивановичу. – Вы похожи на нашего плотника.

Клавдия Ивановна абсолютно непедagogично пнула Олю ногой под столом.

Иван Иванович засмеялся каким-то тихим, коротким смехом.

– Вообще-то, – сказал он, – я режиссер не главный.

– А! – разочарованно вздохнула Оля.

– Какая разница, какая разница! – закудахтала Клавдия Ивановна. – Сегодня не главный, завтра – главный.

– Нет, – сказал Иван Иванович, доставая сценарий. – Со мной этого не будет. – Засмеялся. – Но плотники ведь тоже нужны? И не главные нужны... Вот сценарий. Прочти к завтра. Ладно? И приходи на студию... Адрес на сценарии... Мы тебя сфотографируем... Если ничего у нас не выйдет – ты это знай, вполне может не выйти, – фотографии на память будут.

– Выйдет! – закричала Клавдия Ивановна. – Чего это не выйдет?

– Не пойду! – ответила Оля. – Я хочу быть портнихой. Простыни шить, наволочки... Полтора-ста смело можно выгнать...

– Куда выгнать? – спросила Клавдия Ивановна. – Что ты чушь мелешь?

– Мне полтора-ста надо в месяц, – сказала Оля. – Ни рубля меньше. У меня запросы большие. Сколько в кино платят?

Иван Иванович с интересом смотрел на девочку. Ему нравилось, как она врет, как она сидит за столом, обхватив ногами ножки стула. Надо было видеть и лицо Клавдии Ивановны, которая в этот момент не узнавала свою воспитанницу. Господи! Какие простыни? Какие наволочки? Какие полтораستا?

– Что о тебе человек подумает? – сказала она. – В деньгах что ли счастье? Ты что – шкурница?

Оля хмыкнула так, что можно было не сомневаться – да, шкурница.

– Значит, до завтра, – сказал Иван Иванович. Он положил руку на плечо Оли и слегка погладил... Чуть, чуть... Куда только делась меркантильная швеймотористка! За столом сидела растерянная и польщенная девочка... Иван Иванович увидел все это в зеркале с отбитым краем, которое стояло на верхней полке этажерки неизвестных времен. Увидел и улыбнулся.

Клавдия Ивановна разрежала на толстые куски два батона по тринадцать копеек. Из старенького холодильника «Север» достала колбасу в лопнувшей пленке, нарезала ломтями. И все это сунула в пакет.

– Кто из вас хлеб не ест? Выкидывает? Все надо есть с хлебом! Все! В нем весь рост, вся сила... И экономия... Одной колбасы сколько можно съесть?

Оля стояла у двери, ждала...

– А про деньги что ты болтала? Чужой человек... Тебя не знает... Что подумает? Что для тебя деньги – все?.. Стыдно это... Человек – он старше денег... И умнее. Это он их придумал, а не они его. А ты – полтораستا, полтораستا!..

– Жить хочу, как человек, – ответила Оля.

– А как человек – это как? – Клавдия Ивановна в сердцах даже села на табуретку. – Ну как?

– Чтоб даже курице не стыдно было в глаза посмотреть, не говоря о кошке, – отрапортовала Оля и засмеялась. – А также собаке, червяку...

– Молодец, – перебила Клавдия Ивановна, вставая. – Помнишь... И на том спасибо... Ладно, иди... Читай свое кино... Это ж надо! На кран влезла – и здрасте вам!

Оля уже через порог переступила, а Клавдия Ивановна крикнула:

– А зазнаешься – отрекусь! И смотреть тебя не пойду. И девчонкам не велю.

– Могу вообще туда не ходить, – ответила Оля. – Можно подумать, что рвусь и плачу.

– Ну, знаешь! – нелогично возмутилась Клавдия Ивановна. – Еще как пойдешь! Как миленькая у меня пойдешь. Обеими ножками. Не пойдешь – отведу поневоле.

На другой день Оля оказалась в большой комнате, где сидело много разных девчонок. Она сидела в углу и молча всех презирала. Она презирала лейблы, которых было невероятное количество на юбках, брюках, куртках. Она ненавидела сережки и брошки. Она ненавидела умело подсиненные веки, контуром обведенные губы. Сама она была чисто вымыта по законам красоты Клавдии Ивановны. Клавдия же Ивановна в этот момент в своем лучшем костюме за пятьдесят четыре рубля тридцать копеек в уцененном отделе и уцененном же румынском пальто ходила туда-сюда перед студией, и Оля видела ее в окно, но

не решалась ей крикнуть, хотя окно было приоткрыто, и крикнуть можно было запросто.

В комнате же, кроме Олиного презрения и хорошо одетых девочек, было много чего другого.

Во-первых, была большая печальная собака на руках очень веселого, перед всеми заискивающего человека. Человек старался всем попадаться на глаза и даже тыкал в людей бедной собачьей мордой, повторяя: «Она не жилец, точно. Я вам гарантирую!»

Люди от этих слов шарахались, а человек почему-то, наоборот, радовался.

Был усталый, слегка помятый господин. Это он сказал человеку с собакой.

– Вы что, ненормальный?

– Да нет! – радостно сказал человек. – С живодерни я...

– Эй! – крикнул помятый заполошенному директору картины, который вбежал, сказал «ага!» и тут же стал убегать. – Эй! Мне на сегодня СВ сделали? – И разведя руками, он сказал сразу всем. – Устал зверски. У меня параллельно фильм в Белоруссии. Я неделю уже сплю в поезде.

Был оператор, который морщился, глядя на собаку, на девочек, на усталого артиста, будто у него болели зубы.

Пришел фотограф и громко спросил:

– Будем делать искусство фотографии или как?

Прибежала ассистентка с картонными номерами.

В общем, был бедлам.

Входили и выходили какие-то люди, говорили про какие-то беспорядки в организации, а погода,

дескать, стоит только «снимай-снимай»! Зашел какой-то тип, посмотрел на всех девчонок сразу и сказал кому-то в коридоре:

– Ивашка в своем репертуаре! Бери – не хочу, и не надо...

Оля возненавидела типа. Ивана Ивановича не было, то есть он тоже заскакивал, но так, будто руку ей на плечо вчера не клал. Поэтому Оля его возненавидела тоже.

Клавдия же Ивановна печатала внизу шаг, и вид у нее был как у человека, готового на всякий случай к защите и обороне. А так как для такого дела надо как следует выглядеть, Клавдия Ивановна зашла за угол, оглянулась и, чтоб никто не видел, подтянула юбку и колготки сразу, одернула кофту, потыкала пальцами в волосы и решительно вышла на открытое пространство.

Кто ж знал, что угол этот, спрятанный от улицы деревьями, из окна, где битком было людей, и сидела Оля, был хорошо виден. И надо было такому случиться, что одна из девчонок, вся такая нежная и ломкая, как стебелек, с удивительно прозрачной кожей и необыкновенно легкими, шелковистыми волосами смотрела в этот момент в окно и видела неуклюжую Клавдию Ивановну с ее этими неуклюжими жестами.

Юля, так звали шелковистую, смотрела в окно не просто так. Она нарочно встала со стула и поворачивалась туда-сюда, потому что оператор с гримасой зубной боли остановил на ней взгляд и смотрел теперь в упор на нее, отчего Юля и демонстрировала себя на контражуре.

Правда, оператор быстро отвернулся, Юля же в этот момент подглядела Клавдию Ивановну и презрительно засмеялась, откинув фарфоровую головку.

Оля тоже все видела. Она ведь все время поглядывала на Клавдию Ивановну, и ничего ей сейчас так не хотелось, как прыгнуть из окошка третьего этажа прямо к ней. Тем более что оператор смотрел теперь на нее, смотрел серьезно, и у него, кажется, перестали болеть зубы. Он даже улыбнулся Оле через проходящую боль и подмигнул заговорщицки, а Юля, такой она человек, принимала это подбадривание на свой счет и смеялась смехом колокольчиком. Конечно, она была самая красивая, что там говорить...

Но тут пришел человек, и сразу стало ясно, что пришел Главный режиссер, а не какой-то там плотник... Или даже страдающий зубами оператор.

Он поклонился всем девочкам сразу, но каждая решила, что он поклонился именно ей. Это было высокое искусство. Потом он сделал широкий жест и сказал стоящему за ним человеку с фотоаппаратом, который кричал про «искусство фотографии».

– Мишенька, сними их всех лучшим образом. Милые мои, – сказал он девочкам, – все, все, идите за Михаилом Абрамовичем. Он вас сфотографирует.

Они как-то очень громко топали по студийному коридору. Оле стало неловко от этого стадного топая, и она отстала, и вместе с ней отстала Юля.

– Что у тебя в руках? – спросила она.

– Сценарий, – ответила Оля.

– Тебе дали? Тебе уже дали?

Оля смотрела, не понимая, а Юля сверлила ее злыми, не подходящими для красоты глазами.

– Кто дал? Кто? – допытывалась она.

– Чего пристала? – возмутилась Оля. – Мне его домой доставили! В постельку!

И ушла гордо.

В фотолаборатории на девочек вешали те самые картонные номера, которые мы уже видели. Оле повесили номер «пятый», а Юле – «первый». И Юля снова засветилась, потому что увидела в этом добрый знак.

Все было отвратительно. Белый, раздевающий свет. Высокий неудобный стул. Номер на груди, как для казни. Фотограф Миша холодными пальцами поворачивал подбородок, закидывал за уши волосы или спускал их на лоб. Оля вся просто закаменела, и только глаза ее гневно светились.

– Эта? – спросил тихо Главный. Он пришел вместе с Иваном Ивановичем.

– Эта, – ответил Иван Иванович.

– Что-то есть, – задумчиво сказал Главный.

– Что-то! – возмутился Иван Иванович. – Норов!

– Ну, ну... – сказал Главный. – Как говорит один мой знакомый поляк – посмотрим-увидим.

Они стояли в павильоне, и Оля просто умирала от страха, но старалась держаться так, чтобы никто это не заметил. Просто ей от волнения обязательно надо было за что-нибудь держаться. Она держалась за какую-то черную треногу. И косточки пальцев ее побелели.

– Открой, детка, сценарий на пятнадцатой странице, – Главный ворковал. – Что там у нас? «Она сидела на подоконнике, свесив ноги с третьего этажа, и крупные слезы катились по ее щекам». Где у нас третий этаж? – Главный поставил стул. – Сядь так, будто под тобой десять метров пустоты.

Оля села, и случилось удивительное: все увидели на ее лице... подавленный страх и презрение к страху, вызов и дерзость. У нее было сейчас такое же лицо, какое было на «бабе».

– Ничего! – удовлетворенно промурлыкал Главный. – А заплакать сумеешь?

– Нет! – твердо сказала Оля.

– Еще как сумеешь! – Главный подошел и заговорщицки сказал: – Представь, что твоя мамочка тебя очень расстроила... Ну, к примеру... Не купила тебе... «Адидас»... Дубленку... «Аляску»!!!

Надо видеть, как лицо Оли делается чужим, отсутствующим от этого перечисления. Это замечает Иван Иванович.

– Что не купила? – спрашивает Оля. – Какой остров?

– Чудачка! – воркует Главный. И Ивану Ивановичу: – С юмором она у нас...

– Курточку «Аляска», девуленька! Вы же теперь за курточку и убить можете. – Главный похохатывает.

– Можем! – отвечает Оля. Она смотрит на Главного в упор, черным взглядом. Тот слышит только себя.

– Вот! Вот! А ты мечтала о ней, ты уже представляла, как ходишь в ней по улице, как тебе все завидуют, и нате вам... Куртки не будет... Пред-

ставь это, детка! Ведь до слез же обидно... А мамочка тупая, не понимает, накричала не по делу... А папочка вообще... Ну, одним словом... Скандал. Можешь себя растравить в этом духе? До слез?

– Могу, – ответила Оля. – Я просто прыгаю с третьего этажа вниз головой.

Она спрыгнула со стула, как с третьего этажа, и ушла из павильона.

Она шла, по ее лицу катилась большая и злая слезинка. На выходе она так хлопнула дверью, что задребезжали стекла.

Клавдия Ивановна все так же печатала шаг. Увидев ее, Оля старательно шмыгнула носом и вытерла щеки. Во всяком случае, к воспитательнице она подошла почти в порядке. А некоторая покраснелость лица вполне объяснялась ситуацией.

– Ну? – не своим голосом спросила Клавдия Ивановна. Дорогой дешевый костюм был под пальто сдвинут, таково было качество ткани – она не держалась на месте, – и его уже пора было поправлять. Бусы из косточек перекрутились у горла. Лицо Клавдии Ивановны было воинственным и перепуганным сразу.

– Я им не подошла, – сказала ей Оля. – Такая все чухня! Сядь, говорят, на третий этаж и ноги свесь!

– Они что, спятили? – возмутилась Клавдия Ивановна. – А ну пошли отсюда!

Они выросли из-под земли. Главный и Иван Иванович.

– Оля! – сказал Главный. – Люди делятся на умных и не очень. Тебе сейчас не повезло, ты встретишься с «не очень».

Клавдия Ивановна от удивления открыла рот и автоматически закрыла Олю своим телом.

– Ну вы... – сказала она ему. – И вы тоже. – Это уже относилось к Ивану Ивановичу. – Если вы тогда ее увидели на кране, так что ж, по-вашему, ею можно рисковать? Садитесь сами и свешивайте ваши ноги, откуда хотите. А я ей не позволю. Она ребенок! И защита у нее, слава богу, еще есть!

Оля же смеялась. Первый раз в жизни взрослый человек честно признавался ей, что он не умный. Это было ни на что не похожее признание, но оно было приятным.

– Прости меня, идиота, – сказал Главный. – Прости и, пожалуйста, давай вернемся... Понимаешь... Дочка моя устроила мне вчера такую истерику... Из-за куртки... Мне ее убить хотелось.

– Какой куртки? – Клавдия Ивановна по-прежнему держалась воинственно.

– Извините, – сказал Главный. Он взял руку Клавдии Ивановны и поцеловал ее. От растерянности Клавдия Ивановна стала трясти кистью, будто ее не поцеловали, а прищемили дверью.

Иван Иванович же молчал. Он смотрел на Олю, а когда она все-таки пошла за Главным, тронул ее за плечо и погладил его.

В павильоне суэта. Ставят свет, ругаются. Проверяют, все ли на месте в красивой трехкомнатной квартире, в которую и превращен павильон.

Иван Иванович привел в «квартиру» Олю.

– Вот тут, значит, ты живешь... В смысле – она. Освойся...

Оля осталась одна. Стояла в «прихожей» и боялась идти дальше. И вдруг из «окна», настоящего, с подоконником и стеклами, появилась рука, отодвинула занавеску, и мы увидели шелковистую Юлю, что смотрела на Олю прямо и дерзко.

Хлопнула створка, только занавеска по-прежнему шевелилась.

И тогда Оля решительно пошла к окну и увидела стоящую напротив крашеную декорацию, изображающую высокий дом и деревья, и уходящую Юлю.

Теперь, двигаясь по квартире, Оля будет искать «ненастоящесть».

Медленно трогая руками вещи, Оля проходит по комнатам, ища обман.

Пианино – играет.

Гитара – звенит.

Кубик Рубика – вертится.

Собрание сочинений Конан-Дойля – пустые обклеенные коробки.

Платья в шкафу – настоящие.

Яблоки в вазе – из папье-маше.

Была большая картина, на которой изогнутая, худенькая девочка, шар и великан с квадратными плечами.

Оля смотрела на эту картину. Картина была ненастоящая, плохая копия. Но девочка была живой. И даже будто похожей на Олю.

Глаза у Оли были расстроенные, печальные и сердитые сразу. Она взяла яблоко и запустила им в картину. Яблоко мягко шмякнуло.

Потом Оля села в кресло – настоящее, глубокое, подняла голову и не увидела потолка.

В кухне капала вода из крана, а рисованный дом напротив «зажегся огнями». Оля повернула ручку радио, и комнату заполнило «На тебе сошелся клином белый свет».

За стенами «квартиры» кто-то громко сказал:

– Верхний свет не работает... Скажите электрику.

– Он за сосисками, в буфете.

– Чтоб он подавился ими, – пожелал кто-то усталым голосом. – Никогда его нет.

Оля встала, подняла яблоко и аккуратно положила его на место.

Раздался настоящий звонок в дверь, и вошел Иван Иванович, стуча беретом по колену.

– Ты ж читала, – сказал он. – Это очень обеспеченная семья. Ничего тут особенного... Так теперь многие живут... И это ведь хорошо?

Но спросил это как-то неуверенно – про «хорошо». Как будто в чем-то сомневался.

– Конечно. Хорошо, – твердо сказала Оля, – хорошо жить лучше, чем жить плохо...

– Вот видишь, – обрадовался Иван Иванович, – понимаешь... Сама же хочешь сумасшедшие деньги. Полтораста в месяц.

– А у этих... У них сколько в месяц? – Оля показала на квартиру.

– Ей-богу, не знаю! – сказал Иван Иванович. – Ну, не бедствуют...

– Но им, – ответила Оля. – Этим... Как их... Моим родителям... Им все время чего-то не хватает, да? Они хотят лучше – еще и еще. А она... То есть я... Не хочет это понять... Так? Чего она все время базарит?

– Да она просто не хочет, чтобы родители уезжали. И все. Ничего больше. Просто хочет быть с мамой...

– Но если мама это не понимает, значит, для мамы что-то важнее? Они едут за тряпками?

– Да нет... Они специалисты... Их приглашают на интересную работу... А ты в восьмом классе... И еще в музыкальной школе. Тебе надо учиться.

– Им на это наплевать?

– Они же не бросают тебя на произвол. У тебя замечательная бабушка!

– Бабушка сволочь... Ей уже за пятьдесят, а у нее любовник. Она и собаку усыпляет...

– У собаки рак. Я тут недавно читал – животные болеют человеческими болезнями.

– А наоборот?

– Не понял...

– Ну, может человек взять и покусать кого-нибудь? – Оля смотрит насмешливо.

– Может, – сказал Иван Иванович, – только собаки и животные тут не при чем. В человеке, знаешь, столько всего намешано... Но я тебе скажу: все в нем человеческое – и плохое, и хорошее... Все дело в том, что берет верх.

– А что у них, – Оля обвела руками комнату, – берет верх?

– Черт их разберет, – проворчал Иван Иванович. – Вникай! В человека нырнуть страшней, чем в море...

Как раз в этот момент в павильон вошли актеры, которые будут играть родителей девочки, Главный, художница.

– Ну, дети мои! – воскликнула Актриса-мать. – В престижных домах давно все не так. Никто уже не ставит эти идиотские стенки.

– Я все делала по каталогу! – У художницы тут же навернулись слезы.

– Лина! Перестаньте! – Это Главный. – У меня тоже было ощущение чего-то не того. Разве я вам не говорил?

– Нет! – крикнула художница. – Вам понравилось! Вы мне поцеловали руку!

– Лина! – крикнула Актриса тоже. – Я ненавижу эту вашу манеру сразу плакать.

– Я не плачу! – плакала художница.

– А я плачу! – не плакала Актриса. – Потому что в этой семье не должно быть ничего вчерашнего. Все послезавтрашнее. В этом же соль. Они бегущие! Они спринтеры!

Увидев Олю, она остановилась и внимательно на нее посмотрела.

– Прелесть! – сказала. – За эту девочку прощаю все остальное. Самое то! Такая маленькая очаровательная гадина. – Она прижала Олю к себе и добавила: – Не сердись. У меня у самой гадина. И сама я такая! Все такие!

Главный засмеялся и подмигнул Оле.

– Это юмор... Это ее юмор...

Актер-отец подошел к Оле и пожал ей руку. Это был тот самый мужчина, который хлопотал о билетах СВ.

– Все о'кей, – сказал он Иван Ивановичу. – Нормальная квартира. Бегущие, стоящие, лежащие. Я лично в этом не разбираюсь. Все люди, все человеки... Все блошки, все прыгают... Всех жалко... Всех удавить охота...

– Ты не человек, ты – безразмерная авоська! – кричала Актриса уже из соседней комнаты. – Стенку к чертовой матери. Это безусловно. И Пикассо – к той же матери! Девочка на шаре. Просто девочка. Двадцать два... Перебор.

Актриса стремительно вернулась, обняла Олю и отвела ее в сторону. Надо видеть глаза Оли – непонимающие, восторженные, испуганные, благодарные, влюбленные, принявшие эту сумасбродную с виду женщину раз и навсегда.

Актриса наклонилась к Оле и сказала решительно:

– Потом все про себя расскажешь! Кто папа, кто мама? Кем они работают? Все, все...

Главный просто застонал, у Ивана Ивановича почернело лицо. Актриса же поцеловала Олю в макушку, упорхнула, пнув по дороге низкое кресло на колесиках.

– Где вы нашли этого урода? Это же квартира выездных людей!

– А что значит выездные? – тихо спросила Оля Ивана Ивановича.

– Те, кто работают за границей... Ну, в общем... которым поездка туда не проблема... – Тихо. – За эту возможность перегрызают горло.

– Я поняла, – сказала Оля, – это кино про людоедов! Кровь – рекой...

– Ничего подобного! Мылодрама.

Подошел Главный, в общем довольный.

– Ты понравилась... Примерь на себя платице какое-нибудь и походи в нем. Пообвыкни... С ней всегда сначала трудно, а потом работает, как лошадь. – Это он Ивану Ивановичу об Актрисе, а Оле строго: – Текст выучи. Ты поняла, с кем будешь работать? Поняла? Потрясная баба, извини, детка, женщина. Великая актриса! Ух! Всех заводит с полоборота... Такой темперамент... Я уже боюсь...

– А кто может стать выездным? – спросила Оля.
– Любой? Или что-то надо особенное?

Мужчины посмотрели друг на друга, вздохнули, и Главный не сказал – произнес:

– Надо быть лучшим из лучших. Они – лицо нашей страны – там!

– Ха! – сказала Оля. – Общий смех!

Она посмотрела на часы на стенке.

– Они не идут, – сказал Иван Иванович. – Сейчас без десяти пять...

На часах без десяти пять. Клавдия Ивановна смотрит на часы, придерживая рукой горчичник на затылке.

Телефонный звонок.

– Господи! – закричала она. – Где же тебя заполенную носит? – И радостно. – Ага! Ага! Ну еще бы! Ну, давай, ну, скорей... Положила трубку, положила на стол голову.

Вечером в спальне творилось черт знает что. Все было сдвинуто с места, все валялось как попада. Оля сидела в центре, возбужденная и усталая, а девчонки требовали подробностей.

– А тебя гримировали?

– Меня попудрили... Я красная была, как рак.

– А других девчонок, значит, по боку?

– Ага! Одна там была... Так злилась! Вот дай ей возможность – удавила бы!

– На всех теперь плюй! На всех! Наша взяла!

И они устроили пляску под собственную музыку. Может, похоже плясали дикари, победив большого зверя. Во всяком случае, это было очень радостно.

И тут раздалась сирена скорой помощи, где-то совсем рядом. Девочки выглянули в окно и увидели, что машина остановилась возле домика Клавдии Ивановны. Всех как ветром сдуло.

В чем были, они ворвались к воспитательнице, которая растерянно лежала на диване, и ей делал укол совсем молодой врач.

– Девочки! – слабым голосом закричала Клавдия Ивановна. – Вы почему не в постелях?

– Я девчонкам как раз рассказывала... – сказала Оля.

– Умница! – слабо проговорила Клавдия Ивановна. – Это хорошо... Ты им все подробно рассказывай... Это ж так интересно. Кино!

– У них там яблоки, – сказала Муха, – из трухи... Отпад! Потолков в квартире нету!

– Дурят нашего брата! – Это они все хором, из Райкина. И засмеялись.

– Это вы ее довели? – спросил совсем молодой врач, с любопытством разглядывая девчонок.

– Что вы! – возмутилась Клавдия Ивановна.

Но тот имел, видимо, свою точку зрения.

– Коровы здоровущие! – сказал он им. – У человека гипертония... Ей покой нужен... Ржете, как кони...

– Все-таки коровы или кони? – спросила Оля.

– Ишь! Все слова под языком! – ответил врач. – Чтоб она у вас неделю лежала. Ясно? А вы чтоб были тихие ангелы... Может, придется побегать по аптекам... Имейте это в виду...

Он писал рецепты, а девчонки расселись возле Клавдии Ивановны. Оля толстыми ломтями разрезала батон и колбасу в рваной оболочке.

– Главное – питание, – говорила рыженькая Клавдии Ивановне. – Скажите, чего вам хочется!

– Девочки мои, девочки! – шептала Клавдия Ивановна. – Мне бы дожить, чтоб вы школу окончили, потом училище, и чтоб устроились как следует. Я встану и пойду по ПТУ. Я в какое зря вас не отдам. Чтоб и одежда была, и питание.

Девчонки хором: «Ульянову напишите!»

Все засмеялись. Врач не смеялся. Он смотрел и слушал.

– Все-таки вам чего больше хочется – селедку там или какую-нибудь грушу? – спросила Катя.

– Сами ешьте, как следует, – ответила Клавдия Ивановна.

Они дружно чавкали бутербродами, а Клавдия Ивановна лежала с закрытыми глазами и была почти счастлива. Невероятно устроен человек.

Врач положил на стол рецепты и ушел. Лицо у него было печальное.

Они сидят уже в переделанном павильоне. Вместо Пикассо висит математически загадочный Эшер. Пикассо же стоит на полу, вверх ногами.

Камера, свет, толпа людей. Актриса и Оля стоят перед Эшером. Главный объясняет задачу.

– Это первый ваш разговор об отъезде... Вы, – Актрисе, – даже себе представить не могли, что она, девчонка, может быть против... Вы такие инстанции прошли, и тут нате вам...

– Еще одна инстанция, – смеется Актриса.

– Ты, – Оле, – говоришь свои слова так, что мать просто теряется. Извини за грубость, обалдевает. Вот попробуй.

Оля молчит. Она смущена и растеряна. Все смотрят на нее, ждут. И тогда Актриса-мать из-за чьей-то спины пошевелила ей пальцами, подбадривающе и даже как-то ласково. Если все в этой комнате сейчас принадлежали всем, то знак этих пальцев принадлежал только ей, Оле. Что-то сильное, прекрасное, от нее не зависящее, вспыхнуло и расцвело в ней, и уже не она, а Та, Другая, произнесла:

– Я не хочу, чтобы вы улетали!

В словах было столько страсти, гнева, мольбы, настояния, что Актриса совсем не по роли вздрагивает и смотрит на Олю почти с испугом.

– Вот это да! – говорит она Главному. – После такого порядочная мать останется.

– Да, – растерянно говорит режиссер. – Замечательно, девочка! Ты – непорядочная, – это он Актрисе.

– Пардон! – кричит она. – В сценарии я нормальная современная женщина-спринтер и нормальная мать... Я не хочу и не буду играть сволочь.

Главный растерян.

– Я поняла, – смущенно сказала Оля. – Я не так сказала. Они ведь мне не нужны вовсе. Пусть улетают. Я притворяюсь, что мне жалко. Они притворяются, что им жалко...

– Ничего себе поворотик! – смеется Актриса. – А что? Вполне!

– Все в этом мире перепуталось. Хорошее так непринужденно переходит в плохое, что люди это даже не замечают. У нее, – Главный показывает на Олю, – нет этих размытых критериев. Хорошее у нее – хорошее, а плохое – плохое... Вот она и возвращает первоначальный смысл словам.

– А ты не боишься этого? – спрашивает Актриса. – Это опасное дело, голубчик, отмытые слова... Я даже не уверена, что люди этого хотят.

Иван Иванович кормит Олю в столовой. Подошел к буфетчице, просит:

– Зин! Ты возьми сметанку и обмажь цыпленочка. А? И под крышечку на пять минут. А?

– Привет! – отвечает Зина. – Я тебе кто? Повар? У меня курица отдельно, сметана отдельно. Горячие только сосиски.

– Зин! – просит Иван Иванович. – Смотри, что я тебе дарю! – Протянул ей роскошный календарь с актрисами, правда, за прошедший год.

– Обалдеть! – сказала Зина, взяла календарь и стала смазывать курицу сметаной.

За соседним столом Актер и Актриса.

– Ты заметил? – спросила Актриса. – Ивашка ее кормит на свои... Где-то достал импортный лимонный сок... Поит ее все время... Стоял в очереди за ананасами.

– Лучше б копил на старость... Его после этого фильма отправят на пенсию... Я сам слышал... И то... Сколько ж можно?.. Пора и честь знать... Слушай, мне нужна хорошая оправа... Где взять? Я просто умираю.

Актриса не спускает глаз с Оли. Она будто не слышит Актера.

– До чего мы дожили! – говорит она. – Трепачи. Я ее бельишко видела. Такое! А сорок с лишним лет войны уже нет... А детдома есть... Какая-то сволочь оставила такую девчонку в роддоме. – Зло, ненавидяще: – Оправы вот нет! Горе-то какое. Ты, оказываешься, просто умираешь... Господи, что это с нами?

Он, обидевшись и тоже зло:

– Это я все сделал? Я? Нашла крайнего.

Клавдия Ивановна в своем самом дорогом костюме, который мы уже видели, с большой сумкой вошла в кабинет инспектора горono Людмилы Семеновны. Она тяжело, прерывисто дышит.

– Я тебя сейчас убью, Кланыя! – закричала инспектор и кинулась к сумке. – Ты что себе носить позволяешь, старая дура?

Людмила Семеновна хорошо, эффектно одета, она вполне современная модная дама, но в общении с Клавдией Ивановной должно происходить ее превращение в бывшую беспризорную, бывшую

детдомовку. И должно быть ощущение, что в старой коже ей легче. Вот она сейчас, когда пытается поднять сумку Клавдии Ивановны, такая. Прежняя. Поэтому бывшая детдомовка вполне может открыть чужую сумку и посмотреть, что таскает «эта старая дура!».

В сумке лежит кусок литой ограды.

– Слушай! – кричит Людмила Семеновна. – А чего ты сюда не запихала всю усадьбу? Чего уж мелочиться? Таскать так таскать!

– Архитектор тут у вас молоденький... Заинтересовался, – бормочет Клавдия Ивановна.

– Да нету в ней ценности! Нету! – кричит Людмила Семеновна. – Рядовой графский дом... Тогда все строили красиво, но сегодняшним людям место надо или как? Их куда? Если б там хоть какой-нибудь завалыщенький писатель или художник жил, а то – нет! Нет! Никто не жил. Тогдашняя шушера...

– Красота – она для всех, – тихо говорит Клавдия Ивановна. – Мы с тобой у этой ограды в дочки-матери играли.

– Кланы! Не рви мне душу... Я и так тут из-за тебя со всеми поругалась... Чего там твоя девчонка натворила? Залезла куда-то. Фильмов что ли насмотрелась?

– Чего ей их смотреть? – гордо ответила Клавдия Ивановна. – Она сама в них играет.

– Мать честная! Да ты что? Ну, мы даем!

Лицо у Людмилы Семеновны стало гордым.

– Я знала, Кланы! Я знала. Из нашего детдома будет кто-то знаменитый. Но ты только мне все

подробности... – С тоской: – Я ж так хотела быть артисткой, помнишь? Господи Иисусе! Я бы за Целиковскую жизнь отдала!

Из горно Клавдия Ивановна идет довольная и умиротворенная. Увидела очередь за хорошими яблоками. Встала. Притормозила возле яблок «Скорая». Из нее выскочил тот самый молодой врач.

– Женщины, пропустите? Не обидитесь?

– Да берите, – сказала Клавдия Ивановна. Была ее очередь. Врач посмотрел на нее внимательно.

– Я у вас по вызову был? – спросил он.

– Были, – смутилась Клавдия Ивановна.

– Садитесь, довезу. Мне в вашу сторону. Вы же детдом? Верно?

Клавдия Ивановна закивала головой. Очередь смотрит, как врач перехватывает у Клавдии Ивановны авоську.

– Ничего себе! – сказал он. – Вы что? Разве можно столько носить?

– Давление подскочило, – сказала Клавдия Ивановна виновато, оправдываясь перед такими же, как она, женщинами.

– Тогда нас всех возить надо, – сказала одна. – У кого его нет? Давления?

Клавдия Ивановна смущенно едет в «Скорой», прижимая к себе яблоки и кусок ограды.

В павильоне готовится к съемке большая сцена. Вся группа фильма, плюс любопытные. В сутолоке мелькает лицо Юли.

Веселый собачник носит собаку.

– Почему вы ее все время носите? – спросила Оля.

– Не жилец! – радостно ответил собачник. – Не жилец! – Еще веселее. – По бумаге ее уже и нет. Секир-башка. – Хохочет. – Я ее продлил в существовании... А спасибо не слышал... Псина она эдакая!

– То есть как ее нет? – не поняла Оля. – Она чья?

– Ничья! – радовался собачник. – Усыпленная номер восемьсот сорок семь... Во как! Имя у нее было – Лэди.

– Почему было? – Оля кидается к собаке. – Лэди! Лэди!

Собака благодарно лизнула Оле руки.

– Брось ты ее! – сказала девчонка с хлопушкой фильма «За океан и обратно». – Мало ли чем она больна? Может, у нее чумка?

Оля целует собаку в морду.

Хохочет веселый собачник.

– Не! Не чумка! Забыл, как называется...

– Все в кадр! Все в кадр! – кричит помощник режиссера. – Положите собаку.

– Чемоданы в кадр. Поверните наклейками, – это оператор. – Хорошо вижу «Орли».

Репетируется сцена.

Актер, Актриса, Оля – все стоят в напряжении.

– Тебе надо кончать музыкальную школу, – говорит Актриса. – Зачем тогда инструмент в доме? Частные уроки стоили нам прорву денег.

Оля молчит и смотрит на лежащую Лэди.

– Подумаешь, деньги! – подсказывает режиссер.

Оля вся напряглась и сжала губы.

– Сначала! – кричит режиссер. – Оля! Не забывай!
– ...частные уроки стоили нам прорыву денег.
– Подумаешь, деньги, – говорит Оля. – Я пойду в швейную мастерскую и отдам вам их.

– Стоп! – кричит Главный. – Что за отсебятина?
– А это хорошо, – говорит Актриса. – У меня есть повод изумиться и увидеть собственную дочь.

– Вы не видите собственную дочь! – кричит режиссер. – Вы видите часы. Они тикают ваше время. Чемоданы чего тут стоят? Оля! Давай по тексту.

– Я забыла, – шепчет Оля. – Ведь это для меня не важно... Мне все равно. Пусть едут...

– О господи! – сказал режиссер. – Она нормальный ребенок. Ей жалко, что они уезжают. Но она умная! Умная, понимаешь? Она знает цену и значение поездки за границу. Она знает цену деньгам. Ее родители не воры, не жулики... И она хочет учиться... в музыкальной школе! У нее музыкальные пальчики. Швейная мастерская! Она и слов таких не знает!

– Она что – идиотка?

И все замолчали, потому что Оля сказала это так, что все возражения просто не имели смысла.

Главный перевел дух и решил:

– Она отпускает родителей. Понимаешь? Отпускает... Их поездка – разумная, деловая... Она это знает... Они не жлобы! Понимаешь? Не за шмотками туда едут! Это удача. Везение! Ну, как тебе объяснить? – Распаляясь. – Есть текст! Есть роль! Все! Кончаем плебисцит!

Жалобно посмотрев на всех, как-то сочувствующе гавкнула Лэди.

– Убрать собаку из кадра! – крикнул режиссер.
Собачник весело унес Лэди.

– Таксист! Где таксист? Слушайте! Они еще разговаривают, а вы уже звоните в дверь! На «прорве денег» звоните! Все! Разговоры окончены! – Оле: – Можешь не отвечать. Будешь себя так вести, вообще без слов останешься. Все начнут умничать...

Оля поворачивается и уходит со съемочной площадки.

– Ищите другую девочку, – кричит Главный Ивану Ивановичу. – Буду я еще со всякими соплюхами возиться! Там была одна ничего... Юля... Она тут крутилась недавно.

– А девочка права, – говорит Актриса. – Стоило сказать про деньги, и она ручки вверх...

– Все – нормальные люди! – говорит Актер. – Все живут в жизни, а не на облаке... А в жизни все стоит денег...

– В том-то и дело, что не все... Талант не купишь... Ум не купишь... Здоровье не купишь... Красоту, доброту, нежность... Пошел ты к черту, если тебе надо это объяснять. – Актриса в гневе, и очень от этого хороша. – Мы привыкли делать стыдные дела как доблестные. Пришла девочка и показала, что мы играем... И кто есть кто.

Главный мучительно трет лоб, а Иван Иванович усмехается.

Актеры пьют чай в комнате отдыха.

– Жалко девчонку, – сказала Актриса-мать. – Из максималистов вырастают либо сволочи, либо перебитые... – Она рукой показала, как перебитые.

– Не морочь голову, – это Актер-отец. – Вырастет, как все. Нарожает детей. Это у детдомовок как раз бывает. Стадный инстинкт.

– Из чего проблемы! Что, собственно, случилось? – Главный сердится. – Нельзя же перед ними на цыпочках... Мы совсем потеряли лицо, носимся с этими детьми, а они писают нам на голову.

– А что мы такое сделали, – Иван Иванович встал, – чтоб любить нас?

– Я всю жизнь, – обиделся Главный, – не разгибаю спины. Посмотри! – И он показал Ивану Ивановичу большую лысину. – Дети и внуки, начальство и подчиненные выщипали. Понял?

Он был обижен за себя, а Иван Иванович смотрел на него жалеючи.

Вечером у девчонок в их спальне появились гости. Пришли бывшие детдомовки, которые учились в разных ПТУ, работали на заводах и жили, считай, самостоятельно. Выглядели они просто, вульгарно, были намазаны, держались вызывающе. Хороводила одна, худая, языкатая, в вытертом почти до дыр, ношеном-переношеном костюме.

На доске большими буквами было написано: «Олька кино послала к...!» Худая прочла, посмотрела строго и вытерла доску.

– Рассказывай! – сказала она, когда они расселись по кроватям.

Лорка-великанша за спиной Оли подавала ей какие-то сигналы.

– Ты чего, как немая? – спросила языкатая. – Случилось что? Тем более, говорите...

– Ничего, – зло сказала Лорка. Тебе шпалой работать...

– Я так и работаю, – парировала худая. – Это вы тут артистки, еж вашу двадцать! Ну? – это она к Оле. – Валяй подробности.

– Бросила, – буркнула Оля. – Играют каких-то полудурков.

– А тебе какая разница? – резко крикнула худая. – Артист в любого должен играть, в дураков даже интересней. Посмеемся.

– Ну и играй сама, – сказала Оля и накрылась подушкой.

– Не! Она не пойдет! – сказала Лиза. – Она как отрезала.

– Я ей не пойду! – возмутилась худая. – Я ей весь свой гематоген в детстве скормила, а она от меня теперь подушкой накрывается? Да я ее придушу, как котенка.

И худая стащила с Оли подушку, и все увидели, что Оля плачет.

Начался скандал.

– Лучше б ты подавилась своим гематогеном! – кричала великанша Лорка. – Может, умней бы стала. Чего пришли?

– Мы к ним, как к людям, – закричала одна из пришедших.

– А кто вас звал? Кто? – верещала татарка Фатя, телом закрывая Олю.

– Скажите! – возмутилась худая. – Это наш дом, как и ваш. Звать! Вас тут дур Клавдя заслюняви-

ла... В артистки они уже не идут. Принцессы во-
нючие! Ну, валяй на шпалы! Валяй!

– Не твое дело! – лицо Оли было мокрым от слез. –
Ты там была? Была? Может, шпалы в сто раз лучше!

– Ага! Ага! – кричала худая. – Лучше! То-то я гляжу,
нет артистов... Все на шпалах. Удушю тебя, дуру, как
котенка, удушю... Чем дураком жить, лучше смерть.

– Девочки! – кричала Муха. – Девочки! Да ну
вас всех! Клавдя бежит!

Птицей влетела растрепанная Клавдия Иванов-
на с противнем.

– Господи! – сказала она. – Миленькие мои!
Пришли... А я как чувствовала... Семечек нажари-
ла целых пять стаканов...

Девчонки заворковали, будто ничего и не было.

Все грызут семечки. Оля лежит, повернувшись
ко всем спиной. Но ведь разговор – для нее.

– Наломаетесь за смену, – говорит худая. – А
мастер у нас – собака. Сколько раз воды выйдешь
попить, столько и гавкнет... А то еще манеру взял
– обнюхивать. Паразит... Чтоб не пили, не курили.

– Учитесь, дуры, – говорит другая, стриженная
под мальчика. – Ученье – свет, неученых – тьма...
Когда рожу...

– Что? – кричит Клавдия Ивановна.

– Когда рожу, – повторяет стриженная, – сразу бу-
ду учить читать и писать... И лупить буду, если что...

– Сначала надо выйти замуж, – уточняет Клав-
дия Ивановна.

– Это я еще посмотрю, – говорит стриженная. –
Это еще вопрос с очень большой буквы...

– Ну что ты такое говоришь? – возмущается Клавдия Ивановна.

– Правду она говорит, – почти вместе говорят девчонки. – Вы, Клавдия Ивановна, жизни не знаете...

Клавдия Ивановна теряется. Есть в бывших детдомовках какая-то ей недоступная правда, она это видит, но понять не может или боится этой правды.

– Девочки, – шепчет она, – во все времена люди были хорошие и плохие... И мужчины были всякие... А ребенка так нельзя, ни с того, ни с сего... От этого беда...

– А чего вы замуж не вышли? – грубовато спрашивает худая. – У вас же лицо хорошее было смолоду и фигура вполне... Это вы сейчас располнели...

Оля резко села.

– А ты чего такая худая? – кричит она. – У тебя солитер? Все ему идет?

– Ты что, спятила? – растерялась худая. – Чего кидаешься? Что я такое спросила?

– Девочки, – говорит тихо Клавдия Ивановна. – Не за кого было... Я же никуда из детдома... С сорок первого... А у нас все женщины... Честно скажу... Я бы, конечно, вышла, если бы кто был... Молодая была, как вы... На химические стройки хотела... Записалась даже... А подруга моя лучшая, с трех лет вместе, тяжело заболела... Полиомиелитом... Я и осталась... При ней...

– А где она сейчас? – спросила Оля.

– Отравилась, когда ей исполнилось восемнадцать лет. Тогда еще плохо лечили...

– А как она отравилась? – деловито спросила худая.

Испугалась вопроса Клавдия Ивановна. Девочкам-гостям всем сейчас по восемнадцать. Вдруг неспроста вопрос? Смотрят сурово, понуждающе.

– Как? – повторила Оля.

Пятнами пошла Клавдия Ивановна от испуга, от своей педагогической недальнорукости. Разве ж можно про такое рассказывать? Замахала руками.

– Девочки, девочки, – забормотала она. – Не надо про это! Чего, дура, вспомнила, сама не знаю...

– Все-таки как? – повторила Оля.

– Лекарствами, – тихо сказала Клавдия Ивановна. – Не знаю, какими... Ей много прописывали... Но это, девочки, не выход был, не выход... Разве ж можно так с жизнью? Она дается все-таки один раз...

– Правильно сделала, – сказала худая. – Какая жизнь у калеки?

– Трудная, плохая, но жизнь! Девочки, жизнь! – страстно говорила Клавдия Ивановна. – И я у нее была, я бы сроду ее не оставила... Она меня освободить хотела, а сделала сиротой... Она ведь была мне и мамой, и сестрой, и дочкой... А оставила одну... Большой она грех совершила, девочки, большой грех... Слово, конечно, я употребляю не то, но просто другого нету... Девочки мои! Ну, как вам сказать? Человек в человеке ведь прорастает... Никто не сам по себе... Все друг в друге... И друг другу нужны... Все! Хватит про это!

Хотела что-то сказать худая, рот даже открыла, и, конечно, для противоречия, но почему-то остановилась.

Лицо у Клавдии Ивановны выражало такую печаль и мольбу, что худая вздохнула и сказала:

– Не надо, так не надо... Но ты, дура, – закричала она на Олю, – не выдрючивайся! Взяли – играй! Вдруг это твое дело? Артисткой же, не маляром!

Иван Иванович ждал Олю возле школы. Она увидела его и решила обойти. Нырнула в дырку в заборе, вынырнула, а он стоит возле дырки и смеется.

– Понимаешь, какая штука, – сказал он, – по дыркам в заборе я специалист. Так от меня не уйти.

– А как? – спросила Оля.

– Не тот вопрос. Зачем, спросил бы я... И ответил бы – незачем.

Главный прижал Олю к себе и сказал:

– Пожалуйста! Умоляю! Говори по тексту!

Оля в павильоне. Собака лежит на подстилке. Актриса, играющая бабушку, сидит в кресле. Рядом с ней вальяжный пожилой господин. Гример его пудрит. Оля с неприязнью смотрит на это.

Подошла к собаке, села на корточки, гладит ее.

– Лэди! Лэди! – Собака лизнула ей пальцы.

Собачник, стоящий в стороне, в полном восторге.

– Воспитанная псина! Я ее сразу выбрал, – Оля посмотрела на него с ненавистью, а он ей улыбался, как родной, просто весь светился. – И чистотка! Никаких у нее сил, а блюдет себя.

Репетируется сцена.

Актрисе-бабушке закапывают что-то в глаза, чтобы потоком шли слезы. Рядом с ней вальяжный господин.

– Гнусавьте! – говорит Главный. – Вы несколько дней с больной собакой и уже дошли. У вас аллергия. Вам не дышится, вам не смотрится... Жить, одним словом, не хочется... Ну, давайте... В темпе.

– Моя дорогая! – Это уже по роли говорит вальжный. – Так же нельзя! Береги себя. Нет проблемы – человек или собака.

– Нет проблемы! – очень похоже передразнивает его Оля.

– Она должна это говорить? – растерянно спрашивает вальжный у Главного, который, обхватив голову руками, рухнул в кресло.

– Опять и снова! – говорит он. – Ну что у вас в тексте?

– Бабуля, милая! – бубнит Оля. – Олег Николаевич прав. Езжай к себе. Я останусь с ней. Ты не бойся. Буду звонить тебе утром и вечером... Ну что я, маленькая?

– Вот сколько у тебя замечательных человеческих слов... – шумит Главный. – Ты остаешься с больной собакой. Ты отпускаешь больную бабушку. Ты – хорошая. Поняла? Хорошая!

– Но я же знаю, что они задумали... Я ведь слышала телефонный разговор с ветлечебницей. Такая подлость, а я ей – «милая»? Какая же я хорошая?.. Они все подлые...

– Но ты же видишь, что собака больная? Видишь?

– Ну и что? – говорит Оля. – Если больной, так уже никому не нужен? Она ж, смотрите, все понимает.

И будто в доказательство Лэди тихонько тявкнула.

– Она права, – говорит Актриса-бабушка. – Я должна ее обмануть, чтобы усыпить собаку... А так получается, что она, хоть и маленькая, а уже дерьмо в проруби... И потом... Она права... У меня любовник. Это нигде не сказано, но так играет-ся. В пятнадцать лет это должно казаться страшным грехом... Ей это должно быть просто противно. А если этого нет, то – мрак. Так, дите, или нет?

Оля, как съезжилась от слова «любовнику», так и стоит.

– Она играет девочку, – стонет Главный, – которая все понимает... Девочка двадцатого века! Вот она кто! Конец двадцатого! Сексуальная революция уже была.

– Фу! – сказала Актриса. – У тебя, дружок, язык.

– Хорошо, – сказала Оля. – Я поняла.

Играется сцена.

– Бабуля, милая!

Откуда что в ней взялось? Оля шла к «бабушке», переступив через собаку. При словах «Олег Николаевич прав» она заговорщицки-дружески коснулась его, а «езжай к себе» она говорила уже чуть не на коленях перед «бабушкой».

И мы видим гаденькую, хитрую девчонку, которая уговаривает бабушку уехать, потому что так ей почему-то выгодней, удобней, а и собака, и астма – просто предлоги.

Все потрясены. Точно произнесенный текст и точно найденный характер, который, оказывается, разрушает весь задуманный благостный фильм.

Иван Иванович беззвучно смеется в стороне.

– Все правильно, – сказала Актриса-бабушка. – Такой и должна быть эта девчонка. У этих, нынешних, стайеров-спринтеров дети – переступающие через все!

– Она должна быть хорошей по логике сценария, – кричит Главный. – Ведь она, в конце концов, совершает почти подвиг...

– Никакого подвига! – сказала Оля. – Я попробовала это сделать... Когда на тебя едет машина, ты инстинктивно отступаешь и прикрываешь своим телом того, кто позади тебя.

– Как попробовала? – растерялся Главный. – Что ты имеешь в виду?

– Я имею в виду, что никакого подвига не было... Это она так представила, что кого-то там прикрыла... Эта девчонка всегда знает, чего хочет... Она подлая... Подлая... Подлая...

– Перерыв! – объявил Главный.

В монтажной идет просмотр материала.

– Не знаю, не знаю, – говорит Сценарист после долгой паузы. – Ты знаешь, старик, мое кредо. Хороший человек! Во всем его многообразии. Я не пишу плохих... Устал я от них, не люблю...

Сценарист, пожилой, импозантный мужчина, расстроен и обижен.

– О чем сценарий? О любящей семье. О разлуке. О печали. Девочка же... Ну, не знаю... – Он уже кричит фальцетом. – Она, я слышал, детдомовка. От этого все и идет... Резкость... Графика... Крайность... И уже нет хороших людей, все с хитростью, все с расчетом...

– Срывание всех и всяческих масок, – тихо сказал Иван Иванович.

– Что вы сказали? – переспросил Сценарист.

– Это не я, – ответил Иван Иванович. – Это Ленин.

– Ну, знаете, – возмутился Сценарист. – Давайте без политики.

Он тут же засобирался уходить. Его сбил с толку Иван Иванович, а сбитый с толку, он не умел находить слова.

– Не знаю, не знаю, – бормотал он. – Получается злой фильм, а сценарий был добрый, светлый... Так же нельзя... Я буду настаивать, я пойду выше.

Главный же был доволен. Он даже подмигнул Ивану Ивановичу.

– Поломала она нам сценарий, а? Волонтаристка!

– Вы его недооцениваете... Он такую бучу поднимет!

– А пусть! А пусть! А пусть! – Главный даже руки потирал. – Тогда мы устроим конкурс! Ха-ха-ха!

Людмила Семеновна и Клавдия Ивановна прохаживаются возле витой ограды. Старая усадьба вся светится под заходящим солнцем. И не дашь ей двухсот лет, так она светла и хороша.

– Лучше б я не приезжала, – сказала Людмила Семеновна. – Я уже забыла, как от этого щемит сердце... А с другой стороны? Что хорошего в том, что щемит? От «щемит» – гипертония...

Посмотрела на «наступающий» многоэтажный дом.

– А интересно... Лет через сто... Будет у тех, кто после нас, щемить от него сердце? Что ты все молчишь, молчишь?

Клавдия Ивановна, правда, какая-то закрытая, поглощенная.

– Надо уезжать, – ласково говорит Людмила Семеновна. – В памятниках у них это не числится. И ограда твоя, говорят, примитивная... Шандарахнут – и все. – Весело: – И станем мы с тобой, Кланы, здоровенькие. А то извелась по инстанциям и меня извела. – Произносит как диктор: – На месте сиротского дома вырос красавец-дом...

– Для дипломатов в юбочках, – засмеялась Клавдия Ивановна.

– Почему в юбочках? – не поняла Людмила Семеновна.

– А я знаю? Девчонки их так зовут... Может, из-за шотландцев? Те в юбках...

– Кланы! Ты мне не нравишься... У тебя сейчас определенно как в трансформаторе...

– Это было бы еще ничего, – тихо ответила Клавдия Ивановна. – Я, Люська, последнее время аппарат зашкаливаю...

– К чертовой матери! К чертовой матери! Немедленно всех отсюда вон! – закричала Людмила Семеновна.

Опустив ноги и руки в горячую воду, сидит в своей каморке Клавдия Ивановна. На затылке – горчичник. Окно задернуто, на дверь наброшен крючок. Видно, что болеет она тайно. На столе бюллетень, куча рецептов.

Трубку зазвонившего телефона сняла красной мокрой рукой.

Голос по телефону.

– Клавдя! Это я! Люська! Чудный вариант. Мы распределяем девочек в загородные дома, а вашу артистку возьмет интернат, который прямо рядом со студией. Поняла? Ты будешь с ней. У них там кто-то уходит в декрет из технического персонала.

Ночью девчонки пришли во дворик возле флигеля. Шесть тонких березок росли наособицу. Это их деревья, которые они когда-то посадили. Вбили приготовленные колья. Окружили деревья принесенной со стройки проволокой. Навесили на нее куски красной тряпки. Прикрепили фанерку со словами: «Осторожно! Березы! Не трогать! Штраф 1000 рублей!»

Работали молча, сосредоточенно.

И вернулись молчаливые. Сели на постели. На доске написано: «Собаки лучше людей».

Дрожат стекла от рядом работающего экскаватора. Мелко, мелко сыплется с потолка известка.

– Ой, девочки! – сказала Муха. – Я все думала, думала. Вы не правы. Хороших больше... Я считала... У меня в моей жизни было одиннадцать плохих и сорок семь хороших.

– Где ты столько их набрала? – засмеялась Лорка. – Хороших?

– Я по-честному, – говорит Муха с легким заиканием. – Я всех считала... И кто со мной делился, и кто давал списывать, и кто хорошие слова сказал. Сорок семь! А я, наверное, многих забыла... Так что жить, девочки, стоит!

Лорка подошла и положила ей руку на голову. Гладит.

– Клавдию нашу считаю за сто человек, – сказала Лиза. – Других – не знаю. Вот устроюсь на работу и заберу ее. Пусть живет со мной... Хватит ей сиротствовать...

– Чего это с тобой? – закричала Фатя. – Я ей давно сказала, что она со мной будет жить... Я медсестрой буду... Я ее поколю, если что...

И тут они рассорились, потому что выяснилось, что каждая хочет взять с собой Клавдию Ивановну.

Было решено тянуть жребий. Разрезали тетрадный листок на шесть частей. На одном нарисовали «ручки-ножки-огуречик».

Скатали бумажки в комочки и сложили в картонную коробку из-под туфель. А тут сама она возьми и приди. Пришла и смотрит строго, выпытываяще на каждую и на всех. Затаились девчонки, молчат.

– Не спится, – сказала Клавдия Ивановна, садясь на ближайшую кровать. – Грохочет как! В третью смену работают.

– Снесут в два счета, – сказала Лорка.

– Ой, боюсь! – сказала Клавдия Ивановна. – Сломалось бы у них что...

Она рукой коснулась коробки и машинально вытащила комочек бумаги. Развернула. На листочке был нарисован «ножки-ручки-огуречик». Замерли девчонки, а она, занятая своими мыслями, выбросила бумажку и сказала тихо:

– Знаете, девочки, давайте съездим посмотрим тот детдом... Вон стекла как дрожат... И вывалиться могут... Топят батареи?

Подошла, пощупала.

– Ничего, пока терпимо! Ложитесь спать!

Девчонки покорно легли, Клавдия Ивановна погасила свет и ушла, прихватив «мусор» – картонную коробку для жеребьевки.

В голос заплакала Муха.

– Она ни с кем из нас жить не захочет, – причитала она. – Сама себя вытащила. Нужны мы ей... Как же... – Она снова слегка заикалась.

Девчонки молча смотрели в потолок, по которому прыгали блики от огней работающего экскаватора.

В павильоне шумно. В центре внимания Оля и другая девочка, Юля. Юля смотрит на Олю победоносно.

Оля смерила ее насмешливым взглядом.

– Играем сцену прихода бабушки из ветлечебницы, – объясняет Главный. – Бабушка в истерике. Она просит прощения у Оли. Ей на самом деле плохо, она вся на каплях и таблетках. Девочка еще плачет о собаке, но уже боится за бабушку. Понимаете? Еще и уже! Внутренний разрыв. Это трудная, психологически трагическая сцена, после которой прямо сразу пойдет эпизод на улице... Юленька, давай сначала ты.

Закапывают Актрисе-бабушке глаза. Некрасиво усаживают ее в кресло, чтобы подчеркнуть болезнь и старость, и стыд за содеянное. Актер, играющий Олега Николаевича, почему-то в ярком женском фартуке. Машет на бабушку веером и с ненавистью смотрит на девочку.

– Прости меня, девочка, – говорит Актриса-бабушка. – Сама не знала, что это так мучительно... Сейчас сама пойду за ней следом. Вдруг там встретимся?

– Ты не умрешь, ты не умрешь. Бабушка! – в слезах кричит Юля. – Ну, пожалуйста, успокойся! Прошу тебя, прошу!

– Ты простила меня, простила?

– Да, да, – рыдает Юля.

– Да, да, – передразнивает Олег Николаевич, – сначала доводим, потом каемся...

– Замечательно! – говорит Сценарист. Он смотрит все на мониторе. – Поверьте старому человеку. Именно так! Именно так! Речь идет ведь о человеческой жизни. Она дороже всего... – Он даже забегал для убедительности.

– Вы мешаете, вы в кадре, – сказал ему помощник оператора.

– Простите, – засуетился Сценарист. – Но это – то! Именно то!

Главный же молчал. Иван Иванович насмешливо поглядывал на него.

– Теперь ты, – говорит Главный Оле.

– Не знаю, не знаю, – шепчет Сценарист. – Не оправданно. Характер найден.

И вот уже Оля в кадре. Идет эта же сцена. Те же слова. Но как разительно они отличаются. Слова «не умрешь» звучат не жалко, а уверенно, даже с иронией. А «пожалуйста, успокойся» – просто как «кончай ломать комедию». «Да, да!» – вовсе не рыдание, а подыгрывание концерту в кресле. И уже не сенти-

ментальная истерика, а история червивых отношений снизу, так сказать, доверху. А на слове «каемся» Оля так подняла брови и так посмотрела на «друга», что Актер стал себя обмахивать веером и что-то мычать.

– Вот именно так и будем играть! – твердо сказал Главный. – Вы, голубчик мой, – это он Сценаристу, – написали прекрасный сценарий. Но вы, голубчик, писать можете, а читать нет... Поэтому доверьтесь грамотным! Девуленька! – это он Оле. – Именно так, а то и жестче! Такая оказалась семейка, что бабушка, что внучка...

– Ну, слава богу, – сказала Актриса-бабушка. – Дошло наконец! Я же эту старуху во как чувствую! Кого хочешь усыпит... У нее и астмы нет! Ей богу! Здоровая как лошадь! И сроду никому добра не сделала... – Сценаристу: – Разве добро в словах? В деле, поступке. Никакими словами свинство и безобразие прикрыть нельзя! А ты, – это она Актеру, играющему Олега Николаевича, – это хорошо придумал с веером, вот так и обмахивался, как отмахивался. Это же образ жизни, образ мышления – ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу... Всем бы нам по вееру, черт нас возьми! Опыхалами проклятущими от всех закрыться! Вот что надо играть!

– Я буду спорить! – фальцетом кричал Сценарист, но на него уже никто не обращал внимания.

Когда после этой съемки Оля вышла из студии, первое, что она увидела, был красивый парень, который, опершись на собственную машину, небрежно читал газету. Он знал, что хорошо смот-

рится в паре с «жигуленком», что они даже одеты будто в масть, и поэтому наслаждался пребыванием своим на земле возле машины.

А тут как раз из студии выскочила заплаканная Юля, бросилась ему на грудь. Сначала она просто рыдала, но, увидев Олю, показала на нее пальцем.

Лицо парня выразило презрительное недоумение, он даже не то присвистнул, не то сплюнул.

Гордо подняв голову, Оля прошла мимо.

Они догнали ее на машине, когда она переходила улицу. Глядя Оле в лицо, парень проехал прямо по луже, он даже назад осадил, чтобы было в два раза больше брызг.

Она осталась стоять мокрая, грязная, униженная.

– Ай, что же будет? – с восторженным ужасом спрашивает Муха.

– Ничего, – говорит Оля, очищая от грязи пальто. – Это ему так не пройдет.

– А вдруг он красивый? – мечтательно шепчет Катя. – С красивым можно.

– Еще чего! – Оля дернула плечами. Она в одной рубашонке. Вся ее одежда развешана и сохнет.

Лора держит на коленях сценарий, выразительно читает.

«Он подошел, обнял и поцеловал ее. Она задрожала в его руках.

– Что ты дрожишь, как маленькая? – спросил ее Игорь.

– Мне холодно, – ответила она.

– Двадцать пять градусов. Теплынь, – целует ее Игорь».

– Обалдеть! – говорит Катя. – Целует ее... А как – не написано? В губы? В щеку?

– Сейчас целуются с детского сада, – говорит Лиза. – Сейчас и бóльшим не удивишь...

– Все ты про всех знаешь! – кричит Лора. – Про себя скажи, ты разве целовалась?

– С кем? – Лиза развела руками. – С кем? Но это же не потому, что я не хочу! В компании нас не зовут. Своих парней нет... Хоть на панель...

Лора бросила в Лизу подушкой.

– А я целовалась, – тихо призналась Муха. – В прошлом году... С вожатым... Такой очкарик, его никто не слушал... А я слушала... Он меня из благодарности поцеловал...

– Из благодарности не считается, – сказала Фатя. – Считается только из любви... – Оле: – Он ее из любви целует? Как ты думаешь?

– Я про это и думать не хочу, – ответила Оля.

Вечером они сидят у Клавдии Ивановны и едят батон с колбасой. Клавдия Ивановна лежит. Видно, что ей плохо, но она бодрится перед девчонками.

– Почитали бы вслух, девочки, – говорит Клавдия Ивановна, а сама незаметно насыпает в ладонь таблетки.

Лорка-великанша подошла к этажерке. Сказки. «Тимур и его команда», «Алые паруса», «Молодая гвардия», «Детство. Отрочество. Юность», «Домби и сын». Все старенькое, зачитанное. Вынула Лорка Диккенса.

– Я первая, – кричит Лиза.

– Я вторая, – это Катя.

Погасили верхний свет, подвинулись к лампе.

– Теперь у всех телевизор, – вдруг сказала Фатя.

– Насмотришься еще, – сказала Клавдия Ивановна. – Как там? «Домби сидел в углу затененной комнаты, а сын лежал...»

– У нас в классе, – сказала Катя, – девчонка одна «Анжелику» вслух читала. Полный отпад! Ваш Домби – придурок-малолетка! Там любовь во всех подробностях.

– Молчи, дурочка, – сказала Клавдия Ивановна. – «Анжелики» – и книги такой нет, и быть не может. Верит всякой чепухе. Разве любовь – подробности? Любовь – это...

И замолчала, не зная, что сказать.

– «Домби сидел в углу», – громко начала Лорка.

– Любовь, – сказала Оля, – это когда ничего не страшно, потому что вместе.

– И чтоб целоваться приятно, – засмеялась Катя. – Как же без этого?

Оля вышла из студии, и первым, кого она увидела, был тот самый парень с машиной. Он смотрел на нее в упор, так, что ей никак нельзя было его минуть. А когда она проходила мимо, он загородил ей проход ногой.

– Очень хочется тебя переехать насовсем, – сказал он ей. – Может, так и поступить?

Оля видела перед собой привлекательное и наглое лицо. Она стояла, замерев, перед загородившим ей путь ногой и, получалось, слушала:

– Как ты предпочитаешь, чтобы я тебя пере-
ехал? Вдоль? Поперек? – Оля молчала. – Откуда
ты, обмылок искусства? Я забыл... Ты лимитчица?
Или детдомовка?

– И рецидивистка... И воровка... И хулиганка...
– ответила Оля. – И ты меня, пижон, бойся!

Потом ничего не оставалось другого, как зайти
за забор и заплакать.

– Что с тобой? – спросил проходящий мимо
мальчишка. Он был полон великодушия.

– Иди, иди, – ответила Оля. – Нечего подать...

Мальчишка остановился.

– Не понял... Нечего – чего?

– Ничего нечего, – сказала Оля. – Иди своей до-
рогой.

– Было бы предложено, – засмеялся мальчишка.

Он ушел, посвистывая. Оля в автомате купила
стакан воды за копейку и умылась этой водой.

Снималась сцена телефонного звонка из-за гра-
ницы. Главный подавал реплики. А бабушка и Оля,
выхватывая друг у друга трубку, отвечали.

– Как вы там? – не своим голосом спрашивал
Главный.

– У нас все хорошо! – кричала Бабушка. – При-
везите ихний аспирин.

– Мы купили собачьи консервы, – не своим го-
лосом говорит Главный.

– Съедем! – прокричала Оля.

– Стоп! – своим голосом закричал Главный. –
Ты опять? Ты говоришь: Булька что-то хворает.

– Съедем – лучше! – упрямится Оля. – Съедем все человеческое, съедем собачье и закусим аспирином.

Двое мужчин, которые со стороны наблюдали съемку, переглянулись. Один другому показал большой палец. Все это увидел Иван Иванович.

– И не думайте, – сказал он тихо, подходя. – Ей еще школу кончать...

– Подумаешь, – ответил один. – Не кончит в этом, кончит в том...

– Не тот случай, – сказал Иван Иванович.

– Она нам годится, – сказал мужчина. – Иди-ка ты, Ивашка, на пенсию... А у этой девчонки великое будущее.

...А того самого мальчишку, с которым она недавно разговаривала, привезли вместе с Олей в расположение будущей съемки – к церквушке в лесах.

– Ничего себе! – сказал он, увидев Олю. – Оказывается, это ты... Я тогда долго о тебе думал... Чем-то ты задеваешь... Порепетируем? – Он подошел к Оле и хотел ее обнять.

– Ударю, – сказала Оля.

Он засмеялся.

– Ладно, – согласился, – ладно... Я подожду...

– Жди до посинения, – сказала она.

Она ушла от него. Ходит в переплетении строительных лесов, издали – крошечная одинокая фигурка. Подрагивают доски, посвистывает ветер, а Оля карабкается все выше, выше, к самой церковной маковке.

Иван Иванович пришел домой в свою однокомнатную холостяцкую квартиру. В ней только самое необходимое. На чем спать. На чем есть. На чем сидеть. Ниша комнаты захламлена. Стал ее расчищать. Все выкинул и повесил на ней картину Пикассо, ту самую, что мы видели. А на стену напротив – большой портрет Оли. Оля теперь, не отрываясь, смотрела на девочку на шаре.

Сам Иван Иванович сел на стул так, чтобы видеть обеих девочек.

Сидел молча, опущенные между колен руки чуть дрожали.

Съемка в переплетении лесов.

– Понимаешь, – объясняет Главный Оле. – У нее все сошлось. История с собакой, кошмар на улице... У нее сейчас возникла возможность стать какой-то другой... Она еще не знает, какой... И вот этот поцелуй... Первый...

– Наивно, – важно сказал мальчишка. – Если первый, то с ней не все в порядке.

Он явно хорохорится перед всеми. Изображает знатока. Игра эта больше всего рассчитана на Олю, но она на него не обращает внимания.

– Для правды чувств, – говорит ей мальчишка, – нам нужен контакт.

– Пошел ты! – сказала ему Оля.

– Мотор! – кричит Главный.

Мальчик подходит к Оле. Он неуверен не по роли, неуверен на самом деле. И руки у него дрожат.

– Что ты дрожишь, как маленькая? – говорит он несмело, протягивая несмелые руки.

Оля смотрит на него, и глаза ее насмешливы и презрительны. По роли? На самом деле?..

Вдруг он ее целует, как клюет в щеку. Сделал и тут же отпрянул, а она засмеялась.

– Холодно, – сказала она.

– Двадцать пять градусов! – глупо сказал мальчик. – Теплень! – И пошел к ней снова, а Оля ждала и смеялась ему в лицо.

– Стоп! – весело сказал Главный. – Очень хорошо!

– Но я у нее, получается, сто двадцать пятый, – рассердился мальчик.

– Ты такой и есть, – сказала Оля.

– Неужели?

Он смотрел на нее и ничего не понимал.

– Как она ведет свою линию! – восхищенно сказал Главный Ивану Ивановичу. Подошел и обнял его. – Спасибо, старик! Эта девочка дорогого стоит. Даже сравнить не с кем... Какой характер! Какой ум! Какая страсть! А с виду – пичуга пичугой...

Оля идет по улице с мальчиком.

– Ты странная, – сказал он ей. – Ты как ребенок... Тебе надо все поломать и посмотреть, что внутри... Но когда ты потом собираешь, у тебя остаются лишние детали. Верно?

Оля молчит.

Он разглядывает ее внимательно, даже зашел спереди, идет задом наперед, изучает...

– С виду же, – говорит он добродушно, – морковка морковкой... И не скажешь, что, – издеваясь, – ум! Характер! Страсть!

Вдруг неожиданно останавливается, и Оля, шагнув, попадает ему прямо в объятия.

– Вот! – сказал он решительно. – Попалась, птичка, стой!

Оля стоит, покорно замерев.

Мальчишка целует ее нежно, нежно в щеки, в лоб, в кончик носа.

– Морковка, – шепчет, – морковка!

Целует в губы, долго, по-мужски.

Она развернулась и ударила мальчишку со всей силы.

Иван Иванович привел Олю к себе. Комната преобразена. В ней уже существует «комната для Оли».

Оля видит свой портрет и картину Пикассо, покрытый пледом диванчик, и полку с книгами, и плюшевую собаку на полу, чем-то похожую на Лэди.

– Ты знай, – тихо говорил Иван Иванович. – Это все у тебя есть. Это место на земле твое. В любой момент... Ты знай...

– Пропишете? – спросила Оля.

– Конечно, – обрадовался Иван Иванович, приготовившийся долго уговаривать.

– А как потом делить будем?

– Что делить? – не понял Иван Иванович.

– Наивный, – сказала Оля. – Я детей и наивных не обижаю. Откуда вы меня знаете, чтобы мне все это предлагать? Вдруг я у вас все отсужу?

– А! – засмеялся Иван Иванович. – Дошло! Ты мне принесешь из школы характеристику. Я сниму тебя анфас и в профиль. Возьму отпечатки... Дурочка ты маленькая... Отсудит она...

– Ладно, – сказала Оля. – Только я собираюсь отсюда тью-тью... Куда-нибудь, где людей поменьше, а деревьев побольше... Вы меня все своим вниманием достали... Не надо мне вашей всеобщей помощи... Я вам не слаборазвитая страна.

И она ушла, хлопнув дверью.

Иван Иванович подошел к крану, открыл его и смотрит, как хлещет вода. Закрыл. Зажег газ. Посмотрел, как горит. Погасил. Открыл окно в кухне, влетел ветер, и все захлопало. Именно в этот момент вернулась Оля. Он не слышал. Стоял и смотрел в окно. На балконе напротив какой-то старик мучительно прыгал через скакалку, не спуская глаз с будильника, который стоял на парапете балкона.

– Извините меня, – услышал Иван Иванович. – Извините, но я просто не могу.

– Ну да, – сказал он.

– Но я могу приходить... Выводить гулять Бульку. – Она кивнула на кукольную собачку.

Оба печально засмеялись.

– Ну, режь меня, дурака, – сказал Иван Иванович, – но что-то тут не так... Судьба, будущее у каждого свое. Его не делят на всех.

– Если не может быть хорошо всем, – твердо сказала Оля, – пусть будет всем одинаково.

– Нет! – закричал Иван Иванович. – Неправильно это!

– Но я-то думаю так, – твердо ответила Оля. – Не сердитесь. У вас, правда, хорошо. Я бы жила... Но не могу...

Клавдия Ивановна сидела на краешке длинной лавки сквера. Она озябла, потому что был ветер, а пальто на ней старенькое, коротковатое. Шли мимо люди, все в красивых вещах, а она мерзла на стылом краешке. Без зависти, без злости, без раздражения. Просто мерзла и все. Заметила, как бежит по аллее Иван Иванович, и сомкнула колени, свела плотно ноги, поджала губы.

– Извините, Христа ради, – сказал Иван Иванович. – Может, пойдем посидим в кафе?

– Вы что? – потрясенно спросила она. – Я сроду там не была. Давайте говорите тут. Я сильнее уже не замерзну. У меня предел есть. Мне даже жарко потом станет.

– Мне-то нет, – засмеялся Иван Иванович. – Я без предела буду мерзнуть. Ну, ладно... Значит, так... Вы, если я скажу что не так... Говорите мне прямо, резко...

Она испуганно на него посмотрела.

– Кончатся съемки... Кончается восьмой класс... Дальше ПТУ... Я знаю. Без выбора... Не обсуждаю это...

– Зря, – тихо сказала она. – Это как раз бы и пообсуждать.

– Я к тому, что я могу ее взять... У меня отдельная квартира. Пусть учится дальше... Умная... Смелая... А я старый... Даст бог, не заживусь...

– Хорошо бы... – задумчиво сказала Клавдия Ивановна и испугалась. – Извините, я не про то! Живите! Я про Олю! Только не пойдет она к вам.

– Почему? – расстроился Иван Иванович.

– Ее один раз кто-то угостил шоколадкой. Так она целый день ее в кармане таскала, чтобы потом на семь частей разделить. На семь делить трудно. Вообще на нечетное делить трудно. Не замечали?

– Почему на семь?

– Все так спрашивают. А мне даже неудобно становится. Седьмая – я. Из-за меня не делится... Они никому не нужны. Никому. Они брошенные. Вы знаете что-нибудь страшнее брошенного ребенка? Их могут пожалеть... Могут помочь... Могут посочувствовать... Но их никто не любит просто так... Ни за что... Просто за то, что они есть... Как любит мать... А человеку, чтобы он был счастлив, именно такая любовь нужна... Любовь ни за что...

– У них есть вы, – тихо сказал Иван Иванович.

– Я? – удивилась Клавдия Ивановна. – Ну что вы! При чем тут я? Я вам скажу главное... Несчастливый человек не должен быть воспитателем... Чему он может научить? Он же не знает, как это... Когда счастье...

Иван Иванович очень растерянно посмотрел на Клавдию Ивановну, можно даже сказать, испуганно.

– Что ж нас с вами, – сказал он, – в резервацию?

– При чем тут вы? – удивилась Клавдия Ивановна. – Вы же к детям не имеете отношения... У вас такая замечательная профессия.

– Я ухожу на пенсию, – сказал Иван Иванович.

– Я тоже скоро уйду, – сказала Клавдия Ивановна. – Вот жизнь прошла. А зачем она была? Зачем была жизнь? Вы сами поговорите с Олей... Я была бы рада... Честно... Чего ж не жить в отдельной квартире и учиться?

– Значит, так, – сказала Лора, закрыв дверь ножкой стула. – Мы все по разнарядке идем в ПТУ, и это правильно. И будем радоваться во все легкие ради Клавди, она из-за нас умом тронулась.

– Не хочу в ПТУ, – заскулила Катя. Подошла к доске и написала большими буквами «НЕ ХОЧУ».

– А кто ты такая? – сказала Лорка. – Мы люди обычные, каких тыщи... Если о ком думать, так об Ольке. Она – талант.

– Это по-честному, – заикаясь, сказала Муха. – Это будет по-честному.

– Чем она нас лучше? – кричала Катя.

– Нет, – сказала Фатя. – Ничего нет лучше артистов. Все люди, люди, люди, люди... А они – всё! Надо Ольке помочь. За ней машина ездит... Я вот проживу, а за мной сроду не приедет...

– Лорка права. Надо быстро выучиться и идти вкалывать, чтобы были деньги, – сказала Лиза. – Будут деньги – все будет. И если у Ольки такое в жизни везенье, так почему мы ей еще должны?

– Талант же у Ольки... – с тоской произнесла Лора. – Это, как красота... Не каждому дается...

Скатаны матрацы. Связаны бечевкой стопки книг. Два стареньких чемодана собрали весь нехитрый скарб девочек. Они сидят на голых кроватках.

тях, молчат. Оли среди них нет. Ее узелок связан и лежит отдельно.

...Вот так она всегда, Клавдия Ивановна. Появляется без предупреждения. Видно, что больна. Видно, что измучена. Но старательно хочет не показать это девочкам.

– Красота неопишная! – говорит Клавдия Ивановна с порога. – Под окнами лес... Воздух – бальзам... Дышишь, дышишь – не надышишься. Школа – через триста метров. Девочки, такая школа! Сроду не видела... Пока не получается с общей комнатой... Ну, вы же знаете, как... Все уже сдружались... Ну, ничего! Хорошие такие девочки... Приветливые...

Тут же мы это должны увидеть. Приветливых девочек. Подбоченясь, насупившись, встретят они на пороге этих неизвестно откуда свалившихся чужачек.

Реплики:

- Погорельцы, что ли?
- Длинную (о Лорке) хорошо бы укоротить...
- Говорят, среди них артистка...
- Не чуди! Они все страхомордины...
- И кляча с ними (это о Клавдии Ивановне).

Рванулась вперед Лиза, боднула головой ту, что сказала о Клавдии Ивановне. Через секунду они уже дрались, а Клавдия Ивановна, плача, растаскивала их. Через несколько минут они все, нахохлившись, уже сидели в старом автобусе.

Объяснялась на пороге с начальством Клавдия Ивановна. Что говорила, девочки не слышали. Сидели молча.

Медленно ехали назад. Дребезжал автобус. Потому что он был старый и медленный, они успели заметить Олю, которая брела с вещами им навстречу. Застучали в окна, заорали не своим голосом. Затормозил автобус, свернув на обочину. Кинулись девчонки к Оле. Та стояла заплаканная и несчастная.

– Куда это ты, интересно, шла? – спросила Клавдия Ивановна.

– Вы как выездные... Вам человека бросить, что плюнуть... Эх вы!

– Мы на экскурсию ездили, – сказала Клавдия Ивановна, – сейчас вернемся, чай будем пить.

Она подошла и как-то исхитрилась обнять их всех.

Вышла из ее рук Оля.

– Зачем врать? – сказала она, сдерживая слезы. – Теперь такая жизнь, всем на всех наплевать. Такой теперь климат. Это только эта дура, – кивает на Муху, – добро считает. Ты микроскоп возьми, чтоб его найти. – Дразнит: – И кто копеечку дал, и кто конфетку... Юродивая!

– Да ты... Да как же... Как... Ты можешь... – Муха стала заикаться. С ужасом смотрят на нее девчонки. Клавдия Ивановна, горестно посмотрев на Олю, подошла к Мухе и положила на ее голову руку.

– Успокойся... Успокойся... Говори медленно...

У Мухи глаза полны ужаса. Боится слово произнести, только рот открывает.

Кинулась к ней Оля.

– Муха! Муха! Прости меня!

– Б-о-о-г про-стит, – ответила Муха.

– Поем! – сказала Клавдия Ивановна. – Все поем!
И они запели – для Мухи и с Мухой. Это способ
лечения заикания.

Миллион, миллион алых роз
Из окна, из окна видишь ты...

Ехали по шоссе машины. Мало кто смотрел в сторону странной пестрой стайки, которая нелепо пела на обочине под руководством нелепой женщины.

Распевалась с ними Муха. С какой же надеждой она пела!

Оля поет старательнее всех, и мы слышим не только слова песни, но над ними, сверх, слышим ее «молитву».

«Товарищ Михаил Ульянов! Дорогая Алла Пугачева! Бога нет... Помогите вы... Пусть она не заикается... Сделайте что-нибудь плохое мне. Пусть я умру... Или пусть меня не снимают в кино... Пусть у меня выпадут волосы... Только чтоб Муха говорила, как человек».

Перегороженная улица, где должна сниматься сцена дорожного происшествия, так называемого подвига Оли.

Стоят наизготовку прицеп с капустой, фургон с мебелью, троллейбус с опущенными проводами, «рафик» милицейский и «рафик» санитарный.

Артисты массовки стоят в очереди за километровыми огурцами, которые продают на углу.

– Господи! Хоть бы успеть! – говорит старушка. Это ее должна «спасти» Оля. Старушка беспокоится об огурцах.

- Где она? Где? – кричит Главный.
– Я тут! Тут! – кричит старушка.
– Да не вам! – машет рукой ассистент режиссера.
Подошел Иван Иванович. Он озабочен.
– Не может быть, чтоб там никого не было, – говорит он.
– Ну, я ж тебе русским языком! – возмущается шофер. – Я оттуда. Тихо у них. Никого.

Мертвая Клавдия Ивановна лежит на кровати. У нее спокойное, красивое лицо. Вокруг нее девочки. Они не плачут. Они в ужасе. Как-то особенно громко тикает будильник.

Иван Иванович вошел и не сразу понял, что произошло. Увидел Олю.

– А ее сотня людей ждет! – сказал и тут только увидел Клавдию Ивановну.

– Немедленно «скорую»! – закричал он и взял ее за руку. И сразу бережно положил.

Запершись на крючок, девочки сидят в комнате Клавдии Ивановны после похорон.

Девочки не плачут. Силу их горя можно понять по их враз постаревшим, каким-то взрослым лицам. Даже Мухе никто сейчас уже не даст двенадцать лет. Грохочет экскаватор, дрожат стекла.

– Знать бы, какие таблетки, – тихо говорит Фатя, – выпить, и с концами.

Посмотрели на нее девочки так, что сама Фатя испугалась.

– А помните, – тихо сказала Оля, – она вытаскивала жребийную бумажку... И кто-то тогда сказал, что ни с кем она жить не будет...

– Я! – заплакала Муха. – Я. Накаркала...

Вот тут они и расплакались. Плакали громко, текли слезы, текли сопли, плакали, как плачут дети, и не слышали, как в дверь тихо, но настойчиво стучали.

Услышала Оля, посмотрела в окошко. Стоял на крылечке Иван Иванович.

Они впустили его.

Он достал из огромной сумки кастрюлю с рисом и бидон с компотом. Молча выложил рис на блюда, разлил по стаканам компот. Замерев, девчонки следили за его неторопливыми, уверенными движениями.

– Помянем, – сказал он. – Это кутья. Поминальная еда.

Тихо ели. Тихо пили компот.

– У меня в сорок шестом умерла невеста, – тихо заговорил Иван Иванович. – В Ленинграде. В сущности, от блокады... От ее последствий... Представьте себе... Победа! Остался жив! Невеста ждала! И сразу смерть... Казалось бы, сколько всего видел на войне, а тут рухнул... Никого у меня, кроме нее, не было... Родителей в Минске... Брата еще в финскую...

– Финская – это что? Баня? – спросила Лиза.

– Война до войны...

– Проходили по истории, – сказала Оля.

– Я не проходила, – ответила Лиза.

– Она шла другой дорогой, – сострила Лорка.

Что-то стронулось. Сдвинулось. Не то чтобы горя не было, просто проступила жизнь. И рис съели. И компот выпили.

– А у нас с тобой еще работа, матушка, – сказал Иван Иванович Оле.

Они пришли на тот самый перекресток. Все так и было, как мы уже видели, только на углу продавали не длинные огурцы, а леденцы в банках. Старушка по-прежнему стояла в очереди.

– Девочка моя! – проникновенно сказал Главный. – Такова жизнь... Но надо идти дальше.

– Куда? – спросила Оля.

Подбежала старушка с полной авоськой банок.

– Сегодня, наконец, будет съемка? – спросила она капризным голосом.

– Ее я должна спасать?

Упал с прицепа вилок капусты и шмякнулся о грязь.

Иван Иванович обнял Олю и тихо сказал:

– Конечно, все глупо... Рядом со смертью... Все глупо... Но почему-то надо жить...

– Она ничего... ничего... никогда... никогда... уже не увидит... – Оля говорит это тихо, потому что вокруг...

– Сначала пойдет автобус, потом машины. Автобус тормозит у зебры, «Жигули» проскакивают. Фургон делает разворот. У троллейбуса обрывается провод. Люди по сигналу флажка. Оля! Где Оля?

Ассистент кричит в рупор.

Оля невидяще смотрит на все.

Ее везут домой после съемки.

Оля опустошена, обессилена. Равнодушно, безразлично смотрит в окно, на поток людей, поток машин.

Что-то вызвало на ее лице интерес. Не успела понять – проехали. Выглянула в заднее стекло – ничего.

Снова что-то забеспокоило. Потому что остановились у светофора, рассмотрела: на обочине стоял обрызганный грязью старый человек. Наморщив лоб, стала внимательно смотреть вперед.

Еще один обрызганный. Через квартал еще...

Те самые «Жигули» медленно, как ни в чем не бывало, сворачивали в арку.

– Я тут сойду, – сказала Оля шоферу.

Она вошла в арку сосредоточенно и целенаправленно. По дороге подобрала камень.

Знакомая машина стояла у подъезда, и одно ее колесо игриво вздыбилось на тротуаре, загородив проход.

С наслаждением ударила по стеклу камнем.

Страстно, самозабвенно она крушила эту машину, не обращая внимания, что по ее рукам уже бежит кровь.

– Зачем? – спрашивает Олю тихая, какая-то домашняя женщина-лейтенант. – Ты знаешь, что такое вандализм?

– Знаю, – спокойно ответила Оля.

– Молодец, – сказала женщина. – Уже легче. Ну а про то, что родителям придется за все платить, это знаешь?

– Вот про это нет! – ответила Оля. – Не подумала... Просто из головы вон...

- Мне их жаль! – сказала милиционер.
- Мне тоже, – ответила Оля.
- Номер телефона, – женщина взяла ручку.

Оля говорит номер, и мы видим, как звонит телефон в привратницкой Клавдии Ивановны, где сейчас уже прорабская, как бежит к телефону человек в резиновых сапогах.

– Алло! – кричит человек. – Прораб слушает.

– Мне Климова или Климову, – говорит милиционер.

– Нет таких, – отвечает прораб. – Это стройка.

Женщина внимательно смотрит на Олю.

...– Сволочь! Сволочь! – это кричал, вбегая, тот самый парень, владелец машины. – Кто мне это оплатит, кто? Вонючий детдом? Имейте в виду! У нее деньги будут! Она в кино снялась... Ей причитается сумма прописью. Пусть оплатит до копейки.

– Какое кино? – спросила милиционер, снова беря трубку.

Оля с каким-то непередаваемым удовлетворением смотрела, как он дергался, этот красивый парень. Как он потел, и краснел, и даже за сердце хватался, и воду из графина пил.

– Артистка! – шипел. – За сотый километр таких артисток... Распустили... Лимита проклятая... Быдло...

– Я вас попрошу! – жестко сказала женщина.

– А я знаю! Знаю! – кричал парень. – Вы ж за них! Вы сразу за них! А я вам говорю – пусть оплатит. Получит гонорар и отстегнет за хулиганство. Бандитка!

– Господи! Да заплачу я ему, – засмеялась Оля.
– За удовольствие надо платить. – И снова засмеялась освобождено.

Звонила по телефону милиционер, что-то говорила, а они смотрели друг на друга – Оля и парень.

Дорого стоил этот перегляд, не выдержал его парень, хлопнув дверью, вышел.

– Почему именно он? – спросила милиционер. – Его машина?

– Потому что он... Потому что его машина...

...Он ворвался, держась за сердце, Иван Иванович.

– Сколько я должен заплатить? – с порога спросил он. – Я отец.

– Много, – сурово сказала милиционер.

– Ничего, – ответил Иван Иванович. – Я богатый... – И полез в карман. – Как это у вас делается? Прямо вам? Или через сберкассу? Или этому, потерпевшему? – И Оле. – Сейчас пойдем домой, и я тебя выпорю...

Милиционер с интересом наблюдала за комедией.

– Она знает, – тихо сказала Оля Ивану Ивановичу.

– Что она знает? Что? – Он вытолкнул Олю из кабинета и встал перед милиционером, распахнув пальто. На нем был уже ему тесный старый пиджак с орденами и медалями, и живого места на пиджаке не было.

– Убедительно, – сказала милиционер.

– Извините, – сказал Иван Иванович. – Уже лет двадцать не надевал... Жмет подмышками... И вообще...

Лорка обрабатывает Олины порезы.

– Как Клавдия говорила? Новая шкура нарастет крепче прежней... Дубленочкой станет...

На стене их комнаты висел очень плохой портрет Клавдии Ивановны. Его, видимо, увеличили с маленькой фотографии. Рядом был тот же Макаренко, тот же Ульянов. Полка с теми же самыми книгами. На доске было написано: «Весна и свобода». Девчонки толстыми ломтями резали батон и колбасу, наливали чай в граненые стаканы. Почему-то на стуле стоял дешёвенький какой-то покосившийся фруктовый торт.

– Катька! – сказал Муха. – У тебя рука набита делить на семь.

И тут мы видим Ивана Ивановича. Он на короточках настраивает маленький телевизор. Рябит экран, но уже во всю мощь слышна песня «Миллион, миллион алых роз».

Девчонки смеются, потом подпевают. Оля дирижирует.

На весь экран ее тонкие красивые пластичные руки в смазанных йодом ссадинах до самого локтя.

«...свою жизнь для тебя
Превратил в цветы...»

Покидаем мы их постепенно. Вот они уже видны только в окно.

Вот красивый старый обреченный дом. На фоне синего неба навис над ним синий небоскреб.

Знакомая «баба» замерла в ожидании своего часа.

Перепоясанные веревкой с ленточками шумят, шевелятся нежные, красивые березки.

Колышется дощечка «Штраф 1000 рублей».

Конец

1987

Дядя Хлор и Корякин

Сказал бы кто Фролову, что такое с ним случится, не поверил бы... Хотя, конечно, подумать, что никакого беспокойства у мужика не было, когда он на старости лет решил жениться, тоже нельзя. Все-таки до сорока трех жил как перст, и хорошо жил, между прочим. Работал фотокором в газете, там два рубля, там три, там полтинник – набегал гонорар. Сумел построить однокомнатный кооператив, отдал за него долг до копейки, купил в квартиру диван, письменный стол, на кухню полки, опять же стол с табуретками. Что еще человеку надо? У военных по случаю разжился хорошим полушубком – считай, дубленка. Костюм, обувь на работу и выход тоже есть. Все-таки стоящее это дело – человек непьющий. Вполне можно к старости сформировать жизнь по-человечески... Фролов непьющий, что для фотокоров редкость. А вот женат не был. И не хотел. Боялся. То есть боялся смолоду, очень робел перед женщинами. Видимо, частично это происходило от специфики работы Фролова. Все-таки женщин он видел всяких и во всяком. И когда он смотрел на них через объектив своего аппарата, он все про них понимал сразу и навсегда. Какой у нее характер и как она утром затылок скребет. Какие слова говорит, а какие в уме держит. Много Фролов понимал. Потом женщины «возникали» у него в ванной, всплывали, как из пучины морской. Еще ничего нет – и вдруг откуда-то глаз... И такой этот глаз очевидный, так все по нему прочесть

можно, что Фролов дал всему женскому полу отрицательную оценку и вынес этот пол за скобки своей жизни.

На старости же лет, на сорок четвертом году жизни, когда под полушубком уже округлилось пузо, а под кроличьим треухом засветилась плешь, случилась у Фролова женитьба. И так быстро случилась, так моментально, что сообразить он не успел, а уже спала на его диване рядом с ним женщина и пиналась ногой, стягивая с него одеяло.

Все было чин чинком. И заявление в загс было, и три месяца ждали, но уж очень быстро время прошло.

Конечно же, Валю он никогда не фотографировал. Он ее нашел, можно сказать, на собственной работе. Они сидели в одном здании – редакции и организаций «Скотооткорма» и конторы по борьбе с древесными жучками. И туалет у них был общий. Поближе к выходу мужской, а потом женский. Мужчины у туалета курили, а женщины проходили мимо. Неудобная раскладка, но что делать? Курить хочется? Хочется! Туда надо? Надо...

Фролов заметил: эта женщина из жучковой конторы подойдет к туалету и, если там куряки стоят, идет выше, будто ей надо в «Скотооткорм». А ей не надо, ясное дело. Просто она стесняется. Это понравилось Фролову. Он отметил это качество знаком плюс, потому все остальные женщины из трех организаций помечены в этом отношении знаком минус.

Получали праздничные заказы. Организации для этого дела кооперировались. Не хватило на всех мандаринов. Сцепились женщины в борьбе

так, что можно подумать, что это война, карточки и последняя пайка хлеба. Она же – нет. Обошлась без мандаринов. Спокойно так, без крика. Это тоже понравилось.

Потом отключили в их здании свет. Ну! Начался цирк и баня, как говорил их общий для всего здания завхоз. Визг, писк. Какие-то свечки, тени по стенам.

Фролов-то к полутьме привычный, у него такая специфика работы, он ходил спокойно, все видел. Женщины трех организаций стали зачем-то выскакивать из комнат и натекать на мужчин. Фролова аж затошнило от этих горелок. И вдруг видит, крадется по стеночке Валя, тихо, тихо, чтобы никого не задеть. Так и ушла бесшумно, только в самом подъезде дверью хлопнула. И Фролов подумал: все другие женщины тоже могли уйти, им же по-русски сказали: света не будет. Они же вроде только этого и ждали – темноты, чтоб разыграться. А немолодые уже женщины, почти всем за тридцать. У многих дети. Одним словом, положил Фролов глаз на Валентину как человека положительного. Не больше того. Работает, мол, в здании одна-единственная женщина, у которой не заскорузла совесть.

Внешне Валентина была не фотогенична. И это тоже понравилось. Эти фотогеничные... Может, от них все и зло...

Потом выяснилась еще одна симпатичная деталь. Валя жила за городом и ездила на работу на электричке. Фролов же ходил на работу через дорогу. Теперь каждый раз, пересекая улицу, он ду-

мал о том, какие она преодолевает трудности, как бежит утром к определенному времени, опаздывает, задыхается от бега, как тяжело дышит потом в вагоне, и хоть бы кто место уступил.

Было что-то во Фролове партизанское, видимо, от отца, который воевал в Белоруссии, только никто и не заподозрил, что ведет он тихое свое дознание. А он как-то зашел к «жучкам» вроде за спичками и узнал, что у Валентины – ребенок, дочь шести лет. Зовут Оля. Мужа как такового нет. Ну, что ж... К своему брату мужчине у Фролова тоже были претензии. Он знал, что его брат очень разбаловался последнее время. И по части выпивки, и по части фотогеничных... Много стал мужчина позволять себе не мужского, и предать может, и соврать, и в склоку ввязаться. Калибром современный мужик стал помельче. Так что, даже не зная ситуации в случае с Валентиной, Фролов благородно взял ее сторону. Допускал, что мог ей попасться пустой человек.

Однажды они вышли из здания вместе. Не совсем случайно, конечно. Фролов выход Валентины прохронометрировал. А вот ручка у сумки Валентины оборвалась в тот день случайно. Фролов ее не подрезал. Заохала женщина, что ей делать, хоть оставляй все, ей печенка попалась говяжья по госцене, она же вся закровится, если ночь полежит без холодильника. И сказал Фролов Валентине:

– Давайте зайдем ко мне. Я живу через дорогу, дам вам свой кофр, вы все переложите, а я вам ручку пришпандорю.

– Хорошо как у вас, – сказала Валентина у него дома, но без захватнической интонации.

Другие женщины, возникавшие в квартире Фролова, автоматически ногами мерили кухню и мысленно расставляли в ней мебель. Это видно сразу, и Фролов такую женщину старался тут же проводить до троллейбуса или трамвая. Эта же – ничего. «Хорошо», и все. Порадовалась за Фролова. И чай пить отказалась – тоже плюс. По мнению Фролова, настоящая женщина должна до трех раз отказываться от всего, что их брат предложит. Только с четвертого раза можно давать слабинку.

Валентина в коридоре же переложила все в сумку Фролова, и он пошел ее проводить, потому что сумка была будь здоров. Он, конечно, по специфике работы привык к тяжести, но и то почувствовал.

В электричку Фролов садиться не собирався, а сел. И эта неожиданная лихость (без билета же!) заставила его посмотреть на ситуацию иначе. Он понял, что у него серьезные намерения.

Она же продолжала потрясать его тем, что вела себя так, как должна вести женщина с высоким знаком качества.

– Давайте зайдем, – сказала она. – Я все выложу и отдам вам вашу сумку.

Зашли. Неказистый деревянный домик с покосившейся антенной, мать, тихая такая бабушка. «Садитесь, пожалуйста». Газетку ему под ноги сунула, чтоб не наследил. Оля – девочка беленькая, спокойная.

– Познакомься, Оля, это дядя Фрол...

Надо сказать, что в редакции все Фролова звали Фрол. И он за многие годы привык. Фрол так Фрол. Но тут его немножко, чуть-чуть ущемило, что она имени его не знает. А с другой стороны – снова прибавило ей плюс, что не вела следствие, не выясняла, кто он и что! Хотя должна была бы обратить внимание на подписи: Фото А. Фролова. Но она ведь может не читать газет. Зачем ей? Фролов давно убежден, что газета – это игрушка, в которую играют журналисты и руководящий состав. Людям же простым, когда есть радио и телевизор, газета не нужна. И еще Фролов заметил: люди все, что им надо, и так узнают, пока на работу едут. И кого сняли, и кого назначили, и кто проворовался, а кто стал верующим. Потому то, что Валентина их газету не читала, криминалом в глазах Фролова не было.

В общем, дали ему его же сумку в руки и ступай с газетки.

Но тут Валентина полезла смотреть в расписание электричек – хороший поступок! – и ахнула. Оказывается, именно в эти дни по вечерам проходили какие-то работы на дорогах, и теперь ближайшая электричка должна была пойти только через два часа.

Раздели его. Посадили ужинать. На ужин подали жареную картошку с домашней квашеной капустой и кисель из магазинного компота в банках. Еще порезали колбасу, но Фролову эта колбаса из превращенных в атомы крашенных костей так надоела, а картошка была так грамотно пожарена и чесночком приправлена, что колбасу так и спрята-

ли в холодильник «Север» нетронутый, а Фролов подумал: скромно живет семья, более чем...

Потом разговаривали про то, про се. Женщины очень сочувственно отнеслись к тому, что Фролов сам построил себе квартиру, но опять же ни намек на захват...

Услышал Фролов в их суждении от собственной жизни удовлетворение. Все, мол, у них хорошо. Домик еще постоит. Слава богу... А если их улицу будут сносить – ходят такие слухи, то им на троих дадут двухкомнатную, что просто замечательно. «Вообще, – сказала бабушка, – хлеб вольный, что еще человеку надо? Раньше жили хуже...»

Понравилось это Фролову, потому что в редакции окружал его разговор, так сказать, обратный. Все, мол, хуже и хуже... Сам он, как и бабушка, так не считал. Не в подвале, не в опорках, кино у всех на дому, да удовлетворитесь вы, люди! Поблагодарите Бога там или советскую власть. А все на него – дурак ты, Фролов, что от опорков считаешь... Давай еще от бизоньих шкур и кострищ. Тогда мы сегодня совсем в раю.

Фролов спорщиком не был. Не держал он на каждый чужой выкрик своего слова под языком. А мысли были. Он был убежден: надо бы человеку в претензиях окоротиться. Взять и чуток порадоваться тому, что у него есть... А чего нет, если уж невмоготу, спокойненько заработать, построить или что там еще... Без ора, без криков. Вообще во всем, во всей жизни и работе без ора и криков. Без починов и начинаний и всяких там девизов «пять в

три», «три в два» и так далее. Фролова специфика его работы, надо сказать, доконала. Героев на первую полосу он уже видеть не мог. Тем более что никто, как он, не знал, какая это все лажа... Брехня в смысле...

В общем, понравилось Фролову у Валентины. Плохо живут, а не обидчиво. Скромно.

Дома он починил ручку у сумки. Когда на следующий день пересекал улицу, идя на работу и держа в руках эту самую сумку, чувствовал себя как-то очень хорошо, светло. Но тут вспомнил, что сама Валентина в этот момент где-то там придавлена в электричке, как-то сразу расстроился, заперевивал, даже виноватым себя почувствовал. Живу, мол, как барин, а хорошая женщина мается...

А тут случился грипп. Фролова подкосило, да как-то очень сильно. Лежит дома с температурой тридцать девять, кости так крутит, что не встанешь на ноги, просто полный абзац. В буквальном смысле воды подать некому. Да что воды? Он лежит, как идиот, и перейти улицу и сообщить, что он не в состоянии снимать в номер очередного героя, тоже некому. За неявку на работу быстрый на расправу редактор объявил Фролову выговор, только на третий день кто-то задал человеческий вопрос: а не случилось ли что с фотокором?

Но это же надо идти к Фролову домой, а тут у всех номер, верстка, правка, сразу не собрались, одним словом... И тут приходит эта женщина из «жучков» и говорит, что лежит Фролов в тяжелом состоянии. Редактор тут же велел организовать

круглосуточный пост, но женщина сказала: «Не надо». И все облегченно вздохнули.

Пока Фролов болел, а потом выздоравливал, Валентина ходила к нему, кормила, убирала. Он ей был благодарен даже не столько за это, а за то, что она сообразила, что он заболел, и пришла, и звонила, звонила в дверь, пока он по стеночке до нее добрался. У него даже сил не было крикнуть: «Иду, мол...» Он едва замок в двери повернул, такое бессилие...

Сразу после его болезни и подали они заявление в загс. Валентина сказала, что выписываться из своего дома не будет, ходят все-таки слухи, что будет снос... Зачем же перспективную квартиру терять? Дочка будет жить у матери, садик рядом, и школа рядом, чего ребенка дергать?.. Фролов же ей твердо сказал: он ничего против Ольеньки не имеет. Но было в таком решении Валентины и что-то ему приятное. Какая-то ее осторожность ли, деликатность...

А через месяц случилась беда. Заболела воспалением легких девочка, и положили ее в больницу. Две недели Валентина жила там, а потом, когда дочка стала выздоравливать, вернулась. Спала как мертвая от усталости. На воскресенье поехала к матери делать генеральную уборку: в понедельник Олю выписывали. Фролов тоже с ней собирался, но у него случилось срочное задание, и он поехал в район кого-то там снимать на первую полосу.

Валентина с матерью выскоблили и проветрили дом, а потом решили хорошо его протопить, чтобы ребенок из больницы попал, наконец, в человеческие условия. Протопили, легли спать и угорели. Насмерть.

В больнице оказались хорошие люди – оставили девочку у себя, пока похороны, то да се...

Как все прошло, Фролов помнил плохо. Потому что было ощущение, что он в это не включился. Куда-то ходил, что-то делал, сам себе чужой. Уже возле могилы его стали толкать в спину, чтобы он поцеловал Валентину. Не мог сообразить – зачем? Но подошел ближе к гробу. Увидел незнакомое лицо, ничего общего с той женщиной, которую знал. Получалось, что хоронил чужую. Зачем же целовать? Так и не смог, постоял, посмотрел и отошел.

В выскобленном, чистом доме, в котором даже после всех сквозняков пахло чуть-чуть сладковато, состоялись поминки. И тут Фролов стал потихоньку приходить в себя от недоумения. Очень странный шел вокруг разговор. Чтобы его понять, надо сильно сосредоточиться, а для начала прийти в себя.

Родственники, человек восемь-десять, почему-то все друг дружке доказывали, какие они все без исключения далекие покойницам люди... То, что называется – последняя вода на киселе. В подтверждение этой странной для такого случая мысли некоторые, оказывается, случайно прихватили с собой документы. И этими бумажками будто невзначай тыкали Фролова. «Ты поглянь, поглянь, – говорила сестра бабушки, – у нас и фамилии-то разные... А ты говоришь – сестра».

Да ничего Фролов не говорил ей про это!

Он же сидел как замороженный.

– А я вообще не отсюда, – доказывала другая, помоложе. – И вообще у нас там климат очень гнилой...

Дурак дураком сидел Фролов, но слегкаживать начал. В глубине души Фролов был человек любознательный. Его эти родственники, которые только что не в волосы вцеплялись друг другу, доказывая, что они – самые, самые дальние, заинтересовали. Ну, спорили бы они, кто ближе, тогда понятно, какое-никакое барахлишко, а осталось от покойниц. И дом... Есть резон побазарить... Правда, Фролов толком не знал, собственный этот дом или казенный... Ему-то это без разницы. Но бороться за то, чтоб считаться чужим, такого он сроду не видел.

И тут его озарило. Он вдруг понял, чего боялись эти люди: кому-то из них придется забирать из больницы Олю. Ради этого они и документы прихватили. «Ах вы, собаки! – в общем-то беззлобно подумал о всех Фролов. – Ах, собаки!» Видел Фролов и другое: они его по взглядам считают «своим» и тоже защищают. «При чем тут он? – кричал двоюродный брат Валентины. – Он вообще тут без году неделя».

И тогда выступил старейшина всего этого действия, какой-то там исключительно далекий всем дедушка. Он сказал, что у ребенка есть отец. Что от отца этого шли алименты. Что девочка носит его фамилию. Так что нет предмета спора. Надо отбить телеграмму... «Как его?» «Корякину, Корякину!» – закричали последние на киселе. «Корякину отбить, – повторил старейшина, – и пусть он забирает свою дочь. А пока суд да дело, то, наверное, каждый не будет против...»

Дедушка не кончил говорить, а все уже платками повязывались, пальто натягивали. «Правильно, правильно, и как это мы сразу? Есть же Корякин». И тут всех ветром сдуло.

Все Фролов сделал сам. Посуду помыл, вытер, в шкафчик поставил. Пол подмел. Скатерку на крыльце вытряхнул и сунул в свой кофр, чтобы отнести в прачечную. Выключил свет, перекрыл газ и поехал домой.

Возле дверей квартиры на попу была поставлена широкая тахта, которую они решили купить с Валентиной вместо дивана. Он совсем забыл, что именно на сегодня заказана доставка. На тахте лежала бумажка «Позвоните в 27». Он позвонил, вышел мужик в пижаме и майке со спущенной, оттянутой лямкой.

– С тебя шесть рублей, – сказал он сразу. – Они тут орали, пришлось заплатить. Три по бумажке, три сверху.

Фролов отдал шесть рублей. Самому втаскивать тахту в квартиру оказалось трудно. Корпел он над этим долго. Попросить же соседа постеснялся. В конце концов видел же мужик, что тахта стоит на попу и что надо ее поставить на место? Видел, но сам не вышел. Зачем же просить и нарываться? Фролов все-таки справился, втащил это одоробло. Тахта оказалась очень широкой и по расцветке нахальной, она заняла половину комнаты и была теперь Фролову абсолютно ни к чему.

Лег он на свой старенький диванчик и удивительно крепко уснул, все-таки намаялся за эти дни.

Проснулся же рано, и первая его мысль была о Корякине, которого он знать не знал, ведать не ведал, а вот едва проснулся, глаза открыть не успел, а в мыслях – Корякин. Фамилия оказалась подходящей, распяла она фроловские мозги, аж больно стало. Ну, а потом следом за этой самой болью пришло беспокойство: девочку-то, Олю, надо из больницы забирать. С ним договор был, с Фроловым, что как, мол, все закончится, то ее и выпишут.

Пошел Фролов к редактору отпрашиваться, тот весь аж затрясся: сколько, мол, можно? Три покойничих дня вы, Фролов, уже имели, теперь же имейте совесть! На первую полосу нечего ставить, требования к печати возросли, всюю идет принципиальная критика, в противовес же ей нужен оптимистический иллюстративный материал, чтобы был баланс того и сего, а у вас, Фролов, получается, личные дела всё застыт?

– Дитя из больницы надо забрать, – бубнил Фролов. – Обещал...

– Попросите женщин из «жучков», все равно целый день вяжут, – нервно закричал редактор, на что Фролов твердо сказал:

– Это же мои проблемы...

Договорились так. Фролов быстренько с соседнего заводика сварганит оптимистический фоторепортаж, а потом займется своими делами. Оказались рядом сотрудники, всё они слышали, качали головой. «Ты, Фролов, дурак... Оно тебе нужно, чужое горе?.. Какой ты ей родственник?..»

Смолчал Фролов. Не станешь же рассказывать про то, как все родственники отползали вчера, можно сказать, за демаркационную линию. Не вспомни тот старик Корякина, могло бы дойти до того, что объявили бы себя родственники другой расой. Какими-нибудь мбундунцами или овимбундунцами, чтобы только подальше числиться. Но он-то, Фролов, слава богу, русский и даже по темноте бабки крещеный. Так что никаких ему женщин из «жучков» не треба, он сам... Взял такси и привез Олю к себе. Посадил на широкую тахту и сказал: «Живи пока...»

Девочка молчала весь вечер. Отказалась есть. Фролов не знал, что делать, и метался по кухне. У него просто паника случилась. Вспоминал себя ребенком, чего ему тогда хотелось в первые послевоенные годы? Не мог вспомнить. А потом вдруг вспомнил. Молочный кисель! И даже вспомнил, как он его захотел. Мать ему читала сказку, и были в ней слова про «молочные реки и кисельные берега». Ему возьми и представься все это... Бежит белая такая речка, вся в бурунчиках, и берега розово-осклизлые, которые можно откусывать губами... Представлялось, представлялось, а вылилось в ор: «Хочу молочного киселя!» И мать ему сварила... И он не мог тогда дожидаться, когда кисель остынет, у него просто спазм в горле возник от страстности желания.

– Хочешь молочного киселя? – спросил Фролов на всякий случай Олю.

– Хочу, – тихо сказала она.

Она хорошо поела, а Фролов сидел рядом и ложкой выскребал остатки киселя со дна и стенок кастрюльки. И так ему почему-то хорошо стало, будто благодать нашла. «Ах ты боже мой, боже мой», – бормотал Фролов.

Но спать в эту ночь он уже не мог. Он лежал и думал о том, какая невеселая история с ним приключилась и надо теперь писать Корякину. Девочка спала и во сне всхлипывала, и этот ее всхлип, слабый и жалкий, напомнил Фролову Валентину. Та тоже ночью всхлипывала. И он ее именно в эти минуты больше всего жалел и любил.

Вообще надо сказать правду. Когда Валентина уже переехала к нему, он остро об этом пожалел. Во-первых, его сразил этот запах, которым были пропитаны ее вещи, – запах разных химикалиев против древесных жучков. Висело на вешалке пальто и воняло на всю квартиру, а Валентина сказала: «Я не чувствую». Именно пальто было противней всего. Поэтому он приходил с работы и первое, что делал, раздражался. И хоть по природе своей Фролов был человеком смирным, тут его бешенство как волной накрывало. Хоть «караул» кричи. Но он, надо отдать ему должное, не кричал, только все ему становилось уже не так. Валентина, например, сначала ставила горячее, а потом начинала нарезать хлеб. А он привык, чтобы до всего был нарезан хлеб, соль, горчица поставлены, стакан для чая приготовлен. Тогда можно ужинать спокойно, последовательно, не отвлекаясь. Опять же – мытье посуды. Фролов сначала мыл ложки,

ножи, вилки. Потом стакан, после уж тарелку. А Валентина все бухала в мойку вместе. В общем, тяжелые вечера получались у Фролова. А вот ночью, когда женщина начинала всхлипывать, у него вдруг откуда-то прорывалась нежность, и он мечтал, что купит ей новое пальто и найдет другую работу, бедняга же все время с химией этой проклятушей. И просыпался он утром с хорошим чувством, и хоть Валентина по утрам красоткой не была – щеки мятые, глаза запухшие, – все равно утром было легче, чем вечером. Даже от пальто не так разило.

Но все-таки сказать, что Фролов обрел нечеловеческое счастье, женившись на старости лет, было бы преувеличением. Счастьем не пахло. Как бы там сложились у них отношения в будущем, сказать трудно. Всякое могло быть...

Теперь же спала на дурацкой тахте девочка, нежно всхлипывала, сердце Фролова щемило, и спать он не мог. Встал и пошел на кухню. Сел на табуретку и стал смотреть в ночь. Где, интересно, этот Корякин? И кто он вообще? Валентина никогда ему про свой первый брак не рассказывала, а он не спрашивал. Такие они люди, молчуны по части личной жизни.

На следующий день, оставив девочку одну, побежал Фролов на работу оформлять отпуск. И туда ему позвонила седьмая вода на киселе и стала возбуждать его вопросами, написал он Корякину или нет? И что он себе думает вообще? Был в голосе этой воды на киселе почти невыразимый оттенок

ли, намек ли, что он, Фролов, чуть ли не присваивает себе то, что ему не принадлежит. И даже некое превосходство, что они, кисели, себе этого не позволили. Попросил Фролов редакционную машину и махнул за город. Отпер дом, вошел. Все так же в нем сладковато-приторно пахло. С робостью и стыдом одновременно стал искать в комодке корякинские следы. И нашел, довольно быстро. Была такая сумочка без ручек и замка, бельевой резинкой связанная. Там лежали письма и корешки от переводов. И фотография мужчины, без надписи. Мужчина как мужчина, смотрит прямо, тупо, лицо не фотогеничное. Фотография шесть на девять. Взял он всю эту сумочку с собой, чтобы дома разобраться. Затормозил возле детских игрушек, взять – не взять? Испугался, вдруг они дитю беду напомнят? Но на машине заскочил в «Детский мир», купил куклу с негнушимися ногами и заводную обезьяну на качелях. В конце концов, Корякин не завтра приедет...

Оля так и сидела на тахте. Просто удивительно, какой безропотный ребенок. Но кукле обрадовалась очень, просто замерла от счастья и едва выдохнула:

– Спасибо, дядя Хлор...

Такая была радость у ребенка, что поправлять ее он не осмелился. Ведь и Валентина его называла Фролом, а когда узнала, что он Андрей Иванович, то очень удивилась. А почему, собственно, ему не быть Андреем Ивановичем, если его так называли? Но пусть будет Фрол... Не в этом дело. Ну а то, что

ребенок назвал его Хлором, не беда... Выучит правильно, пока Корякин приедет.

Читать письма Фролов не хотел. Стыдно было. Он хотел по штампам определить, какое самое позднее, и именно по последнему адресу написать Корякину. Ведь адресов несколько. Но ни черта нельзя разобрать на штампе, пришлось лезть в конверт. Тут Корякин надежды оправдал. Он ставил даты, отделяя цифру от цифры жирной точкой. Стараясь не задевать глазами слова, Фролов искал самое последнее, самое свежее письмо. Но глаза подводили Фролова, они схватывали не только слова, а целые фразы, абзацы. Это было нетрудно, потому что корякинские письма коротенькие, буквы кругленькие, слова хлесткие.

«Наш брак оказался в полном смысле этого слова».

«Был бы еще сын, а девчонкой мужчину не зарканить».

«Хорошо живу, тебя не помня».

«Насосала ты меня до восемнадцати лет...»

«Хотела сразить меня фоткой? Смеюсь я с вас, баб...»

«Женись хоть на попе и работнике его Балде...»

Это благословение пришло Валентине полтора месяца тому назад, из Челябинской области.

Странное ощущение возникло у Фролова от выстреливших в него цитат. С одной стороны, он Корякину, как это ни странно, сочувствовал. Он понимал, как должно быть погано мужику, если с женой у него не заладилось и пришлось рвануть с югов на север... С другой же стороны, он его осуждал за это

его «насосала до восемнадцати лет». Это нехорошо. Не по-мужски... С третьей же стороны, вызывала недоумение Валентина, которая будто бы продолжала к Корякину вязаться, а это уже не по-женски... Была и четвертая сторона, жалость... К ним обоим... Дурачок ты, дурачок, Корякин, до сих пор небось лаешься, а она уже в могиле... Эх, Валентина, Валентина... Что ж у тебя за судьба такая незадачливая... Неумеха ты неумеха... Тридцать с лишним лет прожила, а печку топить не научилась. В общем, поэтому много разного было в душе у Фролова. Поэтому он решил чуток подождать с письмом, чтобы написать точные слова.

Девочка же постепенно привыкала. Называла его «дядя Хлор», а он уже стеснялся ее поправить. Ходили они вместе в магазин, девочка становилась в очередь, а он шел в кассу. Сводил ее на мульташки, на обратной дороге зашли в редакцию. Парень на договоре, который заменял Фролова, как раз в этот день допустил ляп, и редактора вызвали в обком для объяснений. Знатного на всю область токая он в подписи назвал механизатором и дал ему фамилию недавно только умершего инструктора обкома. Парень показывал Фролову, как это получилось. Просто все данные у него были на одной страничке блокнота. И на токаря, и на механизатора, и на инструктора, которого он переснимал с личного дела для некролога.

– Разве ж всех упомнишь? – сокрушался парень.

Фролов показал свою систему, безошибочную систему, в которой фиксируется и день, и час, и

случай, по которому идет съемка, и номер пленки и кадра и – никогда-никогда! – на страничке блокнота нет больше одной фамилии.

– Выгонят? – спрашивал парень.

– Скорей всего, – честно ответил Фролов. – Когда путаница с покойником – это последний случай...

Вернулся редактор. Подписал приказ об увольнении, а Фролову сказал:

– Отзываю из отпуска. – Увидел девочку: – Дочка?

Он был у них придурочный, их редактор. Работал недавно и ничего запомнить не мог. Ни про людей, ни про работу. В основном он боялся. И еще он злился, что люди этого не понимают, и каждый норовит подвести его под монастырь. Сейчас он злился на Фролова, которому приспичило идти в отпуск в такое ответственное время и достойную замену себе обеспечить не удосужился. И вообще – таскает на работу ребенка?!

Конечно, Фролов мог привлечь местком и доказать, что в отпуск он три года не уходил, но Фролов не принципиальный человек, он понимающий человек. И если редакция осталась без фотокора, надо выходить на работу. Какие могут быть разговоры?

Пришлось вечером сесть за письмо Корякину. Оленька спала, нежно всхлипывая и обнимая негнущуюся куклу, а Фролов придвинул к себе листок бумаги и задумался. Вот какое письмо он сочинил в конце концов.

«Здравствуйте, Олег Николаевич! (так звали Корякина). Пишет Вам Фролов. Ваша бывшая жена

Валентина скончалась вместе со своей матерью. Осталась девочка Оля, которую я прошу у Вас разрешения усыновить, так как являюсь вторым мужем Вашей покойницы жены. У меня хорошие жилищные условия, я не употребляю, имею в месяц двести-двести пятьдесят чистыми и в состоянии одеть, обуть и накормить ребенка. Оля ко мне уже привыкает, а с Вами ей начинать сначала. Жалко девочку. Напишите ответ быстро.

Фролов».

Корякин работал на заводе наладчиком, висел на Доске почета и только что победил в борьбе с комендантом общежития. Дело в том, что была у них в общежитии одна хитрая комнатешка. На одного. Когда варганили общежитие, строители забыли поставить в этой комнатке батарею. На Урале это существенно. Пришлось сделать из комнаты кладовку. А однажды ее захватила одна долго не получающая квартиру семья с ребенком. Короче, еще вечером была кладовка, а уже утром в ней жили трое. Дело происходило летом. Подошла осень. Захолодало. Предприимчивая семья возьми и выложи печь с трубой в окно. Еще вечером печки не было, а утром стоит красавица, в окно дымится. Скандал, комиссии, то да се... В общем, три года самозаселенцы жили, пока не сообразили второго ребенка. Уже после них стали за эту комнату биться одиночки. Оказалось, что протопить удачно выложенную печку не только не сложно, но даже удовольствие, если вокруг этой печки ты один гнездишься. Так и давали эту комнату в порядке

исключения то какому-нибудь старому холостяку, то тому, кто коменданту подмазал...

Сейчас вокруг печки жил Корякин. Жил и имел всех в виду. Повесил на стенки своих любимцев – Высоцкого, Челентано, Ирину Алферову – и ловил кайф. Между рамами у него стояло пиво, в холодильнике «Морозко» стыли шпики и банка килекпряного посола. На веревке над печкой сохли корякинские носки.

Корякину было тихо, спокойно, и если бы сейчас кто-нибудь спросил его, какая-нибудь дотошная золотая рыбка, чего, мол, тебе надобно, Корякин, то он ответил бы ей четко: «А пошла ты...» А что удивительного? Человек просто счастлив, грубо говоря.

И тут ему под дверь подсунули письмо. Корякин услышал шелест, увидел белый квадратик на полу, но с места не сорвался. Он продолжал лежать с чувством глубокого удовлетворения. Не было на земле человека, чье письмо могло так уж обрадовать или огорчить Корякина. А точнее говоря, Корякину вообще никто не писал, кроме его последней бывшей жены. И он был уверен, этот квадратик тоже от нее, от кретинки. Опять сообщает ему ненужные подробности из своей жизни и жизни так называемой дочки. Чего добивается, идиотка?

Корякин жил с Валентиной пять месяцев. Подвиг! Потому что с двумя предыдущими женщинами-женами он едва выдерживал по месяцу. Какой-то, видимо, был изъян в Корякине, но как только женщина располагалась рядом надолго, возникало

в нем ощущение, что дышать ему нечем. Причем на самом деле, а не в переносном смысле. Может, это была какая-то аллергия, а может, Корякину просто не везло с их сестрой. Обе его первые жены были северянки, высокие, белые, с неспешной речью. Когда он рванул от второй, твердо решил: никогда больше в это дело не ввязываться. Ему еще везло, что не завязывался за этот срок ребенок. Счастливый, можно сказать, случай, потому что есть мужики, которые с одного разу попадают. А потом затомило Корякина. Все ему не так. Все ему не то. И поехал он на юг, где ему сразу понравилось. И то, что два часа – и море. И базары пряные, сочные. И народ бойкий, нахальный, хороший, одним словом, народ, палец в рот не клади. Пока архангел (так Корякин звал северян) повернется, краснодонец (так он звал южан) в Москву сбегает и обратно. В общем, к сегодняшнему времени вторые приспособлены шибче. А Корякин, хронический одиночка, ценил это в людях. За себя надо уметь постоять. Друг, товарищ и брат – это хорошо звучит Первого мая. А во все остальные дни ты сам у себя один. Решил Корякин еще раз рискнуть с женитьбой. За тридцать перевалило, надоело носки, рубашки стирать и каждый раз стоять перед вопросом, с какой пойти? Валентина отличалась от северянок. Была маленькая, черненькая, говорила быстро... Внешние данные устраивали. И доказательством тому, что все-таки не совсем он ошибся, прожитые вместе пять месяцев. Не один!

А потом снова-здорово. Дышать стало нечем. Снова пришлось рвать... Потом уже узнал, что родилась дочка. Новые новости, подумал он. То, что в отличие от предыдущих женщин, канувших без следа, эта продолжала писать ему идиотские письма про какие-то ветрянки, коклюши и склонность к близорукости, выводило из себя. Он стал бегать с места на место, но письма находили его. И каждый раз на дне его возмущения и гнева было и нечто невыразимое. Удовлетворение, что ли?.. Что вот ищут и находят. А может, мужская гордость, вот он какой, запомнившийся... Смутность этих чувств, собственно, и толкала на ответы. Хамские, конечно, но тем не менее... Корякин побил бы того, кто сказал бы ему, что он с Валентиной связь сам поддерживает, побил бы точно, но уж если говорить правду, и только правду... Было это... Было...

Теперь он, лежа на кровати, смотрел на квадратик на полу. Был Корякин сейчас величавый, гордый, независимый и, не читая письма, уже придумывал ответ. Вот такой, к примеру.

«Достала ты меня своими письмами... Ну что мне, горло себе перерезать? Так какой тебе с этого навар? С того света алименты не шлют... Хотя сыск в этом деле добился больших результатов. Может, уже и там ходит майор Пронин? Не уважаю, тем более что ты собралась замуж... Значит, не обломился тебе мужик? Слиял на полдороге? Понимаю товарища и ценю за стойкость. В свое время Корякин напоролся». Хорошо лежать и при-

думывать письма. Глядя на квадратик на полу, Корякин тут же придумал письмо и Челентано.

«Привет, кореш! Вот валяюсь и решил тебе черкануть. Смотрел твой фильм «Укрощение строптивого». Не ожидал такого поворота. У тебя там такой дом, такие бабы и негритянки, а ты клюнул на эту мымру. Неправдоподобно и далеко от жизни. Нам в школе объясняли, что ваше искусство искажает действительность. Я в этом убедился. Тем более что ничего в этой красотке, которой ты поддался, нет. Не в моем вкусе. Так что ты все-таки выбери, где тебе сниматься... Не останавливайся на достигнутом. Корякин».

Корякин легко вскочил с постели и стал играть с письмом в «классики», подгоняя его носком к кровати. Устал и взял его наконец в руки. Письмо было не от Валентины, хотя из тех же краев. От какого-то Фролова. Очень интересно, подумал Корякин, что за мудака мне пишет? А потом он ошалел...

То ли не смог плавно перейти от кореша Челентано к письму, то ли еще что, но ошалел... То есть ничего у него в голове не было. Только пустота звенела, и от этого звона ему даже жарко стало.

Ничего своего у Корякина не было. Он олицетворял собой личность, имеющую отношение только к государственной собственности, так сказать, на паях со всем многомиллионным народом. А может, государство владело Корякиным, и это был крепкий брак по взаимности? Тут много спорного. И вдруг выясняется: его собственную дочь по

фамилии Ольга Корякина хочет перехватить какой-то хмырь, который не употребляет и имеет жилплощадь. Что он, Корякин, сам безрукий-безногий, чтобы ему дитями разбрасываться? Личного ребенка, на которого он израсходовал уже более трех тысяч рублей, отдать чужому дяде? А ты, Фролов, возьми и роди сам, если такой умный. Расстарайся! Горло просто гневом перехватило, пришлось достать пиво и отпить прямо из горлышка. Выдул бы всю бутылку, но тут вдруг как по голове его – тра-а-ах! Он-то пьющий, а Фролов – нет. Не то что он, Корякин, алкаш. Нет, конечно. Но пиво у него между рамами почти всегда стоит. И другое он вполне принять может – и белое, и красное. Кроме зеленого. Это ни за что!

Корякин прихлопнул крышечку на бутылке и сказал: «Баста!» И снова распалился на Фролова, который дуриком хочет иметь готового ребенка. Он полез в чемодан, стал рыться в разных бумажках, искал фотографию девочки, которую давным-давно присылала ему Валентина. Не нашел. И так он из-за этого расстроился, будто совсем потерял ребенка. Стало ему даже казаться, что это чуть ли не основание забрать у него Олю. Фролов этот скажет: «У тебя даже фотографии ее нет!» Ну, куда он ее мог деть, куда? Всякие справки валяются, а дочки как и не было!

Корякин едва дожид до утра, утром подал заявление об уходе, устроил скандал, что не может ждать ни дня. Кричал: «У меня дитя отнимают, дитя!» Подействовало. Все ходили смотреть на му-

жика, у которого чужой человек дитя нахально отнимает.

Потом Корякин базарил в аэропорту, и там тоже ему сочувствовали и удивлялись этому бессовестно-наглому начинанию – отнимать чужих детей. Грешили на капитализм. Это у них давно принято, вот, оказывается, и к нам подбирается.

Несчастный и решительный летел в небе Корякин.

А в это время Оля сидела на тахте, и они с Фроловым упоенно переводили картинки. Оба были мокрые, все в бумажных катышках, зато на куске ватмана цвели необыкновенные цветы. Потом они приколачивали ватман к стене и охали от этой неземной красоты, потом ели из одной тарелки пшеничную кашу с молоком. Одна тарелка у них давно уже повелась. Фролов сам не заметил, как у них случилась эта одна тарелка, только вдруг оказалось: нет большего удовольствия за едой, чем следить, чтобы другой не съел меньше.

Когда девочка уснула, Фролов с тревогой вспомнил Корякина: что-то тот ему ответит? Фролов не сомневался, что ребенок Корякину не нужен, он боялся, что тот долго будет молчать, а ему Олю надо в садик устраивать, в школу определять, как бы какие чиновники не прицепились, что она ему чужая. Стоило только подумать это слово – чужая, как с Фроловым черт знает что начинало твориться. Весь его организм протестовал и возмущался.

Ночью в квартиру сильно и резко позвонили. Оля вскрикнула. Фролов так рванул к двери, что можно не сомневаться: он этого звоняря сейчас прибьет.

Так они и предстали друг перед другом – в характере. Фролов и Корякин.

Корякин, пока подымался по лестнице, тоже себя распалил. Он уже видел, как заворачивает своего ребенка в одеяло и уносит от этого любителя чужого.

Фролов же, то есть любитель чужого, за этот Олин ночной вскрик был вполне готов к убийству.

К напряжению, которое образовалось на пороге, вполне можно было подключить электрическую сеть слаборазвитой страны. Сработало бы за милую душу.

– Я – Корякин, – сказал Корякин.

– Вижу, – ответил Фролов, имеющий профессиональную память на лица, и он хорошо помнил фотку шесть на девять. – Входи!

– Кто там, дядя Хлор? – спросила Оля.

Оба мужика принципиально устали друг на друга. Решительный момент, многое от него зависело.

– Спи! – сказал Фролов, закрывая в комнату дверь. – Это ко мне по делу. – И повернулся к Корякину: – Проходи на кухню, пальто и чемодан положи тут... – Он указал на место у порога.

Они вошли на кухню и сели на табуретки. И молчали. Фролов понял, что раз Корякин тут, то ничего хорошего в этом нет... Корякин же, хоть и знал, сколько лет дочери, все-таки представлял себе что-то такое уакающее, а тут услышал совсем, можно сказать, взрослый голос. Если, конечно, это его дочь...

– Она? – уточнил он.

Фролов кивнул.

– Разбудил, – огорченно сказал Корякин. – Но терпения не было...

– Понимаю, – ответил Фролов. Еще бы он не понимал человека, бегущего ночью к Олечке. – Значит, какой твой будет ответ? – спросил он, чувствуя, что смерть его близка. – Она воспалением легких болела, ее нельзя в другой климат...

– Ты мне мозги не пудрь! – вспыхнул сразу Корякин. – Климат мы ей сделаем какой надо...

– Это в каком же смысле?

– В том самом! Где ей надо, там и будем жить... Я птица вольная...

– Ты ж ее ни разу не видел, – печально сказал Фролов.

Корякин не любил, когда его били по больному.

– Не означает, – отрезал Корякин. – Мое дитё. А дите стояло в дверях, в длинной рубашке, с распущенными волосами, в больших фроловских тапочках. – Я писать, – сказала девочка.

И они оба кинулись к ней, будто «писать» – что-то исключительно драгоценное, что нельзя бросать на произвол судьбы. И оба стояли под дверью, оба ждали, и Фролов видел, как дрожит у Корякина подбородок, а Корякин видел, что Фролов стал белым как мел.

– Вот такие дела, – сказал потом Фролов, когда Оля снова легла, улыбнувшись им обоим светло и ясно.

– Угорела Валентина. А мы с Олей поладили... Я ее рыночным кормлю...

– Спасибо, – сказал Корякин. – Я в долгу не останусь...

– Какие глупости! – развел руками Фролов. – Главное, чтоб ей хорошо... У тебя есть квартира?..

Корякин вспомнил свою комнату с печкой и мысленно покрыл себя хорошим отборным матом. Это же надо быть таким идиотом? Была же у него квартира, была! Надо было взять отпуск, а не увольняться... А он дурак без мозгов. Бросил такую комнату-красавицу, сухую, теплую, ну, туалет, правда, на улице, но горшки, слава богу, не проблема. За своим ребенком да не вынести!

– Все у меня есть... А нет, так будет, – твердо сказал Корякин. – Я для нее все сделаю...

Фролов тяжело вздохнул.

Корякину постелили на полу, между тахтой и диванчиком. Из входной двери прилично тянуло. Корякин чувствовал, как холодит ему лопатки и спину, ну что он, раньше не попадал в подобные условия? Корякин в своей жизни где только не спал. А вот сейчас он испугался, что может захворать. Нельзя это сейчас, никак нельзя... И он пролежал всю ночь, стараясь держать спину чуть ли не на весу, эдаким коромыслом.

Слышал он, как нежно всхлипывала Оля, совсем как Валентина. Так вот, эти всхлипы Валентины в свое время выводили его из себя. «Ты чего хрюкаешь?» – кричал он, а она не понимала. Тут же, тут же – ему нравились эти беззащитные ночные детские звуки, и он думал: «Сны смотрит... Интересно, что ей показывают...»

Фролов тоже не спал. Он, как только увидел Корякина, понял, что тот не отступится. И что тут

сделаешь? «Эх, горе мое, горе», – думал Фролов. Как-то четко увиделась вся жизнь, в которой, в сущности, не было радости, а было сплошное преодоление трудностей. И если раньше казалось, что все эти преодоления – доблесть, то сейчас он понял, что чепуха это все, если нет у человека радости. Вот пришла девочка, и все обрело смысл, а завтра увезет ее отец Корякин, и зачем жить? Зачем метелиться? Неужели он, Фролов, родился на свет для того, чтобы бесконечно снимать улыбающихся рабочих и колхозниц и таким образом сохранять в газете баланс критики и оптимизма? Просто стыдная какая-то жизнь получалась! С другой же стороны, совсем не стыдная, если делать это все и знать, что вечером они с Олей будут есть кашу из одной тарелки, и она своей ложкой проведет черту по каше, чтобы ему, Фролову, досталось больше, а он проведет свою черту, и так, подпихивая друг другу еду, они будут смеяться, и лучше этого ничего не может быть.

Утром Фролов встал рано. Оля еще спала. И Корякин наконец задремал, свернувшись калачиком.

Бесшумно открыл и закрыл дверь Фролов.

Утром Корякин перво-наперво вымыл пол. Надо сказать, что у Фролова это дело не получалось. В пояснице он был негибок, мыл пол с колен, а точнее, не мыл, а воду размазывал. Не то Корякин. Выскоблил он фроловский пол так, что тот аж засверкал. Потом нашел в инструментах Фролова кусок пенопласта, выкроил его как надо и набил на нижнюю часть двери, чтобы не дуло.

– Утепились, – сказал Корякин.

– Спасибо вам, – сказала Оля.

Смутился Корякин от этого «спасибо». Даже душно стало.

– Да, – вздохнул он, – да...

– Что да? – спросила Оля.

Не было у Корякина ответов. Не было у него слов! Поэтому он решил починить краны. У Фролова они капали и ползли от воды ржавые потеки и в унитазе, и в раковине, и в ванной. Корякин это ликвидировал. Засверкало все у Корякина. Оля даже руками всплеснула.

– Как чисто!

Корякин решил, что надо идти в этом направлении.

Он стал стирать белье, которое было засунуто в пластмассовое ведро. И тут Оля ему помогала. Вместе развешивали в кухне на веревке. Разговоры с Олей у них только «производственные».

– Понимаешь, – говорил Корякин, – в мужской рубашке самое трудное место – воротник. Он же, зараза, соприкасается вплотную.

– А зачем вы ругаетесь? – спросила Оля.

– Не! Не! Не! – испуганно замахал мыльными руками Корякин. – Оговорка! Поберегусь! Извиняюсь! – И говорить стал Корякин медленно, чтобы ненароком не выпульнуть.

Потом они пошли с Олей в магазин, и Корякин, отпихнув в очереди какую-то тетку, ухватил приличный кусок мяса. Они варили с Олей борщ, крутили мясо на котлеты, и было им хорошо друг с другом.

– Ты Корякина, и я – Корякин, – осторожно сказал он. – Мы поладим.

– А почему ты Корякин? – спрашивала девочка.

– Так вот... Случилось! – оробел Корякин. – Корякиных нас много.

А потом пришел Фролов. Увидел все – чистоту, белье на веревке, обед и мордочку Оли, довольную мордочку, вздохнул и понял, что у него нет другого выхода.

– Ты живи с ней тут, – сказал он Корякину, когда Оля уснула. – А я могу где хочешь пожить...

– Спятил, – ответил Корякин. – Ты спятил... Это я могу, где хочешь... Я привычный...

– Да я тоже, – вздохнул Фролов. – Я два года как сюда въехал, а то все по углам...

– Два года и уже все к чертовой матери разваливается, – возмутился Корякин. – Все наперекосяк, все трескается...

– Ну, – сказал Фролов, – в кооперативе еще более-менее, а в государственных еще и не то...

– А то я не знаю! – ответил Корякин. – Я сам жил в комнате, в которую забыли поставить батарею.

– Что мы за люди? – вздохнул Фролов. – Для себя же, а не стараемся...

На следующий день Корякин взялся за ремонт квартиры. Фролов прибежал с работы, готовил еду. Оля помогала то тому, то другому, командовала.

– Дядя Хлор! – кричала. – Я уже солю картошку, не вздумай еще раз!.. Корякин! У тебя на потолке следы, ты что, не видишь?

От добра добра ищут только идиоты и жадные. Корякин нашел работу на заводике рядом с редакцией. Продали соседу тахту и купили два кресла-кровати. Оля спала на диванчике, а они на креслах.

– Они тебе кто? – спросили Олю, когда она пришла в первый класс.

В одинаковых синих костюмах, в белоснежных рубашках с душившими галстуками стояли в родительских рядах двое. Когда зазвенел звонок и женщины стыдливо засморкались, эти заплакали откровенно.

– Так кто они тебе? – приставали к Оле.

– Кто! Кто! Дядя Хлор и Корякин, неужели не ясно? – дернула плечами девочка.

Росла Оля умненькой, решительной, самостоятельной и смелой. Говорят, одинокие отцы – лучшие воспитатели. А если их к тому же два?

Время еще покажет, чем кончится этот педагогический эксперимент.

Пока же задачи решаются конкретные. Ребенку нужна отдельная комната. Вечерами Фролов переписывает четким почерком написанное объявление об обмене на двухкомнатную, а Корякин с баночкой клея в кармане ходит и развешивает их на столбах. Энзэ на доплату уже собрали.

«Хорошо! – думает ночью Фролов. – Не дай бог, что со мной случится, есть Корякин. Уже не сирота...»

На соседнем кресле про то же думает Корякин...

1987

Содержание

Л. ЛЕРНЕР «Она была актрисой...» (Предисловие) ..	3
Актриса и милиционер	18
Подробности мелких чувств	145
Пусть я умру, Господи!	223
Дядя Хлор и Корякин	300

Отпечатано в ПАО «Т 8 Издательские Технологии»

Подписано в печать 17.06.2021. Формат 80x100 ¹/₃₂.

Усл. печ. л. 10,5.

Лицензия ИД № 02522 от 03.08.2000

Секачев В.Ю., 142633, МО, Орехово-Зуевский р-н,
п. Верея, ул. Центральная, 17-16.

Одним из первых вождедений юной Галины Руденко (Щербаковой) было желание стать артисткой. Потом ей нравилось быть учительницей – школьный класс казался подобием театрального зала. А позднее внимательные читатели заметили: ее повести, романы, рассказы наполнены драматическими действиями, в которых Галина и придумщик, и режиссер, и, естественно, главная актриса – в женских ролях. Была ли идея – сыграть мужчину? Видимо, была. Как-то среди возникавших в воображении образов явился в полном своем обличье дядя Хлор, а затем, позже, – и примкнувший к нему Корякин. Двое мужчин, коих прочувствовала, а значит, и «сыграла» Галина: рассказ «Дядя Хлор и Корякин». В книге – сочинения, в которых проявилась природа «театрального» авторского восприятия сущего.

ISBN 978-5-4481-0900-3



9 785448 109003 >